АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1973

СОДЕРЖАНИЕ

В. Пизани (Милан). Итальянские диалекты в историческом аспекте . . . 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. Ф. Вардуль (Москва). Об изучении семантического аспекта языка . . 9
Й. Домбровский (Дебрецен). Знак и смысл 22
О. И. Москальская (Москва). Проблемы семантического моделирования в синтаксисе 33
Т. А. Себеок (Блумингтон). «Семиотика» и родственные термины 44
М. А. Кумахов (Москва). Теория моновокализма и западнокавказские языки 54

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. Т. Войтович (Минск). О позиционной долготе гласных и развитии аканья 68
Н. Н. Пшеничнова (Москва). Статистический анализ многочленного диалектного соответствия 80
А. И. Сологуб (Москва). Лингвогеографические данные как источник для изучения истории языковых явлений 92
С. Н. Иванов (Ленинград). К истолкованию многозначности грамматических форм 101

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Учебные пособия по синтаксису и темы для семинарских сочинений, рекомендованные акад. А. А. Шахматовым (публикация Э. И. Коротаевой, Ленинград). 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

О. В. Благовещенский (Бухарест). Заметки об омонимах и их подаче в словаре 120

Рецензии

Р. А. Будагов (Москва). *В. Ф. Шишмарев.* Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка 127
Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, В. Ф. Иванова, В. В. Колесов (Ленинград). *Р. И. Аванесов.* Русское литературное произношение 130
А. Д. Швейцер (Москва). *J. B. Pride.* The social meaning of language . . 135
Л. Л. Кутина (Ленинград). *F. Buffa.* Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry 138
В. Л. Георгиева (Ленинград). *А. Н. Стеценко.* Исторический синтаксис русского языка 142
Т. П. Ломтев. *Ю. С. Степанов.* Семиотика 144
Я. Г. Сулейманов (Махачкала). *З. Г. Абдуллаев.* Очерки по синтаксису даргинского языка 148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 152
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1973 г. 157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *Г. В. Церетели*, *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

© «Вопросы языкознания», 1973 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

В. ПИЗАНИ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Термином «диалект» мы будем обозначать местные разновидности языка в отличие от литературного языка, с которым они сохраняют связь и с которыми, как правило, конкурируют в употреблении в каждой отдельной местности. Диалекты отнюдь не являются, как иногда считают, результатом порчи литературного языка, ибо соотношение между диалектами и литературным языком обратное: первые обычно предшествуют второму. Что же касается литературного употребления, то диалекты обычно имеют только устную форму, а их письменная форма (если она существует) должна рассматриваться в качестве разновидности литературного языка, приспособленного к местному узусу. Достаточно вспомнить хотя бы греческие диалекты, которые на письме воспроизводят модели великой традиции, идущей от Гомера. То же самое наблюдается и в пракритах, которые следуют моделям санскрита. Когда в Италии, начиная с XVII в., появляется диалектная литература, образцом ей также служат литературные произведения. Итальянские диалектные памятники раннего периода (Пьетро да Барсегапе, Угуччоне да Лоди, «Жизнь Кола ди Риенцо» и т. п.) возникли под прямым воздействием «общего» языка, который в это время уже складывался, хотя на письме еще долго «маскировался» атрибутами латыни.

Характерно, что все жители Ломбардии, Пьемонта, Лигурии, Романьи, Кампаньи, Апулии, Сицилии воспринимают свои диалекты как разновидность итальянского, который они легко понимают, хотя случается, что они перестают понимать друг друга, переходя на диалект. Таким образом, национальный язык можно рассматривать как своего рода общий знаменатель, к которому сводятся диалектные разновидности.

С другой стороны, в говорах Фриули или долин Фасса и Оста, нет резкой грани между диалектом и литературным языком. Более того, различия между ними оказываются иногда меньше, чем между литературным языком и некоторыми диалектами, которые издавна считаются итальянскими. Тем не менее диалекты Осты относят к франко-провансальским, а диалекты Фриули и Фассы к ладинским. Объясняется это тем, что в долине Осты в качестве письменного языка чаще используется французский, чем итальянский, а во Фриули и в Фассе жители (вернее, часть их), хотя и пишут по-итальянски, но считают, что их диалекты относятся не к итальянским, а к ладинским. Однако четких границ между этими диалектами нет, а главное, их обычно устанавливают a posteriori, т. е. уже после того, как диалект причислен к определенной группе. Например, если считать итальянскими только те диалекты, где имеются сочетания *pj* и *chj* вместо *pl* и *cl* (как в *pianta*, *chiesa* вместо *plante*, *église* во французском и т. п.) и *ca* вместо *chia* или *cia* или им подобных (как в *capra* вместо *chèvre* и т. д.), то названные диалекты, где есть *pl*, *cl*, *cia* или *chia*, окажутся вне итальянских. В этой связи возникает вопрос — куда отнести диалект долины Нон, где есть *planta* или *ciaura*, но нет окончания *-s* во мн. числе, которое считается характеристикой ладинской группы.

Как бы то ни было, у пьемонтского диалекта больше общих изоглосс с диалектом Осты (и даже, добавим, с франко-провансальскими и французскими диалектами), чем с диалектом Бари, а у венецианского больше с фриульским, чем с калабрийским. Дело в том, что среди этих изоглосс нет таких, которые, по принятому мнению, служат показателем итальянской группы. В связи с этим понятно, насколько произвольны подобные классификации, которые, по существу, имеют лишь методическую и практическую ценность.

Итальянские диалекты, как и диалекты других романских языков (французские, испанские, португальские и т. п.), ведут начало от так называемой «народной латыни», т. е. от того латинского языка, на котором говорили в разных частях Римской империи. Между этой разговорной латынью и нынешними диалектами не было разрыва в преемственности. В этой связи можно принять положение К. Фосслера о том, что романские языки — это латынь сегодня. При этом под романскими языками следует понимать те устные итальянские и французские диалекты, которые без перерыва в преемственности восходят к диалектам римской империи (исключая эллинизованные области). Народная латынь была весьма гетерогенной по своему составу. Можно условно выделить в этом сложном образовании, по крайней мере, следующие четыре пласта: 1) местные диалекты; 2) региональные диалекты; 3) региональные варианты официальной латыни; 4) официальная латынь.

Официальная латынь — язык администрации, школы, высокопоставленных лиц — близко стоит к языку литературы. Этот язык был достаточно унифицирован и мог служить моделью для всех других слоев. Более непосредственным было его влияние на региональные варианты, т. е. язык мелкого чиновничества или средних классов, которые собственный язык (относимый к первым двум слоям) старались уподобить официальной латыни. Менее непосредственно его влияние на региональные диалекты, которые больше ориентировались на язык административных центров, т. е. принимали за образец то, что мы называли региональными вариантами официальной латыни. Через региональные диалекты влияние латыни распространилось на диалекты отдельных местностей, где хотя бы часть жителей была двуязычной, т. е. владела и собственным диалектом, и диалектом, служившим для общения с соседними местностями, с мелкими чиновниками администрации и т. п. Пока империя не распалась на части, действовали как бы центростремительные силы, поддерживавшие некое языковое единство, которое по мере удаления от устной официальной латыни становилось все менее устойчивым и однородным.

Это соотношение отразилось в памятниках народной латыни, среди которых находим не только произведения литературы («Пир Тримальхиона», «Паломничество Эгерии»), но и надписи, в том числе случайно нацарапанные (как на стенах Помпеи). Характер этих памятников обусловлен указанным единством латинского языка. Известен всего один памятник, где до известной степени нарочито изображена народная речь — это «Пир» Петрония. Но и там орфография, равно как и морфология, подчинены норме. Отсюда следует, что о расслоении латинского мы можем узнать т о л ь к о через невольные ошибки, из которых мало можно заключить о региональных различиях. Там, где авторы приближаются к разговорной речи (как св. Августин в «Sermones»), это сказывается на лексике и синтаксисе (но только в границах официального узуса), но не на фонетике и морфологии, которые переданы в нормативной орфографии, скрывающей их истинный облик. В этих случаях мы имеем дело с диглоссией, причем без четких границ, как в современном греческом, где от καθαρεύουσα совершается постепенный переход к δημοτική, но так,

что разговорный язык всегда ориентируется на официальный. Именно поэтому о местных и региональных вариантах народной латыни легче судить по современным диалектам, чем по письменным памятникам, которые создают впечатление значительно большего единства языка, чем это было на самом деле.

Для понимания генезиса современных итальянских диалектов важно прежде всего, что на родине латыни, т. е. в Риме и части Лациума, искони имелась диалектная дифференциация. Язык распространялся по мере того, как новые территории входили в некое подобие «commonwealth», возникшего при главенстве Рима. Но римляне не навязывали своего языка «союзникам». Наоборот, сами «союзники» сознавали потребность овладеть языком города-гегемона. Кроме экономических и политических причин, это объяснялось более высокой культурой Рима и его престижем: как известно, Кумы, оскский город, примкнувший к Риму в 338 г. до н. э., официально пользовался оскским до 180 г. до н. э., когда испросил у Рима права официально пользоваться латинским. Постепенно латинский проник в центрально-южную Италию, в Сицилию, Испанию, Сардинию, северную Италию, Галлию, Дакию. Высшие классы новых провинций могли усваивать язык от римского высшего чиновничества; масса — от солдат, купцов, колонов в повседневных контактах. Иначе говоря, осваивалась латынь двух типов — какого именно, зависело от социального слоя и местности.

Народы, влившиеся в империю, однако, не сразу перестали говорить на коренном языке. Наступил длительный период двуязычия. В конце концов под действием так называемого субстрата латынь видоизменялась в зависимости от местного языка, т. е. неодинаково на разных территориях. Изменения, вызванные субстратом, отражались и на той латыни, которая распространялась на вновь завоеванные провинции. Дело не только в том, что изменения затрагивали язык Рима, куда теперь стекался самый разношерстный люд, но и в том, что римское войско включало отныне не одних римских граждан, но также и выходцев из ранее завоеванных провинций.

Это значит, что, говоря о различиях между латынью II в., распространившейся на Сицилию, Сардинию, Испанию, и латынью I в., принесенной в Галлию, северную Италию и т. п., мы имели в виду не только обычные изменения, которые она, как всякий язык, претерпела со временем, но еще и те изменения, которые внесли в нее народы, постепенно входившие в римский commonwealth и сферу латинского языка. Не случайно в диалектах северо-западной Испании (а, значит, и в общенациональном языке) Менендесу Пидалю удалось обнаружить явные следы латыни, испытавшей влияние оскского, которую занесли туда колоны из южной Италии, т. е. оски, только что признавшие политическое и языковое господство Рима.

Следует также учитывать, что на складывающиеся итальянские диалекты огромное влияние оказывали и «чужие» языки, особенно греческий. В связи с этим необходимо отличать влияния, шедшие через грамматики, школы, образованных людей, юношей, обучавшихся в Греции, от влияний, шедших через торговцев, мореплавателей, рабов и т. п.: первые затрагивали письменный и устный язык высших классов общества, сосредоточенных в больших городах, вторые — язык народа, например, в приморских городах. И в этом тоже кроется причина как унификации, так и расслоения языка.

Особо следует рассмотреть языковое положение в Сицилии. В городах Сицилии, где поселялись римские высшие чиновники (так называемые «всадники» — equites), их со всех сторон окружали носители греческого языка и греческой культуры. Переход к латинскому языку и латинской

культуре мог произойти не раньше того времени, когда римская культура по мощи и блеску сравнялась с греческой, т. е. не раньше эпохи Августа. Латинский в Сицилии сделался языком высших классов в императорскую эпоху, и этим объясняется «современность» сицилийского диалекта, его бóльшая близость к литературному итальянскому. Из городов этот диалект распространился по всему острову, вытеснив далекие от латыни местные языки.

Сходно обстояло дело в Венеции, откуда диалект распространился на всю территорию Венето, вытеснив диалекты ладинского типа: Венецию основали зажиточные выходцы из Аквилейского диоцеза, бежавшие от Аттилы и гуннов (452 г.) и говорившие, видимо, на «региональном варианте» официальной латыни. Такая же особенность тосканского объясняется, как показал уже Асколи, ослабленным действием субстрата, так как, в отличие от других областей, доримским языком Тосканы был этрусский, совершенно не похожий на латинский.

В результате варварских завоеваний и распада империи в латинский вошли германские элементы. Началось это, по-видимому, еще в императорскую эпоху в связи со все возрастающим притоком германцев в римское войско. Однако вопрос о том, произошли ли одновременные сдвиги в грамматике, как считает Вартбург, остается спорным. Вместе с тем нельзя все же не задуматься о таком факте, как внутренняя флексия южных диалектов. В этих диалектах на определенные грамматические различия указывают не конечные гласные, которые слились в одну фонему, а чередование гласных в ударном слоге, т. е. флексия того типа, который встречается в немецком и англосаксонском. В Италии такая флексия обнаруживается отчетливее всего в границах лангобардских завоеваний.

Вследствие варварских нашествий и распада империи изменилось также внутреннее деление территории. На географической карте конца VII в. находим византийские владения в Апулии, Калабрии, Сицилии, которые на континенте вскоре распространились вплоть до лангобардского герцогства Беневент (на севере — до линии Террачина — Ортона). На этой византийской территории сложился южный тип диалектов. Несмотря на дифференцирующее действие разных субстратов, диалекты экзархата, Венеции, Истрии стоят особняком среди диалектов Северной Италии. Вся остальная Северная Италия образует крупный политический блок, тяготеющий к Милану и Павии. Вокруг них сконцентрировались диалекты Ломбардии и восточного Пьемонта, тогда как западный Пьемонт, пограничный королевству Бургундии, тяготел к «франко-провансальской» группе. Особый периферийный тип северных диалектов, слабо затронутый влиянием названных центров, образуют диалекты Венето и альпийских долин, которые под натиском ломбардского и венецианского превратились в так называемые ладинские диалекты Фриули, долин Бадиа, Гардена и Фасса, части долин Соле и Нон и ладинских областей Швейцарии. Менее устойчивы соотношения диалектов в Средней Италии: здесь в папской области, герцогстве Сполето и Тусции можно по-разному наметить границы, выделяя множество групп, внутренне и территориально не однородных.

Переходя непосредственно к XVI в., когда определилось положение вещей, просуществовавшее в общих чертах вплоть до французской революции, следует различать ряд разновидностей языка, связанных с определенной территорией: 1) на юге — в королевстве Неаполя и Сицилии развиваются и крепнут общие языковые элементы: первоначально они характеризуют койне высших классов, потом постепенно распространяются на региональные диалекты, а через них и на местные; 2) из центра (церковная область) расходится множество изоглосс. Очагом их является

Рим, причем римский диалект южного типа подвергся сильной тосканизации или влиянию литературного языка вследствие засилья тосканцев в папской курии, особенно при Клементе VII и Льве X; 3) в Тоскане, которая постепенно приобретала все большую независимость (особенно Флоренция) складывается особое местное койне; 4) на северо-западе, в Миланском герцогстве и в Генуэзской республике, на основе местных диалектов, возникших из народной латыни, появились свои относительные койне. В то же время в Пьемонте объединение с Савойей привело к усилению некоторых языковых черт, близких к французскому; 5) на северо-востоке, в Венецианской республике, диалект Венеции, часто употреблявшийся как официальный язык, скоро вытесняет старые ладинские диалекты (исключая ареал Фриули). Однако к западу от Адды остается практически незатронутым ломбардский тип.

Тем временем в Италии возникает и властно утверждается итальянский литературный язык, практически унифицированный на всем полуострове.

Для народной латыни была характерна диглоссия: рядом с литературным и школьным латинским образовался письменный язык, который в той мере, в какой это было возможно, отражал устную речь среднего социального слоя, хотя внешне (орфографически и морфологически) поневоле был близок к традиционной норме. Этот письменный язык, по-видимому, служил моделью на всей обширной территории, особенно при сношениях между разными областями. Он сохранился в употреблении и после падения Римской империи, несмотря на то, что возникшие на месте империи политические и экономические образования не могли не вызвать дифференциации языка.

Каролингское возрождение, вызвав возврат к классической латыни, ликвидировало диглоссию. Яркое свидетельство этого — постановление Турского собора (813 г.), которое обязывало проповедовать веру на народном языке. Эта мера была вызвана тем, что с исчезновением «письменной народной латыни», как я ее назвал, между письменной и устной речью образовалась лакуна. Возникшие в эту эпоху письменные языки — французский, провансальский и т. д.— заполнили образовавшуюся пустоту, выработав, взамен латинской, новую орфографию, которая отражала также фонетический облик грамматических форм. В Италии первые памятники на народном языке (если не считать таких фактов, как свидетельская формула из Капуи, где нотариус старается буквально воспроизвести выражение свидетеля) появляются гораздо позже, скажем в XII или XIII вв. Это объясняется тем, что в Италии дольше употреблялась письменная народная латынь, поскольку она представляла достаточно однородный для различных областей Италии устный язык. Выразительный памятник этого языка, маскирующегося латинскими формами,— «Хроника» Салимбене, где приводится интересный пример «латинизованной» речи. Некий жонглер Скатуццо из Анконы, увидев папу Иннокентия III, обратился к нему в таких стихах: *Papa Innocentium,* | *doctoris omnis gentium* | *salutat te Scatutius* | *et habet te pro dominus* «Папа Иннокентий, наставник всех людей, тебя приветствует Скатуццо, и ты ему господин», а на вопрос папы, откуда он родом, добавил: *de castro Recanato* | *et ibi fui nato* «из замка Реканато, где и родился». На что папа, «дабы каковую грамматику употребил жонглер, таковую и услышал», как говорит Салимбене, ответил: *Si veneris Romam* | *habebis multa bonam* | *et bene faciam tibi* «Если будешь почитать Рим, получишь много благ и я содею тебе благо».

Итальянское койне возобладало во всех областях Италии, когда оно освободилось от латинской оболочки. Именно это койне характерно для

поэтов сицилийской школы, подражавших, кроме того, провансальским трубадурам, а также для ранних тосканских поэтов, например, Гвиттоне. В поэмах Северной Италии койне находим у Герардо Патеккьо, Угуччоне да Лоди, Джакомино да Верона, Бонвесин делла Рива, в «Кантике» св. Франциска и в хвалебных песнях (лаудах) Якопоне да Тоди. Произведения великих тосканцев — Данте, Петрарки, Бокаччо и т. п.— написаны не на флорентийском и даже не на тосканском диалекте. Их язык — это общий язык, тосканский лишь по наружности, очищенный от вульгаризмов и приближенный к латинскому образцу. Внешнее подражание тосканскому скоро стало повсеместным по двум причинам: 1) престиж тосканской литературы, 2) большая близость тосканского к латыни [1].

Существование этого общего языка,— явившегося, между прочим, катализатором в образовании итальянской нации, — сыграло решающую роль в дальнейшей эволюции итальянских диалектов. Показательный пример — диалекты Пьемонта, которые, после того, как итальянский стал в Пьемонте языком культуры вместо французского, снова сблизились с другими северо-западными диалектами Италии. Вместе с тем не надо забывать, что национальный литературный язык служил моделью для начавших складываться с XVII в. письменных диалектных языков, которые поэтому могли сыграть роль посредников между этим литературным языком и устными диалектами.

Последний этап в истории итальянских диалектов — это период от объединения Италии (в 1861 г. было провозглашено Итальянское королевство) до наших дней. Доминирующий факт этого времени — неуклонное распространение разговорного койне, отражающего письменный язык. Оно и прежде было в употреблении между итальянцами разных частей полуострова, но на данном этапе охватывает все более широкий круг людей. Этому способствует много факторов: 1) политическое единство, которое стимулирует и облегчает контакты между итальянцами разных областей; 2) развитие торговли и средств связи; 3) военная служба, соединяющая уроженцев разных местностей и, в особенности, 4) школа, где требуют изучения и употребления национального языка. К этому надо добавить широкое распространение не только книг, но и газет и журналов, культурно-просветительные мероприятия и, наконец, в последние десятилетия, звуковое кино, радио и телевидение, по необходимости на национальном языке. Во всем этом процессе письменный язык играет роль образца. Руссо в «Заметках о происхождении языка» справедливо отмечал: «Диалекты, различающиеся устно, на письме сближаются, смешиваются и незаметно приближаются к общему образцу. Чем больше народ читает и учится, тем больше стираются диалекты, пока от них не остается что-то вроде жаргона людей, которые мало читают и вовсе не пишут». В Италии таких людей с начала XIX в. становится все меньше.

В заключение отметим, что итальянские диалекты, как и всякая другая языковая форма, отражают историческую деятельность нации от самого отдаленного времени, когда она возникла под главенством Рима, до наших дней. Количество и разнообразие итальянских диалектов поистине грандиозно и превосходит все то, что имело место в других странах. Оно объясняется огромным числом нелатинских племен, обитавших на полуострове ко времени римского завоевания, и тем, что страна пришла к единству лишь век назад, в результате долгого и мучительного процесса. Это отличает Италию, например, от таких стран, как Франция или Испания. Именно поэтому история диалектов и литературного языка в Италии имеет много общего с языковой историей Германии.

[1] Ср. об этом: «Paideia», XVIII, 1963, стр. 11 и сл.

Перевела с итальянского *Г. Д. Муравьева*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. Ф. ВАРДУЛЬ

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ЯЗЫКА

Неразрывность и взаимообусловленность мышления как способа отражения действительности и языка как материальной основы мышления бесспорны. Из этого следует, что мышление не может быть полностью экстралингвистическим. Лингвистика должна не только опираться при описании языка на мыслительные категории, но и сама должна изучать область мысли (конечно, не в полной мере, а лишь постольку, поскольку это необходимо для исчерпывающего изучения языка). И лингвисты интенсивно изучают мышление [1]. В исследовании этой проблемы, однако, не все еще доведено до требуемой степени ясности.

В теории (не в исследовательской практике) мышление обычно исключается из компентенции лингвистики. Считается, что языкознание изучает язык, мышление же изучается логикой (а также психологией и физиологией). Известно, например, что в связи с суждением как формой мысли существует ряд разногласий. Одни полагают, что суждение выражается лишь повествовательными предложениями, другие относят к суждениям также вопросы и повеления. По мнению одних, безличные предложения выражают одночленное суждение, по мнению других — двучленное. Не касаться в языкознании этой (и подобной) проблематики значит заниматься семантическим исследованием, не заботясь о его теоретической базе. Но и произвести выбор между альтернативными мнениями лингвист, строго говоря, не в состоянии. Прежде чем выбирать, надо решить, что такое суждение, а этот вопрос считается нелингвистическим. Приходится переходить из сферы языкознания в сферу логики, чтобы ответить на него. Положение осложняется тем, что знания о мышлении, предоставляемые логикой (не говоря уже о других науках), оказываются недостаточными для лингвистики.

Думается, что одна из актуальных задач в настоящее время состоит в том, чтобы найти такой подход к языку и мышлению, который позволил бы осветить принадлежащую объекту лингвистики сторону мышления, а в лингвистике, точнее — в собственно лингвистике[2], выделить, наряду с дисциплинами, описывающими языковые единицы (в том числе единицы синтаксического и супрасинтаксического ярусов), также самостоятельную дисциплину для лингвистического описания области мысли. Семантика,

---

[1] Из последних работ можно назвать: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972.

[2] Мы исходим из того, что лингвистика является комплексной наукой. В ней различаются собственно лингвистика, изучающая свой объект в отвлечении от его внешних (экстралингвистических) связей, и ряд внешнелингвистических дисциплин, таких, как психолингвистика, социолингвистика и т. д., которые, развиваясь на стыке языкознания с другими науками, изучают тот же объект, но в контексте его внешних связей.

как будет ясно из дальнейшего, имеет дело с языковыми единицами, а не непосредственно с соответствующими мыслями, и потому не может быть признана такой дисциплиной.

В данной статье делается попытка наметить решение этой задачи. Как мы уже говорили, лингвистику интересует лишь та сторона мышления, которая принадлежит объекту лингвистики. Поэтому мы, очевидно, должны поступить следующим образом. Надо отвлечься от экстралингвистических связей языка, т. е. стать на позиции собственно лингвистики, и с этих позиций обратиться к языку в его семантическом аспекте, т. е. в его отношении к тому, что обозначается посредством языка. Если язык и мышление неразрывны, а сомневаться в этом нет оснований, последовательное распространение собственно лингвистического взгляда на семантический аспект языка должно привести к обнаружению лингвистической стороны мышления.

Но прежде чем вплотную заняться темой статьи, необходимо сделать одно отступление.

К любому «кусочку» действительности можно подойти с двух разных точек зрения — субъективно, с точки зрения того, как оно воспринимается самим познающим субъектом, и объективно, с точки зрения стороннего наблюдателя, с точки зрения того, каким этот «кусочек» действительности является независимо от субъекта. При субъективном подходе неизбежно некоторое искажение действительности, обусловленное ограниченностью нашего восприятия. Объективный подход предполагает устранение этих искажений. Различение субъективного и объективного способов рассмотрения можно пояснить на таком примере. Субъективно мы не замечаем вращательного движения земли. Нам кажется, что солнце движется по небосводу, а земля неподвижна. Объективно же, как известно, движется земля, по отношения к которой солнце неподвижно. Применительно к деятельности по получению знаний размежевание субъективного и объективного подходов проводит А. А. Зиновьев: «Деятельность исследователя по получению знаний можно рассматривать двояко: 1) субъективно, т. е. в том виде, как она переживается исследователем; 2) объективно, т. е. в том виде, как ее можно наблюдать со стороны (фиксируя лишь то, что можно видеть, слышать и т. д.)»[3].

Наука, несомненно, стремится к объективной трактовке того, что она изучает. Однако из этого не следует делать вывод, что только объективный подход научный, а субъективный всегда ненаучен. Субъективный и объективный способы рассмотрения находятся в отношении дополнительности и одинаково важны для науки, хотя, разумеется, нельзя забывать, что объективную картину действительности дает только объективный подход.

Зададимся вопросом: как должна понимать собственно лингвистика процесс говорения и слушания?

Наиболее распространены теории,— Л. Блумфилд называл их менталистскими,— согласно которым говорение есть выражение мыслей, возникающих в сознании говорящего, а слушание есть восприятие этих мыслей или воссоздание их в сознании слушающего при посредстве языковых знаков. Эти теории весьма многочисленны и во многом различны. Но как бы они ни различались, в одном они едины. Языковая коммуникация понимается в них субъективно: говорение рассматривается с точки зрения субъективных переживаний говорящего, слушание — с точки зрения субъективных переживаний слушающего.

---

[3] А. А. Зиновьев. Основы логической теории научных знаний, М., 1967, стр. 11.

Такой подход, безусловно, правомерен. Он принимается в большинстве наук, в том числе и в такой лингвистической дисциплине, как психолингвистика[4]. Поэтому нельзя согласиться с огульным отрицанием ментализма со стороны Блумфилда. Однако для собственно лингвистики он все же непригоден. При субъективном взгляде на речевую деятельность мысль предстает как переживание говорящего (слушающего) и, если быть последовательным, должна считаться психической данностью. А психическое экстралингвистично. Из этого вытекает, что исследователь семантического аспекта языка, строго придерживающийся субъективного взгляда, неизбежно должен опираться на категории, им же самим трактуемые как экстралингвистические, вступая в противоречие с основным собственно-лингвистическим принципом.

Таким образом, в собственно лингвистике субъективный подход к говорению и слушанию должен быть заменен объективным подходом (аналогично тому, как поступает современная логика).

Механицизм, противопоставленный Блумфилдом ментализму, тоже не может удовлетворить собственно лингвистику. По Блумфилду [5], каждое высказывание есть одновременно речевая реакция говорящего (r) на некоторый предшествующий стимул (S или s) и речевой стимул (s), способный вызвать у слушающего некоторую ответную реакцию (R или r). Этой теории нельзя отказать в объективности. Ее изъян в другом. Ясно, что S, предшествующий высказыванию, и R, последующая ему, не принадлежат к объекту лингвистики. Это отдельные проявления внеязыковой действительности. Но согласно Блумфилду, именно из них складывается значение [6]. Следовательно, механицизм тоже находится в несомненной зависимости от экстралингвистического фактора. Только, в отличие от ментализма, ищущего опоры в области психики, механицизм обращается к внеязыковой действительности.

Более надежную основу для ответа на поставленный вопрос дают идеи общей теории связи, позволяющие истолковать речевое высказывание как последовательность сигналов в канале связи, а говорение и слушание — как работу передатчика и приемника безразличной природы, т. е. как кодирование и декодирование [7]. Действительно, собственно лингвистика не может судить о том, что происходит в голове человека при говорении и слушании. Для нее не существенно, выражается ли в высказывании мысль, формулируемая говорящим в момент говорения или возникшая у него ранее, высказывает ли говорящий свою мысль или он переводит то, что сказало ему другое лицо на другом языке, порождено ли данное высказывание человеком или машиной и т. д. Существенно лишь строение высказывания и той знаковой системы (естественного языка), которая представлена в этом высказывании. В связи с этим вполне естественно воспользоваться понятиями общей теории связи.

Никакая информация не существует вне кода, вне знаковой системы. Следовательно, кодирование и декодирование есть разнонаправленные процессы перекодирования, перевода с одного кода на другой, с одной знаковой системы на другую. При кодировании код, используемый для выражения некоторой информации, но неприемлемый для канала связи, заменяется другим кодом, отвечающим характеристике этого канала. При декодировании тот же процесс протекает в обратном направлении.

---

[4] Ср., в частности: «Теория речевой деятельности (Проблемы психолингвистики)», М., 1968, стр. 6, 8.

[5] См.: Л. Блумфилд, Язык, М., 1968, стр. 37 и сл.

[6] См. там же, стр. 142.

[7] Ср., в частности: «Psycholinguistics. A survey of theory and research problems», Baltimore, 1954, стр. 1—3.

Из этого можно заключить, что высказыванию на естественном языке должно предшествовать (при говорении) и последовать (при слушании) тоже закодированное сообщение, знаковое образование. Поясним эту мысль.

В акте устной речевой коммуникации различаются два основных уровня (если не считать уровня органов речеобразования и речевосприятия, т. е. передатчика — приемника), и каждому из них соответствует свой код или, что то же, своя знаковая система. На уровне мозга информация кодируется посредством нервных импульсов. Этот код сравним в известных пределах с «машинным языком» — системой электрических импульсов, циркулирующих внутри электронно-вычислительной машины. Назовем его условно «языком мозга». На уровне акустического канала связи информация кодируется посредством акустических знаков естественного языка. Эти две знаковые системы (два кода) субстанционально различны, но обычно изоморфны друг другу [8] и находятся в отношении сложного, постоянного и тесного взаимодействия. Достаточно обратить внимание на три возможности: 1) могут функционировать «язык мозга», органы речи и акустический язык (= внешняя речь), 2) могут функционировать «язык мозга» и органы речи, которые, однако, не создают акустического сигнала (= внутренняя речь), 3) может (ограниченно) функционировать только «язык мозга» (= возникновение мысли без участия речи, например, когда мы говорим одно, а думаем другое).

Говорение, если взглянуть на него с этих позиций, представляет перекодирование с «языка мозга» на язык акустического канала связи, а слушание — перекодирование с акустического языка на «язык мозга». Чтобы возникло речевое высказывание, должны быть приведены в движение органы речеобразования. Чтобы привести в движение органы речи, к ним должны поступить сигналы на «языке мозга». В этом смысле речевому высказыванию при говорении предшествует знаковое образование на «языке мозга». При слушании речевое высказывание воздействует на органы речевосприятия, в результате чего возникают сигналы на «языке мозга». В этом смысле за речевым высказыванием при слушании следует знаковое образование на «языке мозга».

Было бы ошибочно считать, что при таком подходе язык низводится до положения средства, передающего готовую мысль и не участвующего в ее формировании. Нельзя смешивать мысль с нервными импульсами «языка мозга». Такие импульсы суть знаки, мысль же есть отображение действительности. Она осуществляется благодаря знакам, но не является знаком. «Язык мозга»— такая же знаковая система, что и акустический язык. Обе эти системы объективируют мысль и тем самым участвуют в ее формировании. Отношение последовательности нервных импульсов в мозгу к соответствующей мысли тождественно отношению к ней эквивалентной последовательности акустических языковых знаков. Различие между ними состоит в том, что «язык мозга» участвует в формировании мысли всегда (без него мысль вообще не может возникнуть), а акустический язык — только тогда, когда органы речи порождают акустическое высказывание, т. е. только в случае внешней речи, или, если рассматривать этот язык на уровне артикуляций, только в случае внутренней и внешней речи.

---

[8] Нарушение изоморфизма ведет к нарушению коммуникации. Если «язык мозга» не изоморфен акустическому языку, имеет место то, что называют «муками слова»; этот случай является одним из факторов, стимулирующих развитие языка. Если акустический язык не изоморфен «языку мозга», происходит непонимание (или неполное понимание) говорящего слушающим; этот случай является одним из факторов, стимулирующих развитие «языка мозга».

Итак, говорение есть перекодирование с «языка мозга», а слушание — на «язык мозга». Но собственно лингвистика изучает лишь ту знаковую систему, которая представлена в акустическом (а также графическом) канале связи, и отвлекается от всего остального. Следовательно, говорение в собственно лингвистике должно быть определено как перекодирование с лингвистически иррелевантной знаковой системы на естественный язык, а слушание — как перекодирование с естественного языка на лингвистически иррелевантную знаковую систему.

Если процесс пользования языком истолковать так, как предложено выше, естественно принять, что содержание в языке составляет информация в том ее понимании, которое развилось на базе теории информации [9]. Если же содержание в языке есть информация в этом смысле, содержание должно быть у всех языковых единиц [10], в том числе и у фонем, ибо о каждой фонеме данного языка можно сказать, сколько информации на нее приходится. В то же время информация, содержащаяся в языковых знаках, должна быть разделена на семантическую и асемантическую. Семантическая информация е ть информация о чем-то, асемантическая — информация ни о чем. В связи с семантической информацией можно спросить, и о чем она, и сколько ее, а применительно к асемантической информации возможен лишь вопрос о количестве [11]. При таком подходе теряет смысл деление единиц языка на двусторонние (морфема и выше) и односторонние (фонема и слог). Все они двусторонни, поскольку все имеют выражение и содержание. Морфема (и выше), с одной стороны, и фонема и слог, с другой, различаются не наличием и отсутствием содержания, а характером содержащейся в них информации. Первые несут семантическую информацию, являются семантическими. Вторые несут асемантическую информацию, являются асемантическими.

Поскольку информация, выражаемая знаками языка, или языковая информация, способна быть и семантической, и асемантической, ее дефиниция должна отражать общее в содержании таких разных единиц, как предложение, слово, с одной стороны, и слог, фонема — с другой. Общим же у них является, по-видимому, только то, что отличает эти единицы от соотносимых с ними чисто акустических явлений, т. е. знаковость (в смысле: принадлежность к знаковой системе). Разные единицы конкретизируют свою знаковость по-разному. Одни обозначают одно, другие — другое, третьи, ничего не обозначая, принадлежат к знаковой системе как различители единиц более высоких рангов. И в зависимости от этого они несут разную информацию. Следовательно, языковая информация есть совокупность свойств языковых единиц, конкретизирующих их знаковость. Каждая единица языка обладает какими-то акустическими (или графическими) и какими-то информационными свойствами (= информацией). Совокупность первых составляет выражение этой единицы, совокупность вторых — ее содержание.

От акустических свойств языкового знака или таких свойств вещи, как масса или форма, которые присущи соответствующему материальному объекту от природы, информацию как свойство отличает функциональность. Естественные свойства связаны друг с другом причинно-

[9] Ср. определение информации как «отраженного разнообразия» в кн.: А. Д. Урсул, Природа информации, М., 1968, стр. 217.

[10] В данной статье язык представляется в виде некоторой области (или системы) объектов, таких, как фонемы, морфемы, слова, предложения. Эти объекты называются единицами, или знаками языка, причем выражения «единица» и «знак» понимаются как синонимы.

[11] Надо иметь в виду, что ноль информации не то же, что ее отсутствие. Равенство нулю битов означает только, что данная информация (но вовсе не ее отсутствие) предсказывается с вероятностью, равной единице.

следственными отношениями. Информация же не выступает по отношению к акустическим свойствам ее носителя, т. е. к выражению того же знака, ни как причина, ни как следствие. Она, так сказать, задается извне (обычно говорят о произвольности или условности связи). Информация, составляющая содержание некоторого слова (= отнесенность к определенному обозначаемому), возникает у этого слова потому и только потому, что она закрепляется за ним членами языкового коллектива. Однако функциональность информации не может служить основанием, чтобы считать информацию идеальным феноменом: она так же материальна, как и естественные свойства. Функциональность обусловливает лишь способ появления информации, но не то, как она существует. По способу существования она не отличается от естественных свойств: коль скоро некоторая информация закреплена за каким-то знаком, она как свойство этого знака существует эмпирически, материально (см. ниже). Если бы это было не так, отличить знак от незнака было бы невозможно. Если же информация материальна, она не совпадает с тем, что принято называть мыслью.

Итак, подчеркиваем: при объективном взгляде содержание языковой единицы столь же материально, что и ее выражение. В этом смысле все единицы языка односторонни, в них нет ни грана идеального.

То, к чему языковые единицы относятся, что они обозначают, о чем несут информацию, условимся называть языковыми референтами (языковыми — потому что информацию о них передают языковые знаки) и попытаемся выяснить, что они собой представляют.

Многочисленные факты несоответствия содержания высказывания действительности, в частности такие заведомо ложные высказывания, как *На вербе растут груши*, доказывают, что языковые референты есть идеальные объекты. Это не денотаты, а сигнификаты, если воспользоваться терминологией Ч. Морриса.

Хороший пример дают эксперименты, которые ставились в свое время для подтверждения субституитивной природы знака, и среди них опыты О. П. Капустника [12]. Один из таких опытов состоял в следующем. У детей вырабатывался условный рефлекс на звонок: звенел звонок, и дети нажимали резиновую грушу. Затем вместо того, чтобы дать звонок, экспериментатор говорил: «Звонок!», и дети нажимали грушу так же, как они делали это в ответ на звон звонка. Тем самым принципиально подтверждалась одинаковость воздействия на нервную систему факта действительности и соответствующего ему языкового знака. Но опыты такого рода доказывают также, что референтом языковой единицы, в данном случае предложения *Звонок*!, является идеальное событие, а не факт действительности, т. е. не реальный звон звонка. В этом легко убедиться. Предложение *Звонок*! было произнесено, когда звонок не звенел, и следовательно, оно противоречило действительной ситуации (именно поэтому эксперимент удался). Если бы референт совпадал с действительностью, сказать *Звонок*! можно было бы только одновременно с реальным звоном звонка.

Так мы приходим к следующим выводам: 1) при построении речевого высказывания параллельно с ним конструируется его идеальный референт. Этот референт может быть адекватным и неадекватным действительности [13]. Но он никогда не совпадает с ней: этому препятствует идеальность референта и материальность действительности; 2) информация, содержащаяся в высказывании, относится к идеальному референту, а не непосред-

[12] См.: О. П. Капустник, Взаимоотношения между непосредственными условными раздражителями и словесными их символами, «Труды лаборатории физиологии высшей нервной деятельности ребенка», II, М., 1930.

[13] Может быть и таким, что его адекватность или неадекватность представляется как возможность (это типично для референтов вопросительных высказываний).

ственно к действительности. Но, передавая информацию об идеальном референте, мы через него передаем информацию и о действительности — в той мере, в какой референт адекватен действительности.

Эти выводы расходятся с привычным представлением о том, что при помощи языка мы говорим (передаем информацию) прямо о действительности [14]. Как объяснить это расхождение?

Предположим, что некто, убедившись на практике, что его перо хорошо пишет, построил предложение *Это перо хорошо пишет*. В соответствии со сказанным выше надо констатировать, что это предложение несет информацию не непосредственно о действительности, а о своем идеальном референте, адекватном установленному на практике факту. И поскольку передать информацию о том, что адекватно действительности, не то же, что передать информацию о самой действительности, привычное представление должно быть отвергнуто. Но, с другой стороны, нельзя забывать о способности человека отвлекаться от любых свойств любых рассматриваемых объектов. Можем мы отвлечься и от того, что отличает идеальный референт от действительности,— от его идеальности. А тогда отношение референта к действительности принимает форму совпадения — несовпадения (вместо адекватности — неадекватности). Если известно, что референт предложения *Это перо хорошо пишет* адекватен действительному факту, можно, отвлекаясь от идеальности референта, сказать, что он совпадает с этим фактом и что, следовательно, предложение несет информацию непосредственно о действительности. Только при этом надо помнить, что мы отвлеклись от идеальности референта, что на самом деле предложение передает информацию об адекватном действительности идеальном референте.

Короче говоря, передать информацию непосредственно о действительности при помощи языка нельзя, но мы можем утверждать, что передаем информацию непосредственно о действительности, если выполняем названное выше условие. В таком «сдвиге» нет ничего необычного. К нему постоянно прибегают, когда о модели говорят так, как если бы это был оригинал. Например, когда говорят, указывая на точку на глобусе: «Здесь находится Ленинград» [15].

В чем состоит специфика языковых референтов как идеальных объектов [16]? Широко известны слова К. Маркса и Ф. Энгельса из «Немецкой идеологии»: «На „духе" с самого начала лежит проклятие — быть „отягощенным" материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка» [17]. Полагаем, что специфика идеальных языковых референтов заключена именно в их «отягощенности» материей, в том, что они существуют лишь постольку, поскольку они «отягощены» обозначающими их единицами языка. Раскрыть эту мысль можно, видимо, посредством следующих шести тезисов.

---

[14] Ср., например: A. Gardiner, The theory of speech and language, Oxford, 1932, стр. 18.

[15] Чтобы не упрощать проблемы, следует оговориться. Идеальность не обязательна для референтов. Существуют знаковые системы (к ним, видимо, относится „язык животных"), передающие информацию только о материальных референтах. Языковые референты тоже не все являются идеальными. В двух случаях они материальны: а) если языковый знак несет информацию об информации же (например, информацию о вопросительности содержащейся в высказывании информации) и б) если он несет служебную информацию, т. е. информацию о строении знака, в который он входит. Однако в данной статье материальные референты не рассматриваются.

[16] Об идеальныхъ обектах см. : В. А.Смирнов. О достоинствах и недостатках одной логико-философской концепции, сб. «Философия марксизма и неопозитивизм», М., 1963. В том же смысле часто употребляют также термин «абстрактный объект»

[17] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 3, М., 1955, стр. 29.

(1) Идеальные референты существуют не эмпирически (т. е. не поддаются восприятию нашими органами чувств, непосредственно или через те или иные приборы), а в том и только в том смысле, что мы можем говорить, передавать информацию о них. Ср., например, референты слов *лещ* «рыба из семейства карповых» и *леший* «мифическое существо, якобы живущее в лесу». Оба они существуют как то, о чем несут информацию эти слова. Эмпирически же существуют только лещи (реальные лещи, не референт словоформы *лещи*).

(2) Если идеальные референты существуют лишь в смысле (1), то чтобы создать их, достаточно произнести соответствующую языковую единицу (или ряд единиц). Известно, например, что для эмпирического создания трансурановых элементов — нептуния, плутония и др.— требуется сложное оборудование. А как языковые референты они создаются простым произнесением слов *нептуний*, *плутоний* и т. д. Невозможно изменить нашу солнечную систему так, чтобы Солнце вращалось вокруг Земли. Но создать идеальный референт, который был бы адекватен этой нереальной ситуации, очень просто. Для этого достаточно построить предложение *Солнце вращается вокруг Земли*.

(3) Взаимодействие идеальных референтов друг с другом (что происходит параллельно с построением соответствующих языковых единиц) всегда дает в итоге тоже идеальные референты и ничего другого, кроме идеальных референтов. Когда, например, из молока делают творог, молоко как таковое исчезает, и вместо него получается творог. Но в референте предложения *Она сделала из молока творог* референты «молоко» и «творог» не исключают друг друга. Они сосуществуют и вместе с другими референтами того же порядка («она и «сделала») образуют единство, представляющее собой референт более высокого порядка (референт предложения).

(4) Назначение идеальных референтов — отображать действительность. Поэтому их отношение к действительности аналогично отношению модели к оригиналу. Оно характеризуется в терминах адекватности — неадекватности, а не в терминах совпадения — несовпадения (с учетом «сдвига», о котором говорилось на стр. 15).

(5) Способ, которым идельные референты создаются, объясняет, почему они все же воспринимаются нами, хотя и не существуют эмпирически: если они существуют лишь постольку, поскольку существуют обозначающие их языковые единицы, то и восприниматься они должны лишь постольку, поскольку мы воспринимаем эти языковые единицы.

(6) Идеальные референты лишены пространственно-временной протяженности. Потому-то они и не существуют эмпирически. Локализовать в пространстве и времени можно только знаки, но не их идеальные референты.

По идеальным языковым референтам можно судить об идеальных референтах (или идеальных объектах) вообще. Их сущность — в способе существования и назначении. В отличие от знаков и других материальных объектов, идеальные референты существуют лишь постольку, поскольку существуют обозначающие их знаки, и лишь в том смысле, что о них можно передавать информацию. Этот способ существования идеальных референтов обусловлен их назначением, тем, что они предназначены для отображения действительности. Идеальные референты отображают действительность, знаки передают информацию об этих отображениях и через них о действительности (в той мере, в какой идеальный референт адекватно отображает действительность).

Информация как свойство знака, отличающее его от незнака, не обладает ни тем способом существования, ни тем назначением, которые

характеризуют идеальный объект. Поэтому объективно ее нельзя причислять к идеальному.

Из того, что языковые референты идеальны, отнюдь не следует, что они входят в состав единиц языка. Во-первых, включение референта в знак ведет к отказу от истолкования (семантического) знака как заместителя чего-то внешнего по отношению к нему. Это в свою очередь ведет к концепции типа той, которую отстаивал Л. Ельмслев и которую ныне вряд ли нужно специально опровергать. Во-вторых, включать референт в знак в качестве его содержания значит отождествлять его с (семантической) информацией. Между тем их различие должно быть очевидным: свойство знака, конкретизирующее его отнесенность к чему-то (т. е. семантическая информация), и то, к чему относится этот знак (т. е. референт), не может быть одним и тем же [18]. В-третьих, материальный референт явно не входит в состав обозначающего его знака. Тем более это должно относиться к идеальному референту. Если языковые единицы существуют эмпирически, а их идеальные референты — только в том смысле, что о них может быть передана информация, то включить идеальные референты в языковые единицы можно лишь при условии, что мы признаем возможными объекты, которые существуют одновременно и эмпирически, и неэмпирически, а это нелогично.

Если идеальные языковые референты обособлены от обозначающих их единиц, их тождество и различие должно базироваться на их собственных (идеальных) свойствах, а не на (материальных) свойствах языковых единиц. И это действительно так. Атом, например, обозначается по-русски словом *атом*, а по-японски — *гэнси*. Но это различие затрагивает лишь языковые единицы. Идеальный референт остается самим собой независимо от того, обозначается ли он словом *атом* или *гэнси*. Русское слово *вилка* несет информацию и о предмете из столового прибора и о положении на шахматной доске. Однако эти разные референты не становятся ближе друг к другу от того, что они обозначаются в русском языке одной многозначной единицей.

Такая независимость идеальных референтов от единиц языка дает основание утверждать, что идеальные языковые референты универсальны, что они образуют систему, единую для всего класса естественных языков. Множественность языков не распространяется на область идеальных языковых референтов. Языки различаются своими единицами, не референтами.

Но универсальность идеальных языковых референтов не следует понимать так, что все языки передают информацию обо всех возможных референтах. Каждый язык покрывает лишь часть универсальной системы, а его неспособность передать информацию о неохватываемой части системы всегда компенсируется или может быть компенсирована.

С точки зрения отдельного языка идеальные референты универсальной системы делятся на три группы: (а) референты, охватываемые данным языком (они строятся средствами этого языка, и о них может быть передана информация); (б) референты, не охватываемые данным языком, но равные референтам (а) — равные в том смысле, что для отображения

---

[18] Популярное в последнее время противопоставление «поверхностность — глубинность» тоже не помогает. За ним стоит лишь образ, осмысляемый разными авторами по-разному, причем «разброс» мнений оказывается весьма широким (ср., например: «Тезисы научной конференции „Глубинные и поверхностные структуры в языке“», М., 1972). Можно, конечно, приписать, скажем, языковым единицам признак «поверхностности», а идеальным языковым референтам — признак «глубинности». Однако ясности от этого не прибавится. Просто мы получим право называть одни объекты «поверхностными», другие — «глубинными». Не более.

действительности не существенно, строится ли один из данной пары референтов или другой, передается ли информация об одном из них или другом; (в) референты, не охватываемые данным языком и не равные референтам (а), но такие, что они могут перейти в (а) или (б), если язык в своем развитии обогатится необходимыми средствами.

В русском языке, например, китайскому числительному *вань* соответствует сочетание *десять тысяч*. Референт этого сочетания, т. е. «десять тысяч», не тождествен референту «вань». Он составлен из двух элементарных референтов «десять» и «тысяча». Референт же «вань» элементарен, он не делится так, как делится «десять тысяч». Но хотя эти референты и различны, они равны, потому что десять тысяч равно одному ваню (10.000 = = 1.0000), потому что составной референт «десять тысяч» отображает действительность точно так же, как элементарный «вань». Японское прилагательное *аой* значит и «синий», и «зеленый». Следовательно, референты «аой» и «синий» не равны. Но в составном референте, например в референте сочетаний *аой сора* «синее небо» и *синее небо*, их неравенство нейтрализуется. Эти сочетания несут информацию об одном и том же референте. Можно было бы привести и другие, требующие более сложных объяснений примеры, но думается, что и этих примеров достаточно, чтобы показать, что наличие референтов (б) не отражается на коммуникативных возможностях языка.

К группе (в) принадлежат, например, референты терминов какой-либо науки, взятые в их отношении к языку народа, находящегося на такой стадии познания действительности, когда еще не возникает потребность в этих терминах. Референты (в), конечно, свидетельствуют о несовершенстве данного языка. Но это несовершенство устранимое. Оно преодолевается с развитием языка. А так как все языки одинаково способны к развитию, все они обладают потенциально равными коммуникативными возможностями.

Таким образом, наши выводы кардинально расходятся с известными положениями Б. Уорфа, Л. Вейсгербера и др. Языки могут не располагать средствами для построения каких-то референтов и передачи информации о них. Однако из этого неправомерно заключать, что идеальные референты образуют не единую систему, а разные системы для разных языков (или групп языков). Неправомерно также заключать, что разные языки строят разные «картины мира». Для отображения действительности безразлично, осуществляется ли оно при помощи одного и того же или разных, но равных идеальных референтов.

Теперь можно сказать, в каких отношениях друг к другу находятся идеальный референт и мысль.

Как явствует из изложенного, при рассмотрении того, что называется мыслью, надо учитывать возможность двух разных пониманий — объективного и субъективного. Объективно идеальный референт это и есть мысль: он идеален, обособлен от обозначающего его знака и вместе с тем неотрывен от него, так как существует только постольку, поскольку существует знак, и лишь в том смысле, что о нем может быть передана информация. На уровне речевого высказывания мысль есть идеальный референт языковой единицы, на уровне мозга — идеальный референт последовательности нервных импульсов как единицы «языка мозга». Мышление представляет собой процесс оперирования идеальными референтами, протекающий при участии «языка мозга» и естественного языка. Следовательно, языковые единицы не выражают мысль как свое содержание. Они передают информацию о мысли и через нее о действительности.

Субъективно мы переживаем идеальный референт как то, что выражается посредством знака, что скрыто в нем или за ним, что обладает свой-

ством глубинности, и не отличаем информацию от идеального референта. В то же время мы непроизвольно совершаем «сдвиг», о котором упоминалось на стр. 15, и нам кажется, что мы передаем информацию не об идеальном референте, а непосредственно о действительности. Вместе это приводит к искажению объективной картины: материальное содержание семантического знака (семантическая информация) представляется нам идеальным (относящимся к области сознания), а идеальное обозначаемое семантического знака (идеальный референт) представляется материальным (относящимся к действительности).

Оба этих подхода правомерны, но для разных научных дисциплин их значимость различна. Для таких дисциплин, как логика или собственно лингвистика, обязательна объективная трактовка мышления (субъективный подход в них так же непригоден, как в астрономии субъективное представление о строении солнечной системы). Психология (а также психолингвистика), изучающая психическую деятельность, по-видимому, должна стоять на субъективных позициях (хотя она, разумеется, учитывает и объективные данные). В тех науках, для которых выбор между объективным и субъективным подходами несуществен,— а таких наук большинство,— предпочтение также отдается субъективному представлению как более простому с точки зрения исследователя.

Субъективное понимание мышления в лингвистике, сопровождаемое таким же пониманием речевой деятельности, влечет за собой истолкование содержания семантических единиц языка как психической данности, а это, как уже говорилось, приводит к противоречию. Кроме того, при субъективном подходе мысли часто приписывается структура единиц супрасинтаксического яруса языка. Между тем структуры идеальных языковых референтов и супрасинтаксических единиц различны. Противопоставление «психологический (логический) субъект (данное) — психологический (логический) предикат (новое)» объективно можно объяснить так. То, что субъективно переживается как «данное», есть семантическая информация, лишенная количественного параметра, то, что субъективно переживается как «новое», есть семантическая информация, имеющая количественный параметр. Количество семантической информации, содержащейся в некотором сообщении, определяется по «новой» информации. «Данная» информация не принимается в расчет, она не увеличивает и не уменьшает количества семантической информации [19].

Собственно лингвистика различает три области объектов: 1) язык как систему языковых единиц, 2) универсальную систему идеальных языковых референтов и 3) внеязыковую действительность. Так как языковые единицы не передают информацию непосредственно о внеязыковой действительности, эта действительность является лингвистически безразличной. Она не безразлична для лингвиста только на уровне восприятия (понимания) подлежащих лингвистическому анализу высказываний (поскольку для анализа высказываний необходимо их понимание, а понимание невозможно без учета речевой ситуации).

Изучение семантического аспекта языка с опорой на внеязыковую действительность нерационально. Ю. Д. Апресян [20], например, различает у предложения денотативное значение (определяемое как внеязыковая ситуация) и сигнификативное значение (определяемое как способ представления ситуации мыслящим субъектом) и поясняет это различение на примерах типа *Петр — отец Ивана* и *Иван — сын Петра*: такие

[19] См.: И. Ф. Вардуль, О двух синтаксических уровнях языка, «Исследования по японскому языку», М., 1967.

[20] См.: Ю. Д. Апресян, Экспериментальное исследование семантики русского глагола, М., 1967, стр. 5—6.

предложения, по его мнению, имеют одно денотативное, но разные сигнификативные значения. Известно, что денотат у предложений есть только тогда, когда они истинны. Следовательно, объяснение Апресяна применимо лишь к истинным предложениям и неприменимо к ложным (а также таким, которые не могут быть ни истинными, ни ложными). Чтобы показать семантическую общность предложений типа *Петр — отец Ивана* и *Иван — сын Петра*, нет необходимости обращаться к чему-то еще, кроме их идеальных референтов (или сигнификативных значений, по Апресяну). Достаточно отметить, что их референты равны, хотя и различны, как равны (хотя и различны), например, референты выражений $2 + 1$ и $4 - 1$ $(2 + 1 = 4 - 1)$.

Иррелевантность внеязыковой действительности находит выражение в характерной для лингвистики позиции «доверчивого простака». Предикативные построения приписывают своим референтам то или иное отношение к действительности. Так, предложения, обычно называемые повествовательными, в наиболее типичных случаях приписывают адекватность действительности, совпадение с ней, хотя на самом деле их референты, конечно, могут быть и адекватными (если предложение истинно) и неадекватными (если предложение ложно). Позиция «доверчивого простака» состоит в том, то идеальный референт принимается таким, каким его представляет языковая единица. Если предложение *Волга впадает в Индийский океан* в силу своей повествовательности представляет свой референт как совпадающий с действительностью, то таким он и принимается. Стало быть, с точки зрения языкознания это предложение столь же «истинно», что и предложение *Волга впадает в Каспийское море*. Предложения Апресяна тоже подают свои референты как совпадающие с действительностью, и если принять их такими, создается видимость наличия у них денотата. Позицию «доверчивого простака» демонстрируют также дети в экспериментах Капустника, послушно нажимая грушу в ответ на явно ложную информацию. Критически настроенный участник опыта должен был бы сказать: «Звонок? А я его не слышу».

Что касается идеальных языковых референтов, то их система подлежит изучению в собственно лингвистике наряду с системами языковых единиц, т. е. языками. Идеальные языковые референты экстраязыковы, но не экстралингвистичны. Каждому классу знаковых систем соответствует своя система референтов (ср. в этом отношении естественный язык и, например, систему уличного светофора), и эта система не интересует ни одну дисциплину, кроме той, которая описывает данный класс знаковых систем (хотя бы потому, что ни одна другая дисциплина не подходит к ним с позиции «доверчивого простака»). Логика изучает языковые референты (если она вообще оперирует единицами естественного языка, а не искусственных систем) лишь в связи с анализом процесса получения знаний. Поэтому лингвист не может полностью опереться на нее, хотя и заимствует многие логические понятия. Семиотика подходит к изучаемым ею знаковым системам с тех же позиций, что и лингвистика, но ставит естественный язык в один ряд с другими знаковыми системами, включая самые простейшие. Поэтому семиотическая трактовка референтов не может быть чрезмерно общей для лингвистики (ср. описание сигнификата у Ч. Морриса [21]).

Семантику рационально понимать как изучение семантического аспекта языка, именно как описание языковых единиц в их отношении к тому, что ими обозначается, т. е. к референтам. Иначе говоря, семантика изучает языковые единицы, но не их референты. Следовательно, в любом

[21] Ch. Morris, Signs, language and behavior, New York, 1946, стр. 60 и сл.

семантическом описании должны предполагаться уже определенными понятия для той части системы референтов, обращение к которой необходимо, чтобы осмыслить затрагиваемую описанием совокупность языковых фактов. Без этого семантическое исследование не может быть терминологически строгим. Чтобы показать, например, в чем состоит семантическое различие между *бабушка*, *сказку* и *внуку* в предложении *Бабушка читает сказку внуку*, надо предварительно установить, из каких классов идеальных референтов складываются идеальные референты предложений. Чтобы показать, чем семантически различаются формы типа *читает* и *читала*, надо предварительно определить понятие «время» и определить его не физически или философски, а как понятие, относящееся к системе идеальных языковых референтов. Словом, семантическому исследованию логически должно предшествовать изучение системы идеальных языковых референтов. Дисциплину, которая занимается изучением этой системы, можно назвать предсемантикой.

Семантика и предсемантика принципиально различны. То, что описывается в семантике (языковые единицы), материально. То, что описывается в предсемантике (идеальные языковые референты), идеально. Все языки подлежат семантическому изучению, но каждый из них семантика берет не целиком, а лишь в одном из его аспектов (в семантическом аспекте). Предсемантика же изучает только один объект — универсальную систему идеальных языковых референтов, но охватывает этот объект целиком, не делит его описание ни с какой другой лингвистической дисциплиной.

Так как идеальные референты языковых единиц существуют только благодаря существованию этих единиц и лишь в том смысле, что о них можно передать информацию, данные о системе языковых референтов могут быть добыты только через речевые высказывания (при условии их понимания). Из этого следует, что предсемантика, как и семантика, имеет дело с языком. Но подходит она к нему иначе: если для семантики язык является собственно объектом исследования, то для предсемантики он есть лишь средство, позволяющее воспринять объект исследования, проникнуть в область идеальных языковых референтов. Обращенность предсемантики и семантики к одним и тем же языковым единицам свидетельствует о принадлежности этих дисциплин к одному уровню. Предсемантика логически предшествует семантике, но не является ее метатеорией. Это именно предсемантика, не метасемантика.

Описывая универсальную систему идеальных языковых референтов, предсемантика тем самым описывает возможные формы и строение мысли (поскольку идеальный референт — мысль), т. е. ту сторону мышления, которая попадает в объект лингвистики. Правда, собственно лингвистическое (предсемантическое) представление о мышлении страдает односторонностью. Лингвист ограничен рамками системы языковых референтов. Он подходит к идеальным референтам с позиции «доверчивого простака» и не касается проблемы истинности — ложности. Однако односторонность лингвистической точки зрения оправдана: то, что может быть вскрыто в мышлении собственно лингвистикой (предсемантикой), не поддается обнаружению ни в одной другой науке.

В практике семантических исследований языковеды широко пользуются предсемантическими понятиями. Ср. «предмет», «действие», «объект», «одушевленность», «многократность», «время» и т. д. Но эти понятия обычно рассматриваются вне той единой системы, которую они образуют. А это означает, что целостной теории идеальных языковых референтов, такой, которая бы строилась на собственно лингвистической основе, пока не существует. Ее еще предстоит создать.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

Й. ДОМБРОВСКИЙ

ЗНАК И СМЫСЛ[1]

I. В одной из опубликованных нами ранее статей высказывалось предположение о целесообразности разделения языка в целом на «актуальный» язык, имеющий непосредственную связь с актуальной ситуацией, с продвижением времени, и тем самым с живой действительностью, и «инактуальный» язык, лишенный такой связи[2]. Мы подчеркивали при этом, что эта дихотомия отражает сущность языка вернее, чем известное соссюровское разграничение «языка» (langue) и «речи» (parole) и тем самым его иммантизм, и что ее последовательное проведение могло бы иметь значение не только для языкознания, но и для других наук.

На наш взгляд, значение составляет семантическую категорию инактуального языка, а смысл — семантическую категорию актуального языка.

Значение — это бывший и тем самым застывший смысл, переведенный из живой ситуации, из повседневной жизненной практики в систему данного инактуального языка, и выступающий в качестве внутренней, семантической стороны языкового знака (означаемого), закрепленного за внешней, звучащей стороной языкового знака (за означающим); значение связано с действительностью только через посредство актуального смысла, инактуальным коррелятом которого оно является и для выражения которого оно служит. Именно значение является одним из компонентов актуального смысла в познавательной и коммуникативной деятельности людей[3]. Следовательно, значение

---

[1] Настоящая статья посвящена одной из тем, затронутых в докладе «Категория времени и язык», прочитанном автором 25 мая 1972 г. в Москве в Институте языкознания АН СССР.

[2] J. Dombrovszky, Langue «actuelle» et langue «inactuelle» («infralangue» et «supralangue»), «Slavica», X, Debrecen, 1970; BSLP, 53, 1968, стр. XXXII—XXXV. Ср. различение «узуального» и «окказионального» значений у Г. Пауля, А. Марти и др. Ср. еще работы, в которых рассматривается проблема актуализации: H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 2. Aufl, Halle, 1886; Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, 3 éd., Berne, 1950; E. Coseriu, Determinación y entorno. Dos problemas de una linguïstica del hablar, «Teória del lenguaje y linguïstica general», Madrid, 1969; Ю. А. Левицкий, Некоторые вопросы теории актуализации. КД, М., 1970. Относительно «актуального членения» предложения имеются многочисленные работы pro et contra; ср. одну из самых интересных работ pro: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

[3] «Язык (langue) выполняет роль некоторой пифагоровой таблицы; он освобождает нас от того, чтобы каждый раз заново начинать работу, совершенную предыдущими поколениями. Мы можем использовать опыт благодаря традиции. То, что нам нужно сообщать, облекается в общую форму, отложенную обществом в нашем духе и имеет силу во всех возможных случаях повседневной практики. Все это говорит о чрезвычайно экономной организации мысли, но в ущерб ей» (hic! — *Й. Д.*): J. Vendryes, Le langage et la vie mentale, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», XI, 1954, стр. 20—21. В. М. Урбан цитирует Гардинера: «Речь является первичным, а язык производным понятием, продуктом речи. Таким образом, язык оказывается как бы „окаменением" живой творческой речи» (см.: W. M. Urban, Language and reality, London — New York, 1951, стр. 67).

относится к смыслу так же, как инактуальный язык относится к актуальному, т. е. как средство к цели[4]. Итак, смысл, лишенный своей органической связи с актуальной ситуацией, с продвижением времени, превращается в знаковый факт на уровне лексико-грамматической системы данного языка; это равнозначно тому, что он получает опосредованный, идиоэтнический, и тем самым внутренне зависимый, вспомогательный, т. е. инактуальный характер[5].

В противоположность значению, смысл возникает в непосредственной актуальной связи с действительностью, а именно в результате взаимоотношения следующих основных актуализирующих и актуализируемых компонентов: живой ситуации, выступающей как событие действительности, непрерывно переходящее от одного момента своего существования к другому; лексических и грамматических значений предложения инактуального языка как хранилища исторического опыта актуального языка; намерения высказывающегося как целенаправленной деятельности индивидуального представителя коллектива, выражаемой прежде всего внутрилингвистическими, и, по необходимости, экстралингвистическими средствами.

Таким образом, в отличие от словесного значения, смысл имеет не застывший, исторический, традиционный, статический характер, а отличается динамичностью, диалектичностью; смысл — это не узкое, замкнутое, имманентное, идиоэтническое явление, а по возможности широкое, открытое, общечеловеческое; смысл — это не зависимый, а автономный, свободный, целостный феномен, не вспомогательное, а целеустремленное, сущностное явление. Актуальность смысла вытекает из его непосредственной связи с живой действительностью. Разумеется, его можно обобщать, абстрагировать, его даже принято абстрагировать и обобщать. Но, в отличие от значения, и абстрагированный, обобщенный смысл всегда органически связан с породившей его единичной, конкретной и тем самым актуальной ситуацией; речь идет о самых широких научных абстракциях и обобщениях, так называемых «законах». Ср. хотя бы такой простой пример: *Земля вращается* (вообще) ← *Земля вращается* (сейчас, в актуальный момент высказывания). Это соотнесенность обобщенного и единичного, абстрактного и конкретного, инактуального и актуального и является критерием истины[6]. Насколько смысл имеет общечеловеческий,

---

[4] Подмена цели средством бывает здесь гораздо чаще, чем мы вообще думаем; ср. в этой связи нашу статью «Langue „actuelle" ...»; ср. также высказывание Э. Келлега: «Абстракции разумные, тесно связанные с конкретными фактами, от которых они произведены, оказываются полезными орудиями. Но если мы приписываем им самим реальность, то смешиваем орудие с тем, что делается с его помощью. Средство становится целью» (E. C. Kelleg, Education for what is real, New York — London, 1947, стр. 42—43).

[5] Как известно, подобно системе инактуального языка функционируют и другие имманентные знаковые системы; так, известная «истина» $2 \times 2 = 4$ зависит от основных компонентов системы и правил их сочетания: их изменение влечет за собой изменение валентностных отношений. Однако нельзя забывать о том, что механизм инактуального языка несравненно сложнее подобных отношений.

[6] Ср. у К. Маркса: «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос теории, а *практический* вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность (= актуальность.— *Й. Д.*) своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 3, М., 1955, стр. 1—2).

Ср. следующее интересное высказывание: «Как мы уже ранее установили, для нас реальность иначе не дана, как в пространственно-временном обособлении, так что лишь актуальные (у автора: Jetzt-und-hier.— *Й. Д.*) высказывания отнесены непосредственно к реальным условиям; отношение к обобщенным высказываниям и к выраженной в них реальности имеет, однако,

универсальный характер, явствует, между прочим, и из того факта, что в переводе с одного языка на другой могут и должны передаваться не идиоэтнические значения инактуального языка, а только и единственно смысл (singularia tantum) актуального языка.

Из сказанного следует, что актуальное высказывание (а следовательно, и смысл)— это явление живое, реальное, важное, информативное, в том или ином отношении р е ш а ю щ е е, ибо за свое высказывание, за вложенный в него смысл говорящий несет ответственность и перед самим собой, и перед обществом. Есть языки, которые очень четко, отдельной глагольной формой, выделяют этот решающий и ответственный характер актуального высказывания [7]. В противоположность этому, инактуальное предложение (а следовательно, и значение, словесное и контекстуальное, т. е. инактуальный язык) — это «мертвая реалия», сохраняемая и передаваемая с незапамятных времен в традиции идиоэтнического коллектива и выступающая как средство для реализации актуального языка. Оставаясь в пределах своего инактуального языка, говорящий, собственно, волен говорить любую бессмыслицу, «nonsense», лишь бы он соблюдал

о п о с р е д о в а н н ы й х а р а к т е р и р е а л и з у е т с я, п о н е о б х о д и м о с т и, ч е р е з п о с р е д с т в о а к т у а л ь н ы х в ы с к а з ы в а н и й. Следующее обобщенное высказывание—*все лошади белые*—заключает в себе, например, утверждение: „каждый раз, когда описана лошадь, представлено актуальное высказывание: *эта лошадь белая*, и каждый раз, когда это обобщенное высказывание будет отнесено к реальности, это происходит в форме актуального высказывания об определенной лошади". Из этого соотношения между „истиной актуальных высказываний" и „истиной обобщенных высказываний" следует, что „истина актуальных высказываний" оказывается собственно конститутивным и первичным понятием (hic!— *И. Д.*), тогда как понятие „истины обобщенных высказываний" имеет скорее вторичный и производный характер» (Kl. H o l z k a m p, Wissenschaft und Handlung, Berlin, 1968, стр. 217).

У К. Бюлера вопрос был поставлен, но полностью не решен; его пример *дважды два четыре* неудачен: этому высказыванию конкретно, как знаку, т. е. как означающему и означаемому, как и фактам инактуального языка, ничто не может соответствовать в объективной реальности. Следовательно, знак, с а м п о с е б е, не дает ничего нового, актуального, он может служить лишь средством достижения цели, т. е. к познанию. Упомянутый путь неизбежно ведет к платонизму, или средневековому «реализму». Вот собственные слова Бюлера: «Можно все же утверждать, что то же самое предложение, высказанное в один и тот же день во всем мире и во всех пространственно разных ситуациях, было одинаково понятно. Итак, смысл предложения оказывается освобожденным от пространственных условий речевой ситуации, но не от в р е м е н н ы х [речь идет о предложении *Папа римский умер*]; оно освобождено от условий „здесь", но не от условий „сейчас". Имеются, однако, предложения, смысл которых освобожден и от временных условий речевой ситуации, например, предложение *дважды два четыре* и другие предложения из языка науки» (K. B ü h l e r, Sprachtheorie, Jena, 1934, стр. 367).

[7] Момент решительности и ответственности субъекта актуального высказывания рельефно выступает у глаголов говорения, потому что именно в них высказывание может актуально совпадать с совершением действия, речь и смысл совпадают в одном акте, ср., например, *я клянусь*, *я обещаю*, *я приказываю* и др. Во многих языках мира у этих глаголов выделяются различные степени актуализации. Так, например, в венгерском языке, в высказываниях *igérem*, *hogy ott leszek*: *megigérem*, *hogy ott leszek* «я обещаю быть там» последний, префигированный вариант подчеркивает решительность и ответственность субъекта и тем самым эффективность всего акта гораздо рельефнее, чем первый вариант (без делексикализованного префикса *meg-*): фраза *veszek egy könyvet* «я покупаю книгу» представляет собой лишь описание актуально совершающегося действия (например, как ответ на вопрос: «что ты там делаешь?»), а фраза *megveszem a könyvet* означает здесь, что момент высказывания и момент совершения покупки совпали в одном решающем и ответственном акте (смысл — «вот книга куплена, она моя»). Ср. еще такие пары: *köszönöm*: *megköszönöm* «благодарю», *áldalak*: *megáldalak* «я благословляю тебя» и др. В других языках в этой актуализирующей функции употребляются разные аспектно-темпоральные формы, например, в словинском — перфективная форма настоящего времени, в древнееврейском — форма перфекта, в турецком— так называемый «аорист» и т. п. (ср. мою статью «Langue „actuelle"...», стр. 19—21; V. S k a l i č k a, The need for a linguistics of *la parole*, «Récueil linguistique de Bratislava», 1948, стр. 36).

основные лексические и/или грамматические правила в имманентной системе данного языка, ибо инактуальный язык лишен непосредственной связи с объективной реальностью [8].

В противоположность творческой сущности актуального языка, инактуальный язык имеет тавтологический характер. Несмотря на возможность трансформирования и варьирования семантических (словесных и контекстуальных) и синтаксических средств, инактуальное предложение само по себе, т. е. без учета ситуации объекта и творческой инициативы субъекта, может только повторять или комбинировать то, что имплицитно уже содержится в имманентной системе инактуального языка. Ср., например, комбинирование компонентов арифметической системы: $2 \times 2 = 4$ или $3 + 1 = 4$, или $5 - 1 = 4$ и т. д. Известен факт, что система инактуального языка богаче и сложнее всех других, подобных ей закрытых систем. Однако ее функционирование само по себе сводится лишь к бесконечной тавтологии. Следовательно, грамматика сама по себе не может «порождать» новые, актуальные высказывания, они могут быть созданы исключительно на почве материальной ситуации объекта и субъекта, а грамматика служит лишь средством координации опыта прошлого с настоящим, средством организации и выражения коммуникации [9].

Проиллюстрируем сказанное следующим примером. Возьмем фразу *Я вижу землю*. Это инактуальное предложение само по себе означает: «говорящее лицо воспринимает сейчас (или вообще) зрением или почву, или угодья, или сушу, или нашу планету и т. п.». Собственно говоря, такое предложение не передает какой-либо информации, потому что конкретно ничего не дает относительно значений слов. Получается даже путаница в результате их полисемии. Следовательно, нам придется перевести его на актуальный язык и тем самым придать ему актуальный смысл.

---

[8] Уже Г. Штейнталь установил независимость (инактуального) языка от логики: вот его часто цитируемый пример: «Кто-либо подходит к круглому столу и говорит. „*Diese runde Tafel ist viereckig*". Грамматист молчит, совершенно удовлетворенный: Логик, однако, возражает: „Бессмыслица!". Он говорит: „*Dieser Tafel sind rund*" или „*Hic tabulam sunt rotundum*". Логика не интересует, собственно говоря, выражена ли эта мысль грамматически правильно по-немецки или по-латыни. Грамматист, однако, возражает» (H. Steinthal, Einleitung in die Psychologie der Sprachwissenschaft, Berlin, 1871, стр. 70).

О. Есперсен настаивает на том, что нельзя отделять друг от друга лексическое и грамматическое значения; оставаясь, однако, в пределах инактуального языка, он не увидел, что значение и смысл относятся к двум, качественно резко отличающимся друг от друга, хотя и коррелятивным сферам языковой реальности. Он пишет: «Оба сочетания *дважды два пять* и *мой круглый стол квадратный* являются как предложения грамматически правильными, лексически, однако, неправильными, ибо они не могут быть согласованы со значением слов *два*, *пять*, *круглый*. Поэтому они, по сути дела, лингвистически неправильны» (O. Jespersen, Mankind, nation and individual from a linguistic point of view, Oslo, 1925, стр. 116).

В отвлечении грамматической формы от лексического значения дальше всех пошел Л. В. Щерба, который приводит следующее своего рода инактуальное предложение: *Глóкая куздра штéко будлану́ла бóкра и курдя́чит бокрёнка*. Бесспорно, и в такого рода случаях обобщенный характер формальных структур инактуального языка позволяет делать определенные выводы о характере лексических значений.

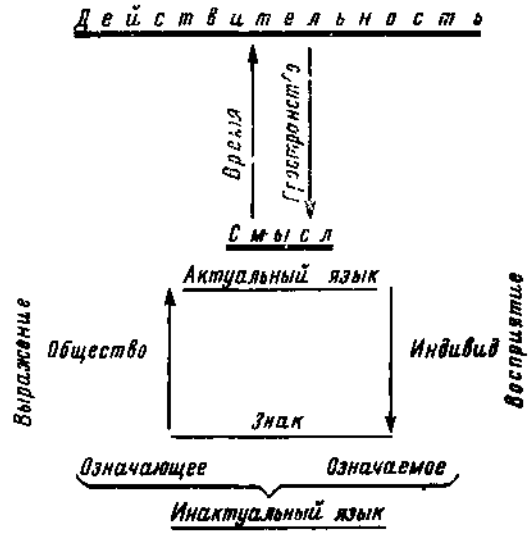
[9] В следующих словах явно выражается нежелание Н. Хомского ограничиваться одним инактуальным языком: «Таким образом, например, предложения типа *colorless green ideas sleep furiously*, *remorse felt John*, *the dog looks barking* и. т. п., не могут отличаться с этой точки зрения от *revolutionary ideas appear infrequently*, *John felt remorse*, *the dog looks frightening*, хотя и различие может быть одинаково ясно установлено и мотивировано с синтаксической точки зрения. Итак, грамматика имеет дело лишь с управлением, согласованием, флективными парадигмами и т. п. Это решение не кажется мне более оправданным, чем решение ограничивать изучение языковой структуры фонетическим анализом» (N. Chomsky, The logical basis of linguistic theory, «Proceedings of the IX International congress of linguists». The Hague, 1964, стр. 914).

Представим себе следующие случаи: 1) *Я вижу землю*$_1$ (из уст вахтенного матроса на корабле Хр. Колумба). Ситуация: два часа ночи с 11 на 12 апреля 1492 г., когда он впервые увидел один из Багамских островов. Смысл: открытие новой земли, нового материка — Америки; 2) *Я вижу землю*$_2$ (из уст Ю. А. Гагарина). Ситуация: 12 апреля 1961 г., когда он — впервые в истории человечества — увидел из иллюминатора космического корабля «Восток» в е с ь з е м н о й ш а р. Смысл: начало эпохи научного исследования космоса; 3) *Я вижу землю*$_3$ (из уст колхозника). Ситуация: оттепель при наступлении весны, из-под снега уже обнаруживается там и сям земля. Смысл: скоро можно и должно будет начать весенние работы.

Подобные примеры можно было бы во много раз увеличить, но это совершенно излишне. Уже из приведенного материала явствует, какая существенная разница имеется между инактуальным и актуальным языком.

Наконец, можно сказать в определенном смысле, что инактуальный язык иммапентен и тем самым тавтологичен; а актуальный язык «трансцендентен» в собственном, этимологическом значении слова, ибо он стремится от субъекта к объекту, ко все более многогранной, «сгущенной», диалектической взаимосвязи с другими явлениями, а в конечном счете — к охвату всех явлений, т. е. к с м ы с л у.

Нашу модель можно представить примерно в таком виде:



Известен факт, что в восприятиях, представлениях человека действительность отражается прежде всего с пространственной стороны. Это отражение получает конкретное закрепление в инактуальном языке. Здесь в основном все построено на основе пространственных отношений. Актуальный язык, т. е. актуализация смысла, однако, может связываться с объективной действительностью, с одной стороны, только с о ц и а л ь н о, при помощи трудового опыта и прочей совместной деятельности членов коллектива (конкретно, а затем и абстрактно, только мысленно), и, с другой стороны, — ч е р е з п о с р е д с т в о в р е м е н и, что путем «сгущения» смысла ведет к образованию обобщенных научных понятий (законов), охватывающих в р е м я (прошедшее, настоящее

и будущее, вместе взятые). Осознание смысла в процессе труда создает интеллект человека [10].

II. Конкретизируем сказанное в предыдущем разделе этимологическими примерами слов «знак (значить, значение)» и «смысл», взятыми из пяти европейских языков, а именно древнегреческого, латинского, немецкого и русского, а также венгерского. В качестве основных источников мы используем по индоевропейским языкам словарь Ю. Покорного [11], а по венгерскому языку — новый, издаваемый в настоящее время «Историко-этимологический словарь венгерского языка» [12].

В нашу эпоху семиотических теорий широко известно др.-греч. слово σῆμα «Zeichen, Kennzeichen, Merkmal», т. е. «(при-) знак и т. п.» ← и.-е. *dhi̯ā-mn̥, чередование корня: dheiə-: dhi̯ā-:dhī- «видеть, смотреть» (ср. особенно др.-инд. dhyāman-«Gedanke», dhī-ḥ «Gedanke, Vorstellung, Einsicht, Verstand, religiöses Nachdenken, Andacht»). Семантически этот корень мог иметь духовный, интеллектуальный, даже сакральный характер (значение «видеть, смотреть духом»).

Известно также, что др.-греч. λόγος, переводимое в словаре Покорного «Rede», имеет еще немало других, хотя и вторичных значений, прежде всего «разум, смысл, высказывание»: ср. греч. λογική (τέχνη) «логика, наука об умозаключении»← и.-е. *leĝ- «собирать, подбирать и др.». Др.-греч. глагол λέγω, кроме основного значения «sammle, lese zusammen» означает еще «перечисляю, говорю и т. п.»; ср. также лат. legiō «ausgehobene Mannschaft», русск. заимствование легион, лат. ēlegāns «wählerisch, geschmackvoll», лат. intellegere ← inter-legere «wahrnehmen», ср. русск. заимствованный термин интеллигенция; лат. religiō «Bedenken, religiöse Scheu», ср. русск. заимствованный термин религия; ср. еще и герм. *lēkja «Besprecher, Arzt» и праслав. заимствование *lěkъ «лекарство».

Лат. sĭgnum «Zeichen, Kennzeichen», т. е. «(при-) знак». Предположительное первоначальное значение этого слова — «eingeschnittene Marke». Если это так, то его можно возвести к и.-е. корню *sĕk- «schneiden»: лат. seco, -āre «срезáть», segmen, segmentum «отрезок»; ст.-слав. сѣкѫ, сѣшти «сечь», сѣчиво, секыра «топор».

Лат. sensus, ср. глагол sentio, -īre «чувствовать, ощущать, воспринимать», сущ. sententia «мнение, взгляд, высказывание, смысл», ср. пословицу: quot homines tot sententiae «сколько голов, столько умов» и др. В словаре Покорного выделяются два основных значения: А) духовное значение: ср. уже приведенные латинские слова; сюда относится еще и др.-в.-нем. sin,-nnes «смысл», sinnan «стремиться, сильно хотеть», литов. sintéti «мыслить», ст.-слав. сѧшть «умный»; Б) собственное значение; ср. авест. hant- «достигать», арм. ənt'ac «Weg, Gang», ənt'anam «идти, путешествовать, спешить».

Реконструированный индоевропейский корень и первоначальное значение: *sent- «направляться, идти (путь и т. п.)», а духовное значение: «чувствовать, воспринимать и т. п.».

Нем. (das) Zeichen «(при)знак»; ср. др.-в.-нем. zeihhan «Zeichen», глагол zeihhonōn «обозначать», англо-сакс. taecan, англ. teach «учить», др.-сев. teikna «показывать; означать; обозначать», гот. taiknjan «показывать» и др.— от и.-е. корня *doiĝ-, ср. гот. taikns «знак; чудо». Как известно, и.-е. корень на -o представляет собой перегласовку глагольного корня

[10] Ср. др.-греч. λογος «речь, разум, интеллект и смысл» и венг. értelem «разум, интеллект и смысл» (подробнее см. ниже).

[11] J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern — München, 1959—1969.

[12] «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», főszerk. Benkő Loránd, Budapest, I—II, 1967—1970.

на -*e* **deik̂-* «(у-), (по-)казывать», ср. др.-греч. δείκνυμι «zeige», др.-в.-нем. *zeigōn*→совр. нем. *zeigen* «показывать»; отсюда лат. и герм. абстрактное значение «указывать словами»; ср. лат. *dico, -ere* «говорить/ сказать», отсюда и юридическое выражение: «указывать на виновника» значит «показывать на него» = «обвинять»; др.-в.-нем. *zeihen* то же; ср. еще лат. *iudēx* «der das Recht weisende» («судья»), лат. *digitus* «палец»[13]. Можно предполагать, указывает далее Покорный, что и.-е. корень **deik̂-* является расширением от корня **dei-* «сиять, светить → видеть», которое в дальнейшем стало употребляться как каузативное образование: «дать видеть → показывать».

Как известно, в немецком языке глагол и существительное «значить» и «значение» образуются не от основы *zeich-*, как, например, в русском языке от основы *знак-*, а от основы *be-deut-*.

Нем. *bedeuten* «значить, означать» и *Bedeutung* «значение» ← др.-в.-нем. *diuten* «толковать; объяснять; заявлять», глагол произведен от др.-в.-нем. сущ. *diot-(a)* «народ», отсюда и прилаг.: др.-в.-нем. *diutisc* → совр. нем. *deutsch* «немецкий», первоначально означало «принадлежащий к своему племени, народу»[14]; указанная германская именная основа восходит к и.-е. расширенному корню **teut-*, а этот последний — к **tēu̯-*, *təu̯-*, *teu̯-*, *tu̯ō-*, *tū-* «прибывать» (о воде), отсюда *teutā* «уйма народа»; от того же корня и ст.-слав. *тукъ* «жир, сало», ср. совр. русск. *толстый*, *тысяча* и некот. др.

Нем. (*der*) *Sinn* «смысл», как мы уже указали, восходит, как и лат. *sensus*, к и.-е. корню **sent-*. Ср. еще гот. *sinþs* «отметина», др.-исл. *sinn* «Mal», *sinni* «путь»; ср. еще др.-в.-нем. *senten* → совр. нем. *senden* «отправлять, посылать».

Русск. *знак* восходит к др.-русск. *знакъ*, а это последнее к праслав. **znakъ*, которое образовано с помощью словообразовательного суффикса *-къ* от глагола **zna-ti* «знать» в значении «узнавать, отличать, замечать», подобно словам: *звук* от **zvon-i-ti*, *брак* от **bьra-ti*. В свою очередь праслав. глагольный корень **zna-* восходит к и.-е. **ĝnō-* «узнавать, знать», ср. др.-инд. *jānāmi* «ich weiss», др.-греч. γιγνώσκω, лат. *gnōsco* → *nōsco*, нем. *kennen*, *können*, литов. *žinóti* то же; ср. и сходные именные образования: и.-е. **gnō-mn̥*: *men* → др.-греч. γνῶμα «признак»; праслав. **znamę* → → др.-русск. *знамя* «(при-)знак»; ср. лат. *co-gnōmen* «прозвище»; с другим суффиксом **ĝen-*: *ĝnō-* + *tlo-* то же, ср. литов. *žénklas* «знак».

Русск. *смысл* образовано с помощью префикса *с-* + *мысл*, ср. *по-мысл*, *за-мысл*, *до-мысл* и др.; оно восходит к др.-русск. *съ-мысл-ъ*, родственно с праславянским по происхождению словом *мысль*, корень которого обычно возводится к и.-е. **mūdh-*, ср. чередование: **mēudh-*: *məudh-*: *mūdh-* «иметь в виду; сильно хотеть»; ср. др.-греч. μῦθος «речь», μυθέομαι «говорю, взвешиваю», гот. *maudjan* «напоминать»; литов. *maudžiù*, *maũsti* «sehnlich verlangen», *āpmaudas* «досада, забота».

В последнее время выдвигается другое толкование (В. Н. Топоров): слав. *мысль* восходит к и.-е. корню **men-* «думать; быть пробужденным духовно»; ср. др.-инд. *mánas-* «Sinn», др.-греч. μνῆσις «воспоминание», лат. *mēns* «Sinnesart, Gemüt, Denkvermögen, Vernunft», ср. еще русск. *мнение*, *память*, *мудрый* и некот. др. С семантической точки зрения оба толкования возможны.

---

[13] Совр. русск. *сказать* образовано с помощью префикса *съ-* от праслав. **kazati* «показывать, говорить»; ср. русское судебное выражение *показания свидетелей* и т. п.

[14] Ср. сходное развитие в венгерском языке. Глагол *magyardz* «толковать, объяснять» (в памятниках XIV—XV вв.) образован от племенного названия *magyar* «венгр, венгерский»; первоначальное значение, по всей вероятности, было «переводить на венгерский язык и тем самым быть понятым».

Венг. *jel* «(при)знак». В этом значении слово *jel* засвидетельствовано в памятниках начала XV в.; оно восходит к общефинноугорскому периоду, ср. фин. *jälki* «след, след ноги»; более древнюю форму и значение можно реконструировать предположительно в таком виде: **jälke* «след; пятно».

Венг. *értelem* «разум; интеллект; смысл» представлено в памятниках XIV—XV вв. Существительное образовано от производного глагола *ért* «понимать» также начиная с XIV—XV вв. Глагол *ért* произведен при помощи суффикса *-t* с видовым («Aktionsart») значением моментальности и/или результативности от непроизводного глагола *ér* «достигать, т. е. доходить до какого-либо пространственного или временного предела»; глагол *ér* был заимствован, по всей вероятности, из какого-либо древнетюркского языка, ср. тюркск. *ir-*, уйгур. *är-*, османск. *er-* «достигать»; ср. далее татар. *ireš-* «прибывать»; монг. *ire-*; калм. *ire-* то же.

Предполагают, что исходное значение венгерского производного глагола *ért* было «коснуться чего-либо; дотронуться до чего-либо», как и у других глаголов, произведенных от того же корня [*érdekel* «интересовать», *érez* «ощущать; чувствовать», *érint* (см. выше *megérint*), отсюда, путем абстрагирования, значение «постичь умом»][15].

Однако нам представляется, что и венгерский глагол *ért* передает скорее достижение результата, чем прикосновение предмета, ибо момент достижения несравненно содержательнее и динамичнее момента прикосновения, как это наглядно иллюстрируется и сходным образованием русского глагола *постигать/постичь* [16].

На основе сопоставления коррелятивных (инактуального и актуального) понятий «знак (значить, значение)» и «смысл» в указанных пяти языках рельефно и к тому же издревле выделяется стремление разграничивать их и по форме, и по содержанию [17].

---

[15] См.: «A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára», I, стр. 792.

[16] Примеры из других языков подкрепляют наше предположение, ибо и в них речь идет не о простом прикосновении предмета, а о достижении результата, т. е. овладении предметом путем схватывания и сгущения смысла; ср. лат. *capere* «схватывать, брать» → → *con-cipere* «понять»; франц. *prendre* «брать» → *com-prendre* из лат. *com-prehendere*; нем. *auf-fassen*, *be-greifen*; точно так же и русск. *понять* из др.-русск. */по-/н/ѧти* «схватывать, брать». Ср. интересную работу: F. Fabricius-Kovács, A konkrét-absztrakt jelentésfejlődés problematikája, «Nyelvtudományi értekezések», 61, Budapest, 1968.

[17] Хотя по практическим соображениям или просто в результате буквального перевода нередки случаи смешения этих понятий; ср., например, лат. *sensu stricto* → → «в узком смысле слова», и в венгерском: *a szó szoros értelmében*, хотя, на наш взгляд, здесь уместен был бы перевод «в узком значении слова», ибо речь идет об отдельном слове, а не о смысле цельного высказывания; обычно считают, что фонема выполняет смыслоразличительную функцию. С этим, однако, никак нельзя согласиться, ибо фонема или сочетание фонем актуализирует обычно лишь значение морфемы, а не смысл целого высказывания или высказываний. Дело в том, что до сих пор часто смешивают термины «значение» и «смысл», причем если термин «смысл» как более короткий сочетается со словом «различительный» («смыслоразличительный»), то сочетание термина «значение» со словом «различительный» считается слишком громоздким (ср., однако, венг. *jelentés-megkülönböztető*); ведь в слове *смысл* — один слог, а в слове *зна-че-ни-е* — четыре (но в венгерском языке *ér-te-lem* «смысл» и *je-len-tés* «значение» совпадают по количеству слогов); ср. еще нем. *Sinn* и *Be-deu-tung*, франц. *sens* — один слог, а *si-gni-fi-ca-tion* — пять. В современном английском языке слово *meaning* означает вообще и «значение», и «смысл» и выделить их помогает лишь контекст, но в последней функции выступает и заимствованный термин *sense* (ср., например, *common sense* «здравый смысл» и др.). Ср., однако, следующее высказывание В. Урбана: «Meaning is the first specific problem of a philosophy of language» (W. M. Urban, Language and reality, London — New York, 1951, стр. 42). Если автор имеет здесь в виду смысл, то он прав, а если — значение, то он не прав, если же — то и другое, то получается попросту путаница, неясность, двойственность всего высказывания.

С точки зрения словообразования, в четырех из пяти упомянутых языков слова «значить» и «значение» оказываются производными от слова со значением «знак».

Др.-греч. исходное сущ. ср. р. σῆμα — σήματος→отыменный глагол σημαίνω (уже у Гомера) и сущ. жен. р. σημασία.

Лат. сущ. ср. р. *signum* → словосочетание *signum* + *facio* → *significo* → отглагольное сущ. ж. р. *significatio*; ср. и современные романские языки, например, французский: *signe* — *signifier* — *signification*.

Русск. (слав.) сущ. м. р. *знак* → отыменный глагол *значить* → отглагольное сущ. ср. р. *значение*.

Мы уже отметили, что в немецком языке соответствующие слова «значить» и «значение» образуются не от основы сущ. ср. р. *Zeich-en*, а от другой именной основы: *diut-* → *deut-* → отыменный глагол *be-deuten* → отглагольное сущ. ж. р. *Bedeutung*. Разумеется, по сравнению, например, с русскими *знак* → *значить* → *значение*, в немецком языке в словах *Zeichen* → *bezeichnen* → *Bezeichnung* и *bedeuten* → *Bedeutung* произошло полное разграничение внешней, «обозначающей» и внутренней, «означающей» функции; тот факт, что эти функции тесно связаны друг с другом, виден, с одной стороны, из изоморфизма их структур в немецком языке: *be-zeichnen* и *be-deuten*, *Bezeichn-ung* и *Bedeut-ung*, а, с другой стороны, из их синкретизма в остальных четырех языках, ср., например, др.-греч. σημαίνω «bezeichnen» → «bedeuten», т. е. «обозначать» и «означать».

В связи с этим интересно обратиться к материалу венгерского языка.

Венг. *jel* → наречное образование с помощью *-en* «на»: означает в собственном смысле «на знаке», но употребляется со значением «там; в том месте; налицо; настоящее (актуальное) время» и т. п., а также с предположительным исходным значением «видимо». *Jelen* + каузативный суффикс *-t*: *jelent*, употребляется со значением «значить; означать» в памятниках, начиная с XV в. Отсюда отглагольное существительное *jelentés*. Как видно, венгерский глагол *jel-en-t* дает нам пример так называемой «мудрости языка», ибо он содержит в своем составе отдельную морфему *-en* с указанием на основную функцию глагола «значить», а именно на его актуализирующую функцию. Таким образом, указанный этимон отражает исконный смысл, легший в основу не только семантического содержания, но и грамматического выражения слова. Можно сказать, в определенном смысле, что каждый естественный язык или семья языков вносит свой вклад в дело выявления лежащего в основе языковых универсалий общечеловеческого смысла.

С формальной точки зрения важно еще отметить, что слово «знак» в трех индоевропейских языках, а именно в двух классических: (греч. τὸ σῆμα, лат. *hoc signum*), а также в немецком (*das Zeichen*) относится к среднему роду, в русском же языке — к мужскому роду; необходимо, однако, иметь в виду, что в русском языке имелось гораздо более древнее по форме и по содержанию слово с исходным значением «знак», причем среднего рода: др.-русск. *знамя* ← праслав. **znamę* ← и.-е. **ǵnō-men*; ср. также лат. *co-gnōmen* «прозвище» и литов. *žymẽ* «отметина» и др.

Как известно, средний род —«genus neutrum»— означал в индоевропейском неодушевленность, неолицетворенность, т. е. неактивность. Здесь это равнозначно тому, что слово «знак» в индоевропейской области оформлено как средство; на этот его инструментальный характер указывает совершенно конкретно отсутствие особой агентивной падежной формы, т. е. субъектного падежа, и тем самым наличие лишь «пациентивной» падежной формы, т. е. объектного падежа; в связи с этим ср. еще слово со значением «средство» или «орудие» в указанных индоевропей-

ских языках: др.-греч. τὸ ὄργανον (ср. и τὸ σύμβολον, а также τὸ φάρμακον), лат. *hoc organum, medium, instrumentum*, но и *hoc experimentum, remedium, medicāmen*; нем. *das Mittel, das Gerät, das Werkzeug*; русск. (*это*) *средство, орудие, оружие*, но и (*это*) *лекарство* и т. п.; причем эти слова часто употребляются во множественном числе, что еще больше стирает их индивидуальный характер.

В противоположность опосредованному, инструментальному, неактивному, пассивному, по нашей терминологии — инактуальному характеру слов со значением «знак», слова со значением «смысл» имеют непосредственный, связный, целевой, активный, творческий или, по нашей терминологии, актуальный характер; это подкрепляется формально тем, что слова со значением «смысл» во всех четырех рассмотренных индоевропейских языках относятся к мужскому роду: ὁ λόγος, *hic sensus, der Sinn, этот смысл*, т. е. в индоевропейском они выступают с четким и последовательным разграничением агентивной падежной формы (субъекта) от пациентивной падежной формы (объекта), причем во всех языках слова со значением «смысл»— singularia tantum.

III. В заключение необходимо отметить следующее. С точки зрения этимологического происхождения и семантического содержания во всех пяти исследованных языках в основе значения слова «знак» лежат следующие понятия: греч. σῆμα ← и. -е. **dhi̯ā-* «то, что видимо и распознаваемо», лат. *signum* ←и.-е. **sek-* «то, что зарублено и тем самым видимо и распознаваемо», нем. *Zeichen* ←и.-е **doiĝ-* «то, что показываемо и тем самым видимо, распознаваемо», русск. *знак*← и.-е. **ĝnō-* «то, что узнаваемо, распознаваемо», венг. *jel* ← **jālke* «то, что бросается в глаза, видимо, распознаваемо (конкретно: след ноги, пятно)». Обобщая эти значения, можно выделить следующее основное значение слов, передающих понятие «знак»: то отдельное, что уже вычленено в процессе общественной практики, то, что человек может воспринимать — прежде всего своим простым, пространственным зрением — как отличное, уже не сливающееся с фоном окружающей среды [18], другими словами, уже осознанное, уже «актуализованное актуальное», т. е. инактуальное; то, что уже создано и обозначено, конкретно оформлено и занимает свое место в синхронной фонетической и лексико-грамматической системе инактуального языка; то, что используется как средство для актуализации все новых и новых знаний. Именно такое актуализованно-актуализующее знаковое условие и составляет ведущий принцип инактуального языка.

В противоположность этому, с точки зрения этимологического происхождения и знакового содержания, в основе значения слова «смысл» лежат следующие понятия: греч. λόγος ← и.-е. **loĝ-* «то, что мысленно собрано, разумно связано и высказано», лат. *sensus* ←и.-е. **sent-* «то, что отражено объектом и воспринято; то, на что реагировал разумный субъект (человек)», нем. *Sinn* ← и.-е. **sent-* то же, русск. *смысл* ← *съ-мыслъ-* ← и.-е.**sm-mūd-* «то, что мысленно, разумно взаимосвязано», венг. *értelem* ← *ĕr-t-* «то, что постижимо разумом, интеллектом». Все эти значения можно обобщить следующим образом: «то целое (singularia tantum), что отражено объектом в мозгу субъекта и им самим собрано, упорядочено, разумно взаимосвязано, высказано с помощью средств инактуального языка (в частности, интонации, или, соответственно, пунктуации) и тем самым направлено на других членов коллектива с целью дать и получить актуальные, т. е. все более глубокие и широкие сведения относительно окружающего мира и самого себя, и с тем, чтобы обеспечить временну́ю открытость и последовательность развития чело-

[18] Ср. лат. *existo, -ere* «существовать» ← *ex-sistere* «торчком стоять».

веческого мышления, то, что дало возможность сложиться инактуальному языку, и что заставляет его непрерывно совершенствоваться как средство. Именно смысл составляет ведущий принцип актуального языка[19].

Смысл представляет собой высшую, универсальную, все связывающую и, в сущности, все определяющую категорию языка как целого.

Все знаковое многообразие, вся знаковая вариантность языков мира градуирована в виде огромной шкалы, по обеим концам которой находятся, с одной стороны, знак и смысл, т. е. исходная универсальная языковая субстанция, выступающая как средство, а, с другой стороны, исходная универсальная языковая функция, выступающая как цель. Короче, мы имеем здесь дело с различием между инактуальным и актуальным языками, представляющими соответственно «фундамент» и «вершину» языка как целого.

Наконец, не подлежит сомнению, что для полной реализации языка как целого необходимы оба конституирующих его компонента, т. е. инактуальный язык как формальное средство для актуализации и актуальный язык, т. е. сам целенаправленный процесс актуализации связи субъекта с объектом. Не подлежит сомнению и то, что в процессе реализации языка как целого ведущими факторами являются или должны являться в нормальных условиях именно актуализующий-актуализуемый (субъектом) объект и актуализуемый (объектом)-актуализующий субъект[20]. Ограничивать область языкознания исследованием одного инактуального языка, отмежевывать его от связи с конституирующими язык как целое «экстралингвистическими» факторами, в частности, от категории смысла, означало бы лишить языкознание связи с живой, творческой реальностью, с живой творческой деятельностью субъекта, это означало бы лишить языкознание связи со всеми другими науками, с генезисом и развитием которых оно неразрывно связано. Это означало бы лишить языкознание того почетного места, которого оно по праву заслуживает в системе наук о человеке.

---

[19] Необходимо подчеркнуть, что мы вполне сознаем огромную роль и значение инактуального языка в истории человечества, но только и единственно как средство.

[20] В этом смысле оказывается несостоятельной гипотеза Гумбольдта, Вейсгербера, Сепира — Уорфа о том, что язык якобы навязывает говорящим свое «видение» мира, свою метафизику. Это верно лишь постольку, поскольку инактуальный язык, о котором идет речь, представляет один из обоих конститутивных компонентов языка как целого. Инактуальный, т. е. второстепенный компонент языка может доминировать над актуальным только в случае волевой и интеллектуальной инерции субъекта или какого-либо другого ненормального, патологического состояния. Кроме указанной выше статьи автора «Langue „actuelle" et langue „inactuelle"», см.: А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, К вопросу о нарушении высказывания при локальных поражениях мозга, «Докл. и сообщ. советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов». Бухарест, 1967; L. Irigaray, Négation et transformation négative dans le langage des schizophrènes, «Langage», 5, 1967; K. Goldstein, Bemerkungen zum Problem «Sprechen und Denken» auf Grund hirnpathologischer Erfahrungen, «Acta psychologica». X, Amsterdam, 1954.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

О. И. МОСКАЛЬСКАЯ

ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИНТАКСИСЕ

Одним из наиболее сложных вопросов теории моделирования предложений является вопрос о семантической интерпретации моделей предложения. Известны как многочисленные попытки семантического обоснования моделей предложения [1], пришедшие на смену чисто структурной классификации моделей предложения дескриптивистов [2], так и серьезная критика этих попыток [3] и призывы отказаться от семантической интерпретации моделей предложения.

Главным аргументом, выдвигаемым обычно против семантического моделирования, является то, что семантическая интерпретация структурных моделей слишком часто оказывается в противоречии со значением реального предложения, построенного по соответствующей структурной схеме. Так, Г. Хельбиг иллюстрирует отсутствие параллелизма между структурой реальной ситуации, т. е. того, что должна, казалось бы, выражать семантическая модель, или «логико-грамматический тип» предложения, и структурной схемой предложения примерами нем. *Er erleidet eine Krankheit* и *Der Vater handelt*. Первое из них относится, по семантической классификации Г. Бринкмана и по классификации, принятой в функциональной грамматике, к типу акциональных предложений (Handlungssatz), так как структурирующий его глагол является двухместным и управляет дополнением в винительном падеже, но с точки зрения реальной ситуации отнюдь не выражает действия. Второе же предложение относится, по той же классификации, к процессуальным предложениям (Vorgangssatz) вследствие того, что структурирующий его глагол является одноместным и исключает возможность дополнения. Вместе с тем, именно оно обозначает с точки зрения реальной ситуации

---

[1] Наибольшей известностью пользуются: классификация В. Г. Адмони, различающего 12 логико-грамматических типов предложения; 4 основных модели предложения Г. Бринкмана, подразделяемые далее автором на множество подклассов на основе семантической группировки глаголов; 9 понятийных схем предложения Г. Глинца; классификация В. Шмидта и других представителей функциональной грамматики. Все больше внимания в последних изданиях своих работ уделяет вопросам семантической классификации предложений и И. Эрбен. См.: W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, 3. Aufl., М.— Л., 1972, стр. 233 и сл.; H. Brinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1962, стр. 523 и сл.; H. Glinz, Der deutsche Satz. Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich gefaßt und dichterisch gedeutet, 4. Aufl., Düsseldorf, 1965, стр. 163; W. Schmidt, Grundfragen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funktionale Sprachlehre, Berlin, 1965, стр. 296 и сл.; J. Erben, Deutsche Grammatik. Ein Leitfaden, Frankfurt-am-Main, 1968, стр. 119 и сл.; его же, Deutsche Grammatik. Ein Abriß, 11. Aufl., München, 1972, стр. 257 и сл.

[2] Ср.: Ch. Fries, The structure of English, London, 1952, стр. 75 и сл.; Ch. Hockett, A course in modern linguistics, New York, 1952, стр. 204; A. S. Hornby, A guide to patterns and usage of English, London, 1954; P. Roberts, English sentences, New York — Chicago, 1961, и др.

[3] G. Helbig, Zur Theorie der Satzmodelle, «Biuletyn fonograficzny», XI, 1971.

действие [4]. Такое же несоответствие структуры и семантики существует между русск. *Он действует* и *Он испытывает боль*; *Он испытывает боль* и *Он испытывает прибор*.

В подтверждение того, что между структурными и семантическими (или логико-грамматическими, по терминологии В. Г. Адмони) типами предложений отсутствует параллелизм, можно привести и другие, достаточно, кстати, распространенные примеры, когда один и тот же реальный факт, и, соответственно, одно и то же семантическое отношение могут быть выражены предложениями, диаметрально противоположными по своей структуре,— именными и глагольными, двусоставными и односоставными. Например: *Он пьет — Он пьяница*; *Брат учится — Брат учащийся*; *Он умен — Он умный человек*; *Он чувствует озноб — У него озноб — Его знобит* и т. п.

Приводившиеся выше аргументы свидетельствуют, однако, не о невозможности или нецелесообразности моделирования семантики предложения, а лишь о неразработанности вопросов, связанных с методами и критериями семантического моделирования.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что главным недостатком и главной причиной неудач тех опытов семантического моделирования, которые подвергаются критике в исследованиях последних лет, является то, что во всех соответствующих случаях моделирование производилось на уровне поверхностных структур, в то время как синтаксическая семантика по существу своему должна иметь дело с глубинным синтаксисом. Именно тем, что все семантические классификации производились на основе поверхностных структур, объясняется невозможность согласовать с попытками синтезирования структурного и семантического моделирования предложений ни многочисленные, широко известные факты омонимии поверхностных структур, ни регулярные явления синонимии типа приводившихся выше.

Единицей семантического моделирования должна стать не структурная схема предложения, т. е. поверхностная структура, как это имело место в цитированных выше работах, а структура смысла предложения или семантическая модель предложения, так как лишь она является единицей, гомогенной самому понятию семантики.

Структура смысла предложения не дана, как известно, в непосредственном наблюдении. Она воплощается в поверхностной структуре предложения или же, значительно чаще, в нескольких синонимичных поверхностных структурах предложения.

Поверхностная структура предложения представляет собой, таким образом, форму формы, так как структура смысла предложения (это и есть в нашем понимании глубинная структура) сама есть форма, в которую облекается мысль на известном этапе кодирования ее средствами речи. Семантическая модель предложения — это тот или иной стереотип структурирования смысла предложения, посредством которого внутренняя речь переводится в высказывание.

Неоднократно высказывавшееся положение о том, что объектом, на который ориентирована семантическая модель предложения, является

---

[4] G. Helbig, указ. соч., стр. 62. Ср. также: P. Hartmann, Einige interessante Züge in natürlichen Sprachvorkommen, «Studium generale», 7, 1966. Видимо, из этих же соображений Г. Бринкман во втором издании своей грамматики отказался от деления глагольных предложений на акциональные и процессуальные (Handlungssatz и Vorgangssatz), заменив его более формальным делением по количеству синтаксических позиций замещения, открываемых глаголом (H. Brinkmann, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, 2. Aufl., Düsseldorf, 1971, стр. 525).

объективная действительность,— типичные отношения, факты, процессы объективной действительности,— представляется безусловно правильным. Однако формулировки, в которых дается это положение в собственно лингвистических исследованиях, т. е. предполагаемая модель мыслительно-речевой деятельности оказывается весьма упрощенной. Два крайние звена этого сложного и многоступенчатого процесса: стимул для мыслительно-речевой деятельности, исходящий от объективной реальности, и поверхностная структура предложения, т. е. конечный продукт мыслительно-речевой деятельности, представляются как связанные непосредственно, прямой и жесткой связью.

Продуктом ее является отождествление языковой структуры и смысловой структуры предложения [5], а в работах по генеративной семантике последних лет отождествление языковой структуры и структуры ситуации, создание так называемой грамматики ситуаций [6]. Соблазн раскрыть наиболее сокровенные речемыслительные процессы приводит иногда и советских исследователей, отправляющихся, естественно, от совершенно иных философских позиций, также к установлению непосредственной связи между формальной структурой предложения и структурной ситуации и к постулированию одно-однозначного выражения ее в мышлении и языке, хотя бы только в генетическом плане [7].

Отношения между действительностью, мышлением и языком намного сложнее, чем это часто представляется языковедам, и вряд ли могут быть раскрыты в настоящее время достаточно полно. Одним из моментов, определяющих сложность этого вопроса, является необходимость учитывать многообразие форм внутренней речи — от наиболее развернутой, когда

---

[5] Из называвшихся выше грамматических описаний, включающих семантическое моделирование, наиболее ярко это проявляется в словах В. Г. Адмони: «Не только лексическое значение и обобщенное содержание отдельных слов, словоформ и частей речи отражают реальный мир, реальную действительность, но и грамматическая структура предложения как целостной единицы, форма подлежащего и сказуемого в их взаимосвязи. Поэтому мы называем соответствующие типы предложений, отражающие закрепленные в человеческом сознании отношения объективного мира, логико-грамматическими типами предложений» (W. Admoni, указ. соч., стр. 299). Принимая тезис о том, что «определенные отношения действительности, отражаемые нашим сознанием, регулярно передаются совершенно определенными типами предложений», В. Шмидт, который не пользуется еще в цитируемой книге понятием глубинной структуры, здесь же, однако, справедливо замечает: «Тем не менее мы не можем согласиться с отождествлением мыслительных структур (Denkstrukturen) и структуры предложения, так как это противоречило бы нашему основному пониманию отношения языка и мышления как двух неразрывно связанных, но тем не менее различных общественных явлений, каждое из которых имеет свою специфику» (W. Schmidt, указ. соч., стр. 284).

[6] Связь между отождествлением языковых структур с ситуациями реального мира в современной зарубежной генеративной грамматике с неопозитивизмом, берущим свое начало в лингвистической философии Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, Н. Нейрата и др., раскрывает Ф. П. Филин: «С гносеологической точки зрения магия языка коренится в преувеличенном, одностороннем представлении об абсолютном знаке как о чем-то абсолютном, первичном... Мыслительное содержание нашего познания приравнивается к самому бытию. Эти модные идеи (на самом деле они так же стары, как идеализм) широко представлены в разных семиотических направлениях» (Ф. П. Филин, О некоторых философских вопросах языкознания, «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» М., 1970, стр. 12).

[7] На это указывает В. Г. Гак, цитируя «Общее языкознание» (М., 1970, стр. 57): «Все типы предложений, по крайней мере в их генезисе, представляли языковые модели конкретных ситуаций». Однако, критикуя такое решение вопроса об отношении между действительностью, мышлением и языком, В. Г. Гак практически и сам склоняется к тому же взгляду, различая прямые и косвенные номинации, из которых первые «гомоморфно отражают действительность», и лишь косвенные номинации не обладают такими свойствами, допуская, например, изменение актантной структуры предложения (В. Г. Гак, К проблеме соотношения языка и действительности, ВЯ, 1972, 5, стр. 21).

внутренняя речь отличается от внешне выраженной речи только лишь тем, что она произносится «про себя» [8], до максимально сокращенных и конденсированных форм внутренней речи [9], к которым, по выражению В. Н. Мороза, отнюдь не применима поговорка «что на уме, то и на языке» [10]. Другой фактор, определяющий сложность этой проблемы, заключается в том, что предметы и явления реальной действительности в их бесконечных связях и отношениях отнюдь не пассивно отражаются сознанием человека, а преобразуются им — рассматриваются под каким-то определенным углом зрения, в каком-то определенном отношении, в какой-то определенной связи. В процессе преобразования внутренней речи во внешнюю происходит дальнейшее уточнение угла зрения и редуцирование высказываемого объема понятийного содержания, обусловленное ситуацией общения, «фоновым» знанием, коммуникативной интенцией [11]. Вследствие этого разные в структурном и лексическом отношении предложения, например, *Лесорубы работают* и *Лесорубы рубят деревья* (1 и 2-й логико-грамматические типы В. Г. Адмони) могут в зависимости от «угла зрения» говорящего служить высказываниями об одной и той же внеязыковой действительности. Смысловая структура этих предложений или, иными словами, семантическая модель каждого из них будет определяться таким образом: 1) наличием в реальной действительности известного факта, отношения, 2) переработкой его и отбором модели кодирования со стороны говорящего в ходе мыслительно-речевого процесса в соответствии с «углом зрения», «ситуацией общения», «фоновым» знанием, коммуникативной интенцией.

Отсутствие прямого соответствия между смысловой структурой (или глубинной структурой) предложения и его поверхностной структурой заставляет отказаться от весьма заманчивого и простого способа верификации семантического моделирования, заключающегося в опоре на формальную (поверхностную) структуру предложения. Отказавшись от отождествления семантической модели и структурной модели предложения, уже нельзя сказать вместе с В. Г. Адмони: «Из классификации становится ясно, что критерий при разграничении логико-грамматических типов предложения формальный. Где нет различий в структуре предложения, там не может быть и речи о какой-либо их грамматической дифференциации» [12]. В противовес приведенному выше высказыванию нам придется считаться с возможностью омонимии структурных схем (моделей) предложения с точки зрения семантики, т. е. именно с наличием различных семантических моделей (типов) предложений при отсутствии различных структур; с другой же стороны, с возможностью выражения одной семантической модели предложения несколькими различными формальными (поверхностными) структурами.

Современные семантические школы выдвинули два основных круга понятий, существенных для семантической интерпретации синтаксических структур. Прежде всего — это понятия лексических разрядов слов и семантических маркеров, отражающих релевантные для смысловой интерпретации многозначной фразы дифференциальные признаки лексического значения слова, например, «конкретный предмет — абстрактный предмет», «одушевленный предмет — неодушевленный предмет» и т. п., предпола-

---

[8] См.: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 65.

[9] А. Н. Соколов, Внутренняя речь и мышление, М., 1968, стр. 101.

[10] В. Н. Мороз, Об оборотных и полуоборотных высказываниях, Ташкент 1971, стр. 9.

[11] «Общее языкознание», М., 1970, стр. 338 и сл.

[12] W. Admoni, указ. соч., стр. 243.

гающие учет лексической дистрибуции и взаимодействия между значением слова и синтаксической структурой [13].

Возникшие на базе классической генеративной грамматики как первый шаг к сближению генеративной грамматики и семантики, они не потеряли своего значения и с выдвижением новой отрасли синтаксиса — синтаксической семантики и так называемой генеративной семантики. Ведь семантическая интерпретация таких пар предложений, как *Он испытывает боль* (детерминат — состояние) и *Он испытывает прибор* (агенс — действие — пациенс) возможна только при учете лексической дистрибуции сочетающихся в предложении слов, т. е. практически семантических маркеров.

В то же время, давая интерпретацию предложений, построенных по единой структурной схеме, но имеющих различную смысловую структуру, мы не можем обойтись без второго круга понятий, существовавших в эмпирии уже давно [14], но ныне разрабатываемых в связи с понятием глубинного синтаксиса представителями генеративной семантики [15]. Речь идет о таких семантико-синтаксических (или понятийных) категориях, как агентивность, аффицированность, адресатность, орудийность и мн. др. Именно в терминах этих категорий может быть описана семантическая структура как предложения, так и словосочетания, т. е. тот или иной пропозиционный концепт.

Третьим источником раскрытия семантики предложения является все более настойчивое обращение современного языкознания к понятиям предикатной логики и выработанной ею классификации суждений. Если такие семантико-синтаксические категории, как агентивность, аффицированность, адресатность, орудийность и др., применимы в первую очередь для анализа пропозиционного концепта предложения и одинаково проявляются в предложениях *Доктор приехал*, *Рабочие строят дом* и в словосочетаниях *Приезд доктора*, *Строительство дома рабочими*, то понятия предикатной логики, например, функция и аргументы, детерминация и реляциональные отношения и др., будучи выработаны на основе анализа суждения, находят все большее применение при семантическом анализе предложения [16]. Они особенно приложимы к моделям предложения при изучении соотношения между синтаксической структурой и значением.

---

[13] J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, «Language», 39, 1963; J. J. Katz, P. Postal, An integrated theory of syntactic description, Cambridge (Mass.), 1964.

[14] Имеются в виду теория падежей и отчасти теория залогов.

[15] Ch. Fillmore, The case for case, «Universals in linguistic theory», New York, 1968; его же, Types of lexical information. Semantics, «An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology», ed. by D. D. Steinberg and L. A. Jakobovits, Cambridge, 1971; G. Lakoff, Instrumental adverbs and the concept of deep structure, «Foundations of language», 4, 1968; J. D. Mc Cawley, The role of semantics in a grammar, «Universals...»; его же, Concerning the base components of a transformational grammar, «Foundations...», 4, 1968; W. L. Chafe, Meaning and the structure of language, Chicago — London, 1970; H. E. Brekle, Generative Satzsemantik und transformationelle Syntax im System der englischen Nominalkomposition, München, 1970, и др.

[16] См., например: F. Schmidt, Logik der Syntax, Berlin, 1962; его же, Symbolische Syntax, Halle (Saale), 1970; O. Næs, Versuch einer allgemeinen Syntax der Aussage, «Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik» hrsg. von H. Moser, Darmstadt, 1965; E. Albrecht, Sprache und Erkenntnis, Logisch-linguistische Untersuchungen, Berlin, 1967; G. Klaus, Moderne Logik, Berlin, 1964; W. Segeth, Elementare Logik, Berlin, 1966; Ch. Serrus, Le parallélisme logico-grammatical, Paris, 1933; R. Carnap, Logische Syntax der Sprache, Wien, 1934; W. V. Quine, Methods of logic, London, 1952; его же, From a logical point of view, New York, 1961; G. Ryle, The concept of mind, London, 1949; С. К. Шаумян, Генотипический язык и формальная семантика, «Проблемы структурной лингвистики 1971», М., 1972.

С идущим из логики делением предложений на детерминирующие и реляциональные[17], основанном на классификации суждений на атрибутивные суждения и суждения отношения[18], записываемые формулами $P(x)$ и xRy или $R(xy)$, конкурирует эмпирическая классификация предложений генеративными семантиками по характеру предиката на статальные, процессуальные и акциональные (state, process и action, в терминологии В. Чейфа)[19]. Как видно из примеров, приводимых представителями логического синтаксиса[20], деление предложений на детерминирующие и реляциональные не совпадает с основным разграничением предложений по структурному признаку на именные и глагольные. Напротив, В. Чейф относит к статальным предложениям именные предложения, например, англ. *The wood is dry*; *The elephant is dead*; *It's hot*, глагольные же предложения делит на процессуальные, например, англ. *The wood dried*; *The men laughed*; *She died*; *It's raining* и акциональные, например, англ. *She sang*; *Harriet broke the dish*. «Природа глагола,— пишет Чейф,— определяет характер остального состава предложения, так как она определяет, какие имена будут сопровождать глагол, каковы будут отношения этих имен к глаголу и какова будет семантическая типология этих имен. Так, предположим, что глагол по своей природе обозначает действие (action) как, например, в предложении *The men laughed*. Такой глагол предопределяет сочетание с именем, а также то, что имя будет являться по отношению к нему агенсом, что оно будет относиться к разряду одушевленных, и, возможно, антропонимов»[21].

Характерным для семантического моделирования является, однако, то, что логический анализ не ограничивается определением типологии предиката, а включает, кроме этого, анализ того отношения между предикатом и всеми актантами (или, по терминологии предикатной логики, аргументами), которое, собственно, и конституирует предложение. Дела не меняет характер записи этого отношения R. Она может быть словесной[22] или же производиться в терминах символической логики[23]. Что же касается самой классификации этих отношений, то имеющиеся опыты анализа в значительной мере повторяют, как уже указывалось, понятия, выработавшиеся в теории падежей и в теории залогов. Так, Т. П. Ломтев выделяет следующие виды отношений или «функций предмета» и обозначает их следующим образом[24]: a_1 — функция производителя действия (*Птица поет*); a_2 — функция производителя действия с наличием специального момента независимости действия от воли производителя действия (*Ему не спится*); a_3 — функция объекта прямого воздействия (*Он писал письмо*); a_4 — функция объекта косвенного воздействия (*Они аплодировали артисту*); a_5 — функция орудия или средства воздействия на другой предмет (*Он писал письмо карандашом*); a_6 — функция места двухмерного про-

---

[17] Ср.: F. Schmidt, Symbolische Syntax..., стр. 24; Г. В. Колшанский, Логика и структура языка, М., 1965, стр. 145; O. Næs, указ. соч., стр. 283 и сл.

[18] В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 98 и сл.

[19] W. Chafe, указ. соч., стр. 98 и сл.

[20] Ср. примеры Ф. Шмидта (F. Schmidt, Symbolische Syntax..., стр. 24). К первому типу Шмидт относит предложения *Bagdad ist eine Großstadt*; *Babylon feierte*; *Der Phonix war ein Vogel*; ко второму типу — *Die Babylonier zerstörten Ninive*; *Im Dreieck ist die Summe zweier Seiten größer als die dritte*.

[21] W. Chafe, указ. соч., стр. 97

[22] Ср. цитированные работы В. Чейфа, Ч. Филлмора.

[23] См., например, цитированные выше работы Ф. Шмидта, Г. Брекле, О. Неса. См. также: Т. П. Ломтев, Описание структуры предложения на основе его функционального представления, «Slavia», 3, 1965; M. Bierwisch, F. Kiefer, Remarks on difinitions in natural languages, «Studies in syntax and semantics», ed. by F. Kiefer, Dordrecht, 1969.

[24] Т. П. Ломтев, указ. соч.

странства (*Он поехал в Ленинград*); a_7 — функция места трехмерного пространства (*Он вошел в комнату*).

Отношения агенса, пациенса, инструмента действия выделяются всеми исследователями. Ч. Филлмор предлагает следующий перечень функций аргументов предиката [25]: *A* — агентив, *C* — контрагентив, вопреки которому совершается действие, *O* — объектив, *R* — результатив, *I* — инструмент; *S* — источник (source, например, «знание» при англ. *teach* и *learn*); *E* — реципиент (expiriencer, в первоначальной классификации «датив»). Кроме этих функций, Филлмор указывает на локальные и темпоральные уточнители, необходимые при глаголах движения, местонахождения, длительности действия и т. п.

Сходна, хотя и не совпадает с приведенной выше, и классификация отношений, предлагаемая Чейфом [26]. Как видно из приведенных перечней, они не полны, не совпадают во многих деталях и нуждаются в дальнейшем уточнении.

Как сложно переплетаются структурные и семантические модели предложений, видно на примере двусоставных глагольных предложений, отличающихся обилием структурных моделей.

Так, структура $N_1 — Vf$ объединяет в себе предложения *Он спит* и *Он косит*, из которых первое является статальным, а второе собственно детерминирующим. Детерминирующими являются и трехкомпонентные предложения *Он испытывает голод* = *Он голоден*, нем. *Sie hat rotes Haar* = = *Sie ist rothaarig*, построенные по модели $N_1 — Vf — N_4$, в отличие от нем. *Er hat eine Schwester*; *Das Zimmer hat drei Fenster*, выражающих адресатно или локально детерминированную бытийность. Те и другие отличаются от построенного по той же модели $N_1 — Vf — N_4$ акционального агентивно-объектного предложения *Он приобрел собаку*. Но и это предложение отличается от предложения *Вопрос приобрел актуальность* (= *стал актуальным*), где переходность и вместе с ней акциональность сведены на нет переносным употреблением того же глагола.

Из предложений, построенных по модели $N_1 — Vf — N_4$, т. е. той модели, которая дает классические формы агентивно-объектных акциональных предложений типа *Рабочие строят дом*, смыкаются с двусоставными именными предложениями, в данном случае с реляциональными классифицирующими предложениями, такие предложения, как *Каждое выступление ансамбля означает новый триумф* (= *является новым триумфом*); *Продукция этого завода составляет важный предмет нашего экспорта* (= *является важным предметом нашего экспорта*).

Таким образом, среди двухкомпонентных глагольных предложений, построенных по модели $N_1 — Vf$, наряду со статальными и процессуальными, можно найти и собственно детерминирующие. Ср. *Он спит*; *Он действует*; *Он косит/ хромает/ пьет*. Подлежащее их является агенсом в акциональных предложениях, детерминатом в статальных и детерминирующих. Их формула всегда $P(x)$, которая может быть детализирована как 1) $P(x)$, 2) $P_{stat}(x)$, 3) $P_{proz}(x)$. К процессуальным предложениям относятся и предложения, построенные по модели $N_1 — Vf_{pass}$, например, *Был выслан дозор*. При общей формуле $P_{proz}(x)$ подлежащее его — пациенс; таким образом, в третьем подвиде следует различать: $P_{proz}(x_{ag})$ и $P_{proz}(x_{pat})$.

Точно так же среди трехкомпонентных предложений, построенных по модели $N_1 — Vf — N_4$, наряду с типичными для этой модели агентивно-

---

[25] Ch. Fillmore, Types of lexical information...
[26] W. Chafe, указ. соч.

объектными акциональными предложениями, выше приводились предложения процессуальные, адресатно-бытийные, а также перекликающиеся с именными детерминирующие и классифицирующие. Ср. *Он приобрел собаку*; *Вопрос приобрел актуальность*; *Он испытывает голод*; *Каждое выступление ансамбля означает новый триумф*. Соответственно они могут быть записаны как: 1) $R\ (x_{ag},\ y_{pat})$, 2) $P_{proz}\ (x)$; 3) $P\ (x)$, 4) $x \in K$.

Не вполне ясен вопрос о двусоставных глагольных предложениях, в структурную схему которых в качестве третьего обязательного компонента входит не объектный, а обстоятельственный компонент, например, *Он живет в Киеве*; *Мать пошла делать покупки*. Трактовка этих предложений зависит от того, насколько широко понимается аргумент [27]. Согласно О. Несу, аргументами в глагольном предложении считаются не только все собственно предметы, но также локальные определители, темпоральные определители (не только эксплицитные, но и имплицитно присутствующие во временной форме глагола), а также указания на инструмент, образ действия и т. д. [28]. С логической точки зрения, вопрос заключается в том, можно ли считать, что в подобных предложениях предикат устанавливает отношение между агенсом и обстоятельством места, образа действия, цели, т. е. имеет ли здесь место формула xRy, где y = loc., mod., fin., или же предикат и обстоятельственный компонент вместе детерминируют аргумент x, т. е. $P_{\cdot loc}\ (x)$, $P_{\cdot mod}\ (x)$, $P_{\cdot fin}\ (x)$. В данной статье подобные предложения рассматриваются как процессуально-обстоятельственные детерминирующие предложения, т. е. в соответствии с последней формулой.

Однако среди предложений с третьим обстоятельственным компонентом следует выделить в отдельный семантический тип предложения с глаголом *быть* (*Была однажды девочка*) и более специальными глаголами *лежать*, *стоять*, *висеть*, *находиться* (*На поле лежит снег*; *На стене висит картина* и т. п.). Это бытийные предложения, какие встречаются и среди других структурных типов моделей предложения.

Собственно реляциональными среди двусоставных глагольных предложений являются трех- и четырехкомпонентные модели с одним или двумя объектными членами в правой части модели. Наибольшее внимание исследователей привлекают к себе уже упоминавшиеся выше предложения, построенные по модели $N_1 - Vf - N_4$. Формула xRy реализуется здесь весьма часто как отношение между агенсом и объектом-пациенсом (*Лесорубы рубят деревья*; *Он читает роман/пишет статью*). Г. Бринкман указывает на трансформабельность их в двусоставные пассивные предложения как на критерий подлинной переходности действия. Однако сходные агентивно-объектные отношения могут передаваться и другими структурными типами предложений, которым не свойственна трансформабельность в двусоставную пассивную конструкцию, например, предложениями, имеющими в правой части структурной схемы компонент $N_{2...}$ или $pN_{2...}$ с объектным значением (*Грабители завладели кладом*; *Я долго стучал в дверь*).

Наличие в структурной схеме компонента N_3 обычно связывается с отношением адресованности действия лицу, если N_3 — антропоним

---

[27] Так, Т. П. Ломтев, широко используя понятия предикатной логики, ограничивается теми случаями, когда в качестве аргументов выступают имена — названия предметов, и не рассматривает вопрос об обстоятельствах (см.: Т. П. Ломтев, Принцип отражения и его значение для теоретической грамматики, «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 277; ср. также: С. К. Шаумян, указ. соч.).

[28] O. Næs, указ. соч., стр. 303 и сл.

(*Он кивнул приятелю*; *Вы мне помогли*), или ориентированности действия на какой-либо конкретный или отвлеченный предмет (*Я доверился Вашему совету*), т. е. $R\ (x_{ag}\ y_{adr})$.

В четырехкомпонентной модели акционального предложения выражаются сходные с описанными выше отношения между тремя аргументами. Это могут быть: а) агентивно-объектно-адресатные предложения, имеющие структуру $N_1 — Vf — N_3 — N_4$, или сходные по значению с компонентом N_4 компоненты N_2... pN_2... (*Автор посвятил книгу своей жене*; *Ученый рассказал слушателям о своих новых исследованиях*); б) агентивно-двухобъектные предложения (*Мы сравнили старый договор с новыми обязательствами*); в) агентивно-адресатно-орудийные предложения (*Он угрожал противнику пистолетом*). Соответственно эти отношения могут быть записаны как $R\ (x_{ag}\ y_{pat}\ z_{adr})$, $R\ (x_{ag}\ y_{pat}\ z_{pat})$. $R\ (x_{ag}\ y_{adr}\ z_{instr})$.

В то же время понятие акциональности далеко не исчерпывает проблемы типологии реляциональных предложений. Оно наиболее приложимо к предложениям, имеющим в качестве сказуемого глагол, выражающий конкретное действие и употребленный в прямом значении. Повторяя формально те же структуры, предложения *Он принял это известие трагически*; *Он пользуется доверием товарищей* не могут быть отождествлены по характеру отношения между аргументами с предложениями, где данные структуры передают конкретные агентивно-объектные отношения, например, *Он принял подарок радостно*; *Он пользуется вечным пером*. Речь может скорее идти об абстрактной реляциональной семантической модели, где характер отношения между аргументами относится к сфере идеального (взаимоотношения между людьми, отношение субъекта к реальному или идеальному объекту). Соответственно и отношение R может быть дифференцировано для предложений *Он пользуется вечным пером* и *Он пользуется доверием товарищей* как 1) $R_{akt}\ (x_{ag}\ y_{pat})$ 2) $R_{abstr}\ (x_{ag}\ y_{pat})$.

Особую группу среди предложений, построенных по модели $N_1 — Vf — N_4$, образуют в семантическом отношении такие предложения, где Vf — глагол чувственного восприятия, например, *Я слышу звонок*, *Он меня узнал*. Здесь отношение между аргументами может быть охарактеризовано как отношение восприятия (рецепции), а сами аргументы как реципиент и объект рецепции (но не объект — пациенс). Аналогично при глаголах мысли (*Я забыл правило*; *Я думаю о нашем разговоре*).

О том, что ни в предложениях абстрактно-реляционального типа, ни в предложениях рецепции нет значения подлинной акциональности, свидетельствует не только то, что большинство из них характеризуется нетрансформабельностью в пассивную конструкцию, но и прежде всего то, что отношения между аргументами в этих предложениях несводимы к агентивно-объектным. В одних случаях это выражается в конверсивности аргументов в рамках действительного залога, что говорит об их равноправии: *Он пользуется доверием товарищей* → *Товарищи доверяют ему*. Чаще же в синонимии типа: *Ему вспомнилось детство* = *Он вспомнил детство*: *Мне снился сон* = *Я видел сон* и т. п. Отвлечение от различной поверхностной структуры сравниваемых синонимичных пар предложений позволяет утверждать их тождественность в семантическом плане: во всех парах одушевленное лицо (обычно антропоним) выступает как реципиент чувственного образа или идеального раздражителя (впечатления, мысли), т. е фактически как смысловой субъект, характеризуемый с точки зрения его активности/инактивности как деми-пациенс, второй же актант — как предмет чувственного восприятия или мысли — посыльтель раздражения или деми-агенс. В символах отношения между аргументами в предложениях *Ему вспомнилось детство* = *Он вспомнил детство* могут быть переданы как 1) $R_{rez}\ (x_{demi\text{-}pat}\ y_{demi\text{-}ag})$, 2) $R_{rez}\ (x_{demi\text{-}ag}\ y_{demi\text{-}pat})$.

Отношения деми-агенс — пациенс характеризуют недвусоставные глагольные предложения типа *Старика убило громом*; *Рекой унесло лодку* [29].

Все трех- или четырехкомпонентные модели со сказуемым $Vf_{разн}$, имеющие два и более аргументов, являются реляциональными предложениями. В отличие от предложений со сказуемым Vf, они имеют не акциональную, а процессуальную семантику, поскольку подлежащее их — пациенс. Они распадаются на процессуальные объектно-адресатные (*Докладчику был задан вопрос*), объектно-орудийные (*Город был разрушен землетрясением*), а также объектно-агентивные и объектно-адресатно-агентивные (*Книга была посвящена автором его жене*).

Подытоживая описание семантических моделей двусоставных глагольных предложений, отметим прежде всего, что среди них имеются как детерминирующие, так и реляциональные (преобладающий тип) и бытийные предложения. Всего нами выделены в предварительном порядке следующие типы семантических моделей:

I. Детерминирующие предложения, среди них — собственно детерминирующие, статальные, и статальные обстоятельственно-детерминирующие, а также процессуально-детерминирующие.

II. Реляциональные предложения, среди них — акциональные агентивно-объектные, агентивно-адресатные, агентивно-объектно-адресатные, агентивно-двухобъектные, агентивно-адресатно-орудийные и агентивно-объектно-целевые; процессуальные объектно-адресатные, объектно-агентивные или объектно-адресатно-агентивные, объектно-орудийные, абстрактно-реляциональные, реляциональные предложения рецепции.

III. Бытийные предложения, среди них бытийные темпорально, локально, адресатно детерминированные.

Список этих семантических моделей, видимо, неполон и нуждается в дальнейшей проверке. Несомненно, однако, что так же, как для каждого языка существует конечный ряд структурных схем (моделей) предложений, существует, но не выявлен пока полностью и не исследован на соотношение универсального/специального, конечный ряд семантических моделей предложений.

Главным методом семантического моделирования следует признать метод логического анализа, которым широко пользуются современная синтаксическая семантика и логический синтаксис.

Это не означает, однако, что для подтверждения правильности данных логического анализа невозможна также экспериментальная проверка. Одним из главных способов экспериментальной проверки логического построения семантической модели предложения является метод перифразирования, основанный на множественности способов выражения мысли. Ср., например, перифразы: *Он болеет — Он болен*; *Он пьет — Он пьяница*; *Его знобит — У него озноб*. Релевантной для верификации логически построенной семантической модели всего синонимического ряда перифраз является перифраза, имеющая наиболее типичную для соответствующей семантической модели структуру. Так, в синонимическом ряду *Он пьет — Он пьяница* релевантной для модели детерминирующего предложения является структура двусоставного именного предложения N_1 *сор* N_1; в синонимическом ряду *Он болеет — Он болен* релевантной для модели статального предложения является также структура двусоставного именного предложения.

---

[29] См.: П. Адамец, В. Грабе, Трансформация, синтаксическая парадигматика и члены предложения, «Slavia», 2, 1968.

Другим методом экспериментальной проверки логического анализа являются грамматические модификации одного из компонентов модели — проверка на совместимость семантического и грамматического значения. Так, для разграничения омонимичных с точки зрения семантической модели предложения поверхностных структур *Он испытывает прибор* и *Он испытывает боль*, построенных по схеме $N_1 — Vf — N_4$, может быть применена пассивная трансформация, приложимая только к первому из этих предложений, имеющему семантическую структуру: агенс — действие — пациенс, и неприложимая к статальным предложениям. Субституция определенного/неопределенного (нулевого) артикля позволяет разграничить в немецком языке подвиды двусоставных именных предложений. Ср. *Er ist ein Mörder* (квалифицирующее предложение) — *Er ist der Mörder* (предложение тождества); *Er ist ein Schwärmer* (квалифицирующее предложение, указывающее на свойство) — *Er ist Arzt* (квалифицирующее предложение, указывающее на род профессиональной деятельности).

Наконец, одним из видов экспериментальной проверки семантических моделей является и включение в контекст. Так, В. Чейф применяет для разграничения статальных, процессуальных и акциональных предложений включение соответствующих предложений в вопросно-ответное единство. По его словам, нестатальные предложения могут быть отличены от статальных на основании того, что они отвечают на вопрос: «Что произошло?», «Что происходит?». Так, предложение англ. *It's raining* относится им не к статальным, а к процессуальным потому, что оно может служить ответом на вопрос «*What's happening*?» [30].

Не могут быть еще сформулированы сколько-нибудь полно и те правила лексической дистрибуции, которые, как видно из приводившихся примеров, могут и должны быть инвентаризованы.

Таким образом, приемы экспериментальной проверки логического анализа,— здесь лишь намеченные,— нуждаются в дальнейшем исследовании и позволят со временем все больше формализовать семантический анализ предложения. Даже немногие приведенные здесь способы формализации семантического моделирования заставляют считать всего лишь фразой высказывания о том, что семантический синтаксис отражает только содержательные связи и «игнорирует различия в грамматическом оформлении» [31]. Отрицаться может и должно лишь совпадение глубинной смысловой структуры и поверхностной структуры предложения. Новые же, принципиально иные формальные признаки смысловых структур, безусловно, следует искать.

Принцип автономности семантики по отношению к грамматике — лишь вывернутый наизнанку антиментализм классического структурализма. Семантический синтаксис и синтаксис поверхностных структур — два тесно связанных аспекта описания предложения, так как речь идет о двуединстве содержательной и формальной стороны синтаксических единиц, т. е. о взаимоотношении двух сторон сложного лингвистического знака.

---

[30] W. L. Chafe, указ. соч., стр. 18.

[31] А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, О семантическом синтезе, «Проблемы кибернетики», 19, М., 1967, стр. 183.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

Т. А. СЕБЕОК

«СЕМИОТИКА» И РОДСТВЕННЫЕ ТЕРМИНЫ

«... давним результатом лингвистических исследований, независимо от того, когда они проводились и представителями каких школ, является отрицание абсолютных синонимов... Синонимы — наиболее вероятные субституты в любой данной ситуации, но только в одной ситуации; это очень важное ограничение»

(*Hill*, 1958, стр. 412).

Теория знаков в древней Греции разрабатывалась эпикурейцами и особенно стоиками. Несмотря на различные «кредо», представители обеих этих философских школ занимались, в основном, поиском ассоциативной связи между явлениями, которые поддаются непосредственному восприятию, и такими, которые сразу не воспринимаются нашими органами чувств. В этом отношении указанная теория аналогична теории показаний, особенно медицинских. Движения тела истолковывались как знак души, покраснение лица как знак стыда, а лихорадка как знак (симптом) — позднее как «непреднамеренный показатель» — болезни. В связи с тем, что до нас не дошли многочисленные работы стоиков — семантистов и логиков, в том числе и труды Хризиппа (около 280—206 г. до н. э.), а также в связи с тем, что мы не располагаем достаточно полными данными критики знаковой концепции стоиков со стороны эпикурейцев, приходится ограничиваться главным образом такими сохранившимися источниками, как произведения Секста Эмпирика и Диогена Лаэртского, которые появились спустя более полтысячелетия после периода наибольшего расцвета философии стоиков. Подробности философии языка, предложенные стоиками, до сих пор остаются «самой мучительной проблемой в истории семантики» (Kretzmann [1], 1967, 363; наиболее надежное изложение содержится в диссертации Велтринга 1940 г.). Во всяком случае, греческая теория значимости, имеющая в большой мере медицинскую направленность (с ориентацией на Галена) получила наименование «semeiotikē» (из *sēma* «знак», *sēmeiōtikos* «наблюдающий знаки»).

В конце XVII в. Дж. Локк ввел греческое слово *semeiotikē* в обиход английской философии. Локк считал, что «теория знаков» является той отраслью разработанной им научной триады (логика, физика и этика), «цель которой состоит в рассмотрении природы знаков, которыми пользуется сознание для понимания вещей, а также в передаче этого знания другим» (1690, кн. IV, гл. XXI, § 4). Такие специалисты, как Р. Аарон (1955, 309), считают непонятным, почему Локк использует термин «semeiotikē» в той области философии, которая занимается логикой, ибо гассендисты, по всей видимости, не использовали его. Нет также никаких данных, свидетельствующих о том, что Локк, врач по профессии, наткнулся на этот тер-

[1] Список использованной литературы приводится в конце статьи. В тексте даются лишь фамилия автора, год издания его труда и стр.— *Ред.*

мин в своих медицинских исследованиях и приспособил его для использования в других областях (во всяком случае, он никак не связывает его с симптоматологией). Л. Рассел (1939), однако, убедительно показал, что Локк воспринял термин «semeiotiké» не из сочинений, посвященных логике или медицине, а заимствовал его из работ по греческой музыке. Непосредственным источником была, вероятно, изданная в 1682 г. Дж. Валлисом «Гармоника» Птолемея (хотя Рассел не упоминает этого сочинения, тот факт, что указанный термин не встречается в первом наброске «Essay» Локка 1671 г., подкрепляет это предположение). Валлис, друг Локка и его бывший профессор математики в Оксфорде, в свою очередь приписывает термин «semeiotiké» в значении «искусство музыкальной нотации» М. Мейбому, ссылаясь два раза на его «Antiquae musicae auctores sentem» (1652).

Английский термин и некоторые его производные впервые появляются двумя веками позднее в работах Дж. С. Пирса [2] в виде «semeiotic» (1, 444), редко «semeotic» (8, 377), а чаще всего «semiotic» (насколько я мог обнаружить, термин «semiotics» вовсе не встречается). Более того, он также использует термин «semeiosy» в смысле «действие знака» (5, 473) и, конечно, «semiosis», употребляемый во мн. числе в виде *semioses* (5, 490). Пирс указывает, что вариант этого термина — «semeiosis» «в греческом языке римского периода уже во времена Цицерона ... означал действие любого вида знака» (5, 484). Совершенно несомненно, что Пирс заимствовал термин «semiotic» («semeiotiké») и его определение как «виртуально необходимую, или формальную, теорию знаков» (2, 227) непосредственно из арсенала Локка, о работе которого он писал следующее: «Знаменитая „Essay concerning humane understanding" содержит много мест..., где делаются первые шаги глубинного анализа, который, однако, не находит здесь дальнейшего развития» (2, 649). В известном замечании Пирс считает себя «пионером, или, скорее, чернорабочим в деле выяснения и открытия того, что я называю семиотикой, т. е. теории сущностной природы и основных разновидностей возможного семиозиса...» (5, 488).

Хотя Пирс неоднократно ссылается (например, 4, 353) на И. Х. Ламберта, он, как это ни парадоксально, видимо, не был знаком с десятью мастерски написанными главами этого автора «Semiotik oder Lehre von der Bezeichnung der Gedanken und Dinge» (Lambert, 1764, 5, 214), где глубоко осмысляются и ясно излагаются в семиотическом аспекте (ср. Söder, 1964) основные принципы коммуникации и обозначения. Эти принципы в некоторых важных отношениях предвосхищают собственную работу Пирса, включая самое использование термина «semiotic».

Однако, как указал Л. Резников (1968, 189), несмотря на интересные мысли Ламберта, «его работы не оказали почти никакого влияния на развитие логико-семиотических проблем».

В Германии вплоть до последнего времени термин «Semiotik» продолжал обозначать симптоматологию. Сошлемся лишь на один пример. Р. Клейнпауль, автор одной из первых и наиболее серьезных книг о несловесной коммуникации, использовал этот термин в его традиционном значении. Он писал: «В медицине есть отрасль науки, называемая семиотикой, учение о признаках болезни, или, как мы обычно говорим, о симптомах...» (1888, 103), но тут же добавляет: «Было бы очень хорошо, если бы была разработана и семиотика здоровья» (там же, 106). Использование рассматриваемого термина Гермесом (1938) для обозначения только общего синтаксиса в отличие от описательного синтаксиса представляется в значительной мере специфичным для этого автора. В наши дни влияние аме-

[2] При ссылках на работы Дж. С. Пирса в скобках указываются тома и параграфы. — *Ред.*

риканского прагматизма, особенно прагматизма Пирса, а также бихевиористской социологии, а именно семиотики, представленной Моррисом, оказалось достаточно сильным для того, чтобы в Германии термин «Semiotik» стали повсеместно использовать со значением «общая теория знаков» (ср., например, Bense, 1967).

В Америке английский термин «semiotic» вошел в обиход философии и используется также за пределами этой науки благодаря инициативе Ч. Морриса, опубликовавшего серию работ, посвященных общей теории знаков, особенно классическую монографию 1938 г. «Foundations of the theory of signs», а также более тщательно выполненную книгу 1946 г.— «Signs, language and behavior» (обе эти работы включены в кн.: Morris, 1971). Согласно А. Риду (1948, 85), термины «semiotic» и «semeiotic» не стали общепринятыми в печати при жизни Пирса, хотя, Пирс использовал варианты этих терминов в переписке с В. Велби примерно в 1908 г. (часть этой переписки была впервые опубликована в работе Огдена и Ричардса, см.: Ogden and Richards, 1925, 281 и сл.; ср. Peirce, 8, 342). Рид ссылается на польского математика Л. Хвистека, который в 1924 г. использовал термин «semeiotics» для передачи на английском языке немецкого «Semantik», однако в английском языке термин «semiotic» впервые появился в печати лишь в работе Морриса.

Ч. Моррис писал, что «термин „семантика" является, пожалуй, наиболее общепринятым названием дисциплины, изучающей знаки. Термин „семиотика", избранный здесь, использовался стоиками, Дж. Локком и Ч. Пирсом. Лингвисты и логики ограничивают употребление термина „семантика" определенной частью рассматриваемой области знаний, а именно той частью, где изучаются означаемые (significata) знаков. Следовательно, мы будем использовать термин „семиотика" как общий термин, а термин „семантика" будет обозначать ту часть семиотики, которая имеет дело с означаемыми» (1971, 106). Терминология Морриса была быстро распространена Карнапом (1942, 9), который отнес «всю науку о языке», состоящую из синтаксиса, семантики и прагматики (такое троякое подразделение было в свое время введено Моррисом), к семиотике.

Не входя здесь в подробное рассмотрение запутанного исторического переплетения терминов «sem(e)iotic» и «semantics» и их многочисленных соперников,— некоторые лексикографические аспекты этого вопроса компетентно обсуждаются Ридом (1948) — представляется уместным перечислить в этой связи по крайней мере те термины, которые восходят к греч. *sēmeion*. Будут рассмотрены следующие термины: «sem(e)iology» (к этому термину мы еще вернемся ниже); введенный Райзигом термин «Semasiologie» (1839), англ. «semasiology» (1877); термин Б. Смарта «sematology» (1831) и, видимо, возникший независимо от последнего термин Бюлера «Sematologie» (1934, 34 и сл.), который употреблялся автором в значении, очень близком англ. «semiotic» (оба эти термина в значительной мере в настоящее время вышли из употребления); термин «semology», бытующий сейчас в некоторых американских лингвистических кругах (ср., например, Joos, 1958; Lamb, 1966, 31 и сл.). Следует также упомянуть созданный В. Велби термин «sensifics» (1896) и более известный ее термин «significs», который в 1917 г. стал лозунгом группы голландских ученых, называвших себя «significi» (Mannoury, 1969).

Наконец, следует остановиться на любопытной судьбе англ. термина «semiotics», который формально принадлежит к классу слов на *-ics*. Этой группой слов в свое время занимался Хилл, который подчеркивал: «путаница, которая царит среди ученых, изучающих слова на *-ics*, в определенной мере... обусловлена тем обстоятельством, что ни в одном словаре не разъясняется генетическое различие между конечным *-s* в этих словах и

известным формантом мн. числа существительных, который омонимичен этому *-s*» (1948, 11). Как я уже отмечал, Пирс вообще не использовал термин «semiotics»; не применял этого термина и Моррис, который обратился к издателям серии «Approaches to semiotics», где недавно вышло полное собрание его сочинений, с просьбой напечатать специальное «Терминологическое примечание» к его книге, в котором разъяснялось бы расхождение между его терминологией и той, которая используется в указанной серии (Morris, 1971, 9, 10). Почти все истинные «семиотисты» (semioticians) — этот термин также принадлежит Моррису (Morris, 1971, 81), который обозначал им профессионалов, практически занимающихся семиотикой,— работающие в традициях Пирса, особенно философы, сгруппированные в «Обществе Ч. Пирса» (см. семь томов «Трудов» этого общества, начиная с 1965 г.), а также видные сторонники Пирса среди лингвистов, как Р. Якобсон (1971 и далее), всячески избегают термина «semiotics», который они склонны считать варваризмом. Тем не менее этот термин неоднократно появлялся в печати, в том числе в некоторых неверных ссылках. Так, в «Предметном указателе» к пятому тому работ Пирса (стр. 425) имеется ссылка «Semiotics», но в соответствующем параграфе (488) эта форма не встречается; такую же ссылку мы находим и в предметном указателе к монографии Бохеньского (1968, 134), хотя в тексте работы мне удалось обнаружить только вариант «semiotic» (30 и сл.). Спорадическое появление в английской печати термина «semiotics», начиная с 40-х годов нашего века, очевидно, обусловлено аналогическим словообразованием по модели слов на *-ics* (в терминологии Хилла), вероятнее всего, по модели слова «semantics» (этот последний термин в конце XIX в. создан М. Бреалем, хотя и до его появления еще в XVII в. существовал английский термин «semantick»). Распространение указанного термина или, если пользоваться терминологией Г. Пауля, «суммирование повторяющихся передвижений в идиолектах, кульминационным пунктом которых было образование новой языковой привычки», безусловно, связано с именем М. Мид, которая 19 мая 1962 г. в самом конце первой американской конференции по семиотике, посвященной рассмотрению различных аспектов этой новой зарождающейся области знаний, заявила: «Было бы очень хорошо, если бы мы могли разъехаться отсюда, по крайней мере, предварительно согласившись использовать какое-либо выражение для обозначения всей этой области знаний... Если бы можно было найти слово со значением „моделированная коммуникация на всех уровнях модальности", оно было бы очень полезно. Я не специалист в этой области, и не знаю, какие слова лучше использовать, но многие из присутствующих, которые, как мне казалось, лучше разбираются в этих вопросах, использовали термин „семиотика" („semiotics"). Мне представляется, что именно это слово в той или иной форме применялось учеными, стоящими на совершенно различных точках зрения» (цит. по кн.: Sebeok, 1964, 275). Тогда я писал в редакционном предисловии: «Обозначая единую область науки, это слово, несмотря на свою перегруженность значениями, было включено в основной заголовок нашей работы „Approaches to semiotics" не без возражений со стороны некоторых ученых» (там же, 5). То же слово было позднее избрано в качестве общего заголовка серии, предназначенной для издания книг, посвященных теории знаков (Sebeok, 1969 b). С другой стороны, на заседании будущей Международной ассоциации семиотических исследований 21 I 1969 г. происходило бурное обсуждение вопроса о том, как следует назвать периодический печатный орган Ассоциации; дело не только в том, что этот журнал должен был быть двуязычным, но и в том, что к тому времени соперничество терминов «semiotic» и «semiotics» приобрело очень острый характер. Вопрос был удачно разрешен — новый

журнал назвали «Semiotica» (Sebeok, 1969a). У меня сложилось впечатление, что в настоящее время термин «semiotics» имеет решающее преимущество по сравнению с «semiotic» и в ближайшее десятилетие, вероятно, полностью вытеснит этот последний, несмотря на предпочтение того или иного термина отдельными учеными. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что оба эти термина следует устранить в пользу термина «semeiotics», ибо «правописание является лучшим аргументом целесообразности того или иного термина, а оно не допускает двусмысленности *semi-*. Semi-otics было бы абсурдом» (Count, 1969, 76, примеч.).

Таким образом, можно отметить, что все многообразие терминов, обозначающих теорию знаков, выражается в обобщающей форме «sem(e)-iotic(s)».

В Советском Союзе, где наука о знаках получила серьезное развитие и сделала большие успехи (Meletinsky, Segal, 1971) и где в 1962 г. состоялся первый семиотический коллоквиум (почти одновременно с первыми шагами американских ученых в этом направлении), излюбленным термином является «семиотика» [=англ. *semiotic(s)*]. Интересно отметить, однако, что знаменитый центр семиотических исследований, созданный в 1964 г. при университете в Тарту, где регулярно читаются лекции и летние курсы по структурному изучению вторичных систем, обусловливающих модели, публикует свои «Труды» под названием, воскрешающим этимологические истоки термина — «Semeiotiké» (это название было повторено в заголовке работы Кристевой—Kristeva, 1969), с русским подзаголовком «Работы о системах знаков», который затем на обороте титульного листа переводится на английский и эстонский — «Works on semiotics — Tööd semiootika alalt» (Lotman, 1964).

В Польше, стране, внесшей большой вклад в теорию знаков и давшей первый импульс к созданию Международной ассоциации семиотических исследований, обнаруживается явное предпочтение термина «семиотика» (= англ. *semiotics*) [ср. название Международной конференции по семиотике, созванной в Польше в сентябре 1966 г., и доклад М. Р. Майеновой «Семиотика сегодня», перепечатанный в кн.: Kristeva, 1971, 57—62), а также словоупотребление польских логиков, например, Пельца (Pelc, 1971 и далее) и его сотрудников]. Такая же ситуация наблюдается и в остальных славянских странах; в венгерском языке также используется слово *szemiotika* (ср. Voigt, 1969, 377).

В противоположность «модели Локка — Пирса — Морриса», которую мы до сих пор описывали, и которая преобладает в Америке, в Северной и в Восточной Европе, существует другая традиция, распространенная в романских странах, но не ограниченная ими, ибо отзвуки этой традиции прослеживаются в английском языке, особенно в Великобритании. Эта традиция, которую я буду называть «моделью Соссюра», имеет два различных истока — первоначально греческую медицину, а затем, много позднее, непосредственное наследие Ф. де Соссюра. Чисто синхронически перед нами одновременное многоязычное взаимодействие полинимии (использование нескольких подобных форм) и полисемии (использование нескольких связанных значений). Возьмем французский язык в качестве романского образца (данные приводятся по Роберту — Robert, 1967, 1633). Имеется две формы — a) *sémiologie* и b) *séméiologie*. Обе эти формы определяются по-разному: 1) «область медицины, которая изучает признаки болезни» и 2) «наука, изучающая жизнь знаков в рамках жизни общества» или «наука, изучающая системы знаков (языки, коды, сигнализация и т. д.)». Короче, 1) имеется в виду симптоматология в том виде, как она излагалась в 1752 г. («Dictionnaire de Trevoux) и 2) имеется в виду общая теория знаков (это подкрепляется цитатами из Соссюра, относящимися примерно к

1910 г.). Указанные значения можно представить в виде простой матрицы:

формы	a	b
значения	1	2

Имеются также две дополнительных формы, возникновение которых относится к 1555 г.: c) *sémiotique* (Ambrose Paré, в кн. XX bis, 23) и d) *sémiotique*. Обе эти формы соответственно имеют в сущности те же определения, что и указанные выше термины: 1) «семиология» и 2) «общая теория знаков». Это можно изобразить в виде расширенной матрицы:

формы	a	b	c	d
значения	1		2	

Такое же положение mutatis mutandis наблюдается и в других романских языках. В итальянском, однако, формы c) и d) поляризуются с точки зрения значения 1 и 2, т. е. термин «semiotica» означает теорию знаков, а термин «semeiotica» все еще употребляется в медицинском контексте. В румынском языке, с другой стороны, термин «semiología» означает только «область медицины, которая занимается диагностикой болезней на основе их симптомов», а форма c) используется только со значением 2 (ср. Golopenţia — Eretescu, 1971; относительно развития исследований по семиотике в Румынии ср. также Pop, 1972) и т. д.[3].

Не останавливаясь на значении 1, обратим основное внимание на термин «sémiologie» во втором смысле, родоначальником которого, как известно, был Соссюр. Вот соответствующая цитата из его «Курса общей лингвистики»: «Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами, и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем.

Можно, таким образом, мыслить себе науку, изучающую жизнь знаков внутри жизни общества; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее „семиология" (от греч. *sēmeion* „знак"). Она должна открыть нам, в чем заключаются знаки, какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, место ее определено заранее. Лингвистика только часть этой общей науки; законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя таким образом окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни» (Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 40).

После слова *sémiologie* в «Курсе» имеется ссылка на книгу Навиля (1901, 104), который излагает только что приведенную раннюю версию взглядов своего женевского коллеги по указанному вопросу. Соссюр настаивает на важности «очень общей науки, которую он называет семиологией и объектом которой должны стать законы создания и преобразования знаков и их значений. Семиология является важной частью социологии. Наиболее значительной из существующих систем знаков является условный язык людей, а наиболее развитой семиологической наукой следует признать лингвистику, науку о законах жизни языка» (Godel, 1957, 181).

---

[3] Кроме использования в медицине, франц. термин «sémiotique» в середине XIX в. использовался также в военном деле: «Искусство маневрирования войск, движение которых регулируется знаками» (A. Рей, личное сообщение). В этом значении иногда использовался также термин «sémantique» (Rey, 1969, 6).

Само понятие семиологии и соответствующий термин впервые появились в заметке Соссюра, датированной ноябрем 1894 г. (Godel, 1957, 275). Начиная с 1916 г. и особенно после появления монографического исследования вопроса Бюиссенсом (1943), этот термин распространился во французской научной и, в частности, лингвистической практике и в настоящее время употребляется в таких стандартных руководствах, как книги Бартеса (1964), Мунэна (1960) и Гиро (1971). Однако этот на первый взгляд «гладкий» процесс был в значительной мере нарушен двойной миграцией рассматриваемой терминологии: в то время как термин «sémiologie» перекочевал через Ламанш (в виде «semiology», но со значением «semiotic»), термин «semiotic» совершил путешествие в противоположном направлении и, возвратившись зигзагообразным путем через Атлантику, способствовал возрождению термина «sémiotique» в значении «sémiologie». Имевшая большое влияние монография Бартеса «Éléments de sémiologie» была опубликована в Англии (а затем распространена в Америке) под названием «Elements of semiology». Именно этот термин в настоящее время постоянно появляется в британских газетах и журналах, таких, как «The Times literary supplement», а также в потоке книг, посвященных самым различным словесным и несловесным искусствам, начиная от архитектуры («Semiology of architecture», часть I Дженкса и Берда, 1969; ср. в аналогичном контексте исп. «semiología» в работе Gandelsonas, 1970) и кончая кинематографией: хорошей иллюстрацией употребления изучаемого термина в этом контексте может служить противопоставление названия главы из английской книги Воллена — «The semiology of the cinema» (Wollen, 1969, 116—162) и названия одновременно с ней опубликованной американской монографии «The development of a semiotic of film» (Worth, 1969). В то же время термин «sémiotique», стал настолько часто употребляться во французском (ср. Kristeva, 1971), что один ученый сделал предостережение: «Лучшим французским переводом остается „sémiologie". Термина „sémiotique", проникшего во французский язык ... со значением семиологии вообще, следует избегать...» (Mounin, 1970, 57, примеч.).

Резюмируя сказанное, можно утверждать следующее: форма «semiology», видимо, прочно вошла в научный обиход, хотя ее роль в американском варианте английского языка ничтожна по сравнению с терминами «semiotic(s)»; во французском языке термин «sémiologie» в настоящее время соперничает с «sémiotique». Результаты этой борьбы все еще не ясны.

Даже при употреблении в узком смысле, т. е. отвлекаясь от употребления их в медицине, английские термины «semiotic», «semiotics», «semiology» (если взять только три наиболее обычных английских термина) не являются в полной мере взаимозаменимыми. Хотя любой автор журнала «Semiotica» может, в соответствии со своими личными вкусами, дать то или иное название теории знаков, его терминология в пределах статьи не будет колебаться ad libitum, ибо первоначальный выбор терминов безошибочно укажет читателю-специалисту, имеет ли он дело с представителем традиции Локка — Пирса — Морриса, сторонником терминологии М. Мид, или последователем соссюрианства. И хотя все указанные термины, к сожалению, могут иметь один и тот же денотат, смысловое различие каждого из них настолько велико, что правомерность высказывания Хилла о синонимах, приведенного в качестве эпиграфа к настоящей статье, полностью подтверждается.

Некоторые ученые нарочито отделяли денотат термина «semiotic» от денотата термина «semiology». Такова была практика Л. Ельмслева, который дал следующие формальные определения: «semiotic» (дат. «semiotik») — «иерархия, любой из сегментов которой допускает дальнейшее деление на классы, определяемые взаимным отношением, так что любой из этих

классов может делиться на производные, определяемые взаимными передвижениями»; «semiology» (дат. «semiologi») — «метасемиотика, противопоставленная объектной, т. е. ненаучной семиотике» (Hjelmslev, 1957, 85, 87). Кроме того, Ельмслев использовал слово «semiotics», хотя употребление этого термина было случайным и Ельмслев не вкладывал в него терминологического значения; он также ввел термины «метасемиотика» (в противоположность «объектной семиотике») и «метасемиология», которые он истолковывал с позиций формального анализа. Последователи Ельмслева пытаются увековечить смысловое различие этих терминов: «Независимая наука, поисками которой мы занимаемся, скорее всего представляет из себя имманентную семиологию — науку, изучающую семиотику (sic!), или знаковые системы вообще» (F. Whitfield, в кн.: Hill, 1959, 258). Иногда тем же занимаются и другие ученые. «Было бы полезно,— заявляет социо-антрополог,— оставить термин „semiology" в значении „изучение семиотики (semiotics)", причем последний термин осмысляется как мн. число (!) от термина „semiotic". В свою очередь, термин „semiotic" описывает знаковую систему» (Ardener, 1971, LXXXVI, примеч. 16).

Во французском языке денотаты терминов «sémiotique» и «sémiologie» по разному различаются друг от друга. Например, у Мунэна, который, как уже говорилось, возражает против обозначения термином «sémiotique» «семиологии вообще», хотя он, видимо, не имел бы ничего против органического использования этого термина «для обозначения особой системы нелингвистической коммуникации: код пути является семиотикой; в качестве другого примера, видимо, можно указать на живопись и т. д.» (Mounin, 1970, 57, примеч.). В итальянском языке автор одного из наиболее интересных учебников по рассматриваемому здесь вопросу резко отграничивает значение термина «semiologia» от термина «semiotiche» — причем делается это не на основе существующего употребления, а, так сказать, ex cathedra, с тем, чтобы установить своеобразную норму (будущее покажет, насколько такая норма правомерна), призванную внести ясность в возможную дискуссию.

В заключение мне бы хотелось сделать два очень коротких замечания.

1. В 1963 г. я ввел новый сложный термин «zoosemiotics». Начиная с первого появления этого термина в журнале «Language», я пытался проследить его переход из чисто лингвистических источников в разного рода научные тексты и, в частности, в художественную литературу, а также переход этого термина из английского в другие индоевропейские языки, в японский и финно-угорские языки. Результаты моих наблюдений в этом отношении (Sebeok, 1968, 1970) можно рассматривать как дополнение к настоящей статье.

2. Замечания о другом связанном термине, «asemasia». Джексон в своей работе об аффектах речи указал на ограничения термина «афазия», опираясь при этом на вполне здравые мысли о том, что «по крайней мере, во многих случаях мы имеем дело с чем-то большим, чем утрата речи: мимика нарушена; нередко утрачена способность символизировать тем или иным образом отношения между объектами». Он продолжает: «Д-р. Гамильтон предлагает термин „asemasia", который представляется вполне правомерным» (Jackson, 1932, 159). При этом он имеет в виду А. М. Гамильтона, известного невропатолога, который работал в Нью-Йорке и написал книгу о нервных болезнях, где, в частности, говорится: «Мне кажется, что слово „афазия" в том виде, в котором оно сейчас употребляется, имеет слишком ограниченное значение: оно может выразить все виды нарушений подобного рода, которые состоят не только в дефектах речи, но и в утрате способности жестикуляции, пения, чтения, письма и других

функций, посредством которых человек имеет возможность вступить в контакт со своими товарищами. Я бы предложил поэтому термин „асемасия" в качестве заменителя термина „афазия"» (Hamilton, 1878, 161, примеч.). Вполне возможно, как указывает Джексон (1971, 289), что Гамильтон не только предложил этот термин, но и является его автором, создавшим этот термин для обозначения отсутствия какой-либо семиотической деятельности за пределами словесной. Если это так, то следует отметить, что предшественником Гамильтона здесь был Штейнталь, который в 1871 г. писал, что «афазия... осложняется ... общей неспособностью узнавания знаков, асемией» (Steinthal, 1881, 458).

Перевел с английского *М. М. Маковский*

ЛИТЕРАТУРА

Aaron, R. I. 1955² [1937¹]. John Locke, London.

Ardener, E., ed. 1971. «Social anthropology and language», London.

Barthes, R. 1964. Eléments de sémiologie, Paris (по-английски книга вышла в 1957 г.: «Elements of semiology», London).

Bense, M., 1967. Semiotik. Allgemeine Theorie der Zeichen. Baden-Baden.

Bocheński, J. M. 1968² [1965¹]. The methods of contemporary thought. New York.

Bühler, K. 1965² [1934¹]. Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart.

Buyssens, E. 1943. Les langages et le discours. Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie. Bruxelles.

Carnap, R. 1942. Introduction to semantics. Cambridge (Mass.).

Count, E. W. 1969. Animal communication in man-science: an essay in perspective, в кн.: «Approaches to animal communication» ed. by T. A. Sebeok and A. Ramsay, стр. 71—130. The Hague.

Eco, U. 1968. La struttura assente: introduzione alla ricerca semiologica, Milano.

Gandelsonas, M., et al. 1970. Semiologia arquitectonica, «Summa», 32, стр. 69—82.

Godel, R. 1957. Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale», de F. de Saussure. Genève.

Golopenția-Eretescu, S. 1971. Explorări semiotice, «Studii și cercetări linguistice», 22, стр. 283—291.

Guiraud, P. 1971. La sémiologie. Paris.

Hamilton, A. 1878. Nervous diseases: their description and treatment. Philadelphia.

Hermes, H. 1938. Semiotik: eine Theorie der Zeichengestalten als Grundlage für Untersuchungen von formalisierten Sprachen, «Forschungen zur Logik und zur Grundlegung der exakten Wissenschaften», 5. Leipzig.

Hill, A. Mc. A. 1948. The use of dictionaries in language teaching, «Language learning», 1, стр. 9—13.

Его же, 1958. Introduction to linguistic structures: from sound to sentence in English. New York.

Его же (ed.) 1969. Linguistics today. New York.

Hjelmslev, L. 1953 [датский оригинал, 1943]. Prolegomena to a theory of language, Baltimore.

Jackson, J. H. 1932. On affections of speech from disease of the brain, в кн.: «Selected writings of John Hughlings Jackson», 2, стр. 155—170.

Jakobson, R. 1971. Word and language, «Selected writings», 2, The Hague.

Jencks, C.; Baird, G. 1969. Meaning in architecture. London.

Joos, M. 1958. Semology: a linguistic theory of meaning, «Studies in linguistics», 13, стр. 53—70.

Kleinpaul, R. 1888. [1972²]. Sprache ohne Worte. Idee einer allgemeinen Wissenschaft der Sprache, Leipzig.

Kretzmann, N. 1967. History of semantics, «The encyclopedia of philosophy», 7, стр. 358—406.

Kristeva, J. 1969. Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse. Paris.

Ее же, 1970. La mutation sémiotique, «Annales. Économies, sociétés, civilisations», 25, стр. 1497—1522.

Ее же и др. (eds.). 1971. «Essays in semiotics — Essais de sémiotique», The Hague.

Lamb, S. M. 1966. Outline of stratificational grammar, Washington.

Lambert, J. H. 1764. Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung vom Irrtum und Schein, 2, Leipzig.

Locke, J. 1690. Essay concerning humane understanding. London.

Lotman, J. M., (ed.) 1964. Semeiotiké. Труды по знаковым системам, «Труды Тартуского гос. ун-та», Tartu.
Mannoury, G. 1969. A concise history of significs, «Methodology and science», 2, стр. 171—180.
Meletinsky, E., Segal, D. 1971. Structuralism and semiotics in the USSR, «Diogenes», 73, стр. 88—115.
Morris, C. S. 1971. Writings on the general theory of signs, The Hague.
Mounin, G. 1970. Introduction à la sémiologie, Paris.
Naville, A. 1901². Nouvelle classification des sciences, Paris.
Ogden, C. K.; Richards, I. A. 1925. The meaning of meaning, London.
Peirce, C. S. 1965—1966. Collected papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge (Mass.)
Pelc, J. 1971. Studies in functional logical semiotics of natural languages, The Hague.
Pop, M. 1972. Le laboratoire de sémiotique de l'université de Bucarest, Roumanie, «Semiotica», 5/3.
Read, A. W. 1948. An account of the word «semantics», «Word», 4, стр. 78—97.
Resnikow, L. O. 1968. Erkenntistheoretische Fragen der Semiotik, Berlin (дополненное изд., перевод с русск. изд.: «Гносеологические вопросы семиотики», Л.).
Rey, A. 1969. Remarques sémantiques, «Langue française», 4, стр. 5—29.
Robert, P. 1967. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris.
Russell, L. J. 1939. Note on the term «semeiotiké» in Locke, «Mind», 64, стр.405—406.
Saussure, F. de, 1967 — [1916¹]. Cours de linguistique générale, Wiesbaden (ср.: Ф. де Соссюр, 1933. Курс общей лингвистики, М.
Sebeok, T. A. 1968. «Zoosemiotics», «American speech», 43, стр. 142—144.
Его же, 1970. The word «zoosemiotics», «Language sciences», 10, стр. 36—37.
Его же (ed.), 1969 a. «Semiotica. Journal of the international association for semiotic studies», 1—, The Hague.
Его же (ed.), 1969 b. «Approaches to semiotics», 1—, The Hague.
Sebeok T. A. et al., eds. 1964. «Approaches to semiotics», The Hague.
Söder, K. 1964¹[1972²]. Beiträge J. H. Lamberts zur formalen Logik und Semiotik, Greifswald.
Steinthal, H. 1881² [1871¹]. Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft, Berlin.
«Transactions of the Charles S. Peirce society». 1965— A quarterly journal in American philosophy, ed. by R. Robin.
Voigt, V. 1969. Modellálás a folklorisztikában, «Studia Ethnographica», 5, стр. 347—430.
Weltring, G. 1910. Das «Semeion» in der aristotelischen, stoischen, epikureischen und skeptischen Philosophie. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Methodenlehre, Bonn.
Wollen, P. 1969. Signs and meaning in the cinema, Bloomington.
Worth, S. 1969. The development of a semiotic of film, «Semiotica», 1, стр. 282—321

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

М. А. КУМАХОВ

ТЕОРИЯ МОНОВОКАЛИЗМА И ЗАПАДНОКАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ

В последнее время на страницах ряда зарубежных лингвистических изданий ведется оживленная дискуссия по вопросу о вокализме западнокавказских (абхазско-адыгских) языков [1]. Повышенный интерес к вокализму языков Западного Кавказа неслучаен: материал данной группы языков используется для решения проблем общей фонологии, реконструкции фонологических моделей различных языков, их типологического обоснования, в том числе — и для верификации положения о моновокализме индоевропейского корня, тесно связанного с ларингальной теорией и до сих пор остающегося дискуссионным [2]. В этих же целях материал западнокавказских языков привлекается в исследованиях по диахронической типологии фонологических систем неродственных языковых групп, в частности, сторонники теории группофонем в истории славянских языков для укрепления своей позиции также обращаются к материалу западнокавказских языков [3].

Внимание к вокализму западнокавказских языков усиливается тем обстоятельством, что теория моновокализма находится в явном противоречии с некоторыми положениями как классической фонологии (в интерпретации Н. С. Трубецкого), так и одного из распространенных в современном языкознании направления — дихотомической фонологии. Дело в том, что сторонники моновокализма используют материал западнокавказских языков не только в целях постулирования моновокализма для истории развития фонологических систем языков различных типов, но и для опровержения провозглашенного Н. С. Трубецким [4] и поддержанного основателями дихотомической фонологии положения о том, что противопоставление гласных и согласных фонем является одной из лингвистических универсалий. Поэтому естественно, что сторонники дихотомической фонологии также включились в дискуссию по проблемам вокализма современных западнокавказских языков [5]. Таким образом, дискуссия вышла за пределы западнокавказского языкознания, возбудив интерес специалистов по разным языковым группам и у представителей разных лингвистических направлений.

---

[1] См., например: W. S. Allen, On one-vowel systems, «Lingua», 13, 2, 1965; O. Szemerényi, The new look of Indo-European reconstruction and typology, «Phonetica», 17, 2, 1967; A. H. Kuipers, Unique types and typological universals, The Hague, 1968; M. Halle, Is Kabardian a vowelless language?, «Foundations of language», 6, 1, 1970.

[2] R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, «Proceedings of the VIIIth International congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 23; J. Kuryłowicz, Probleme der indogermanischen Lautlehre. II, Innsbruck, 1962, стр. 112—114; O. Szemerényi, Structuralism and substratum, «Lingua», 13, 1, 1964; Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 146—147.

[3] См.: В. К. Журавлев, Группофонема как основная фонологическая единица, «Исследования по фонологии», М., 1966, стр. 82.

[4] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 107.

[5] См.: M. Halle, указ. соч.

В зарубежной лингвистической литературе спор о вокализме западнокавказских языков начался в связи с выступлением Р. Якобсона на VIII Международном конгрессе лингвистов, где он отметил: «Противоречия между реконструированным состоянием какого-либо языка и общими законами, которые устанавливает типология, делает реконструкцию сомнительной... Представление о протоиндоевропейском языке как языке, обладавшем лишь одним гласным, не находит подтверждения в засвидетельствованных языках Земного шара» [6]. На указанном конгрессе точка зрения Р. Якобсона была подвергнута критике У. Алленом, который защищал тезис о возможности существования моновокалической системы, ссылаясь при этом на современный абазинский язык [7]. Возражая У. Аллену в заключительном слове, Р. Якобсон заявил, что типологическая верификация повышает вероятность реконструированных фонологических и морфологических моделей, однако отнесение моновокалического статуса к протоиндоевропейскому противоречит нашему представлению о фонологическом строе языка [8]. В ходе дискуссии вокруг проблемы моновокализма У. Аллен, например, подробно остановился на теории моновокализма в полемической статье, направленной не только против традиционной реконструкции пятичленной системы вокализма в индоевропейском, но и отстаивающей положение об отсутствии противопоставления гласных и согласных фонем в западнокавказских языках [9]. Однако прежде чем перейти к рассмотрению взглядов У. Аллена и других сторонников моновокализма, следует напомнить об истоках этой фонологической теории.

Как известно, традиционная пятичленная система индоевропейского вокализма была отвергнута в 1879 г. Ф. де Соссюром, заложившим основы теории моновокализма индоевропейского корня [10]. Идея Ф. де Соссюра получила дальнейшее развитие в многочисленных трудах сторонников ларингальной теории, заменивших сонантические коэффициенты Ф. де Соссюра ларингальными в связи с открытием клинописного хеттского языка в конце первой четверти XX в. Наиболее распространенный вариант теории моновокализма индоевропейского корня, представленный в работе Э. Бенвениста, основывается на ларингальной теории [11]. Сущность теории моновокализма в понимании Э. Бенвениста заключается в том, что единственный гласный *е* в индоевропейском в различных комбинациях с ларингальными дает краткие и долгие гласные. Основываясь на положении Ф. де Соссюра о консонантном характере и.-е. *ə*, получившем признание и развитие у Мёллера, Педерсена, Куни, Куриловича и др., Бенвенист отмечает: «Мы полагаем, следовательно, известным и принятым, что *е*, *а*, *о* (не являющиеся аблаутным вариантом *е*) и $\bar{e}$, $\bar{a}$, $\bar{o}$ отражают *е* с предшествующим или последующим *ə* в одной из его трех форм, а именно: $ə_1 + e = e$; $ə_2 + e = a$; $ə_3 + e = o$; $e + ə_1 = \bar{e}$; $e + ə_2 = \bar{a}$; $e + ə_3 = \bar{o}$. Эти три разновидности *ə* оставили след в хеттском языке» [12].

В отношении западнокавказских языков мнение о моновокализме впервые было высказано Н. Ф. Яковлевым в одном из его ранних фонетических

---

[6] R. Jakobson, Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics, стр. 23.

[7] «Proceedings of the VIII International congress of linguists», стр. 28.

[8] Там же, стр. 34.

[9] W. Allen, On one-vowel systems, стр. 111—124.

[10] F. de Saussure, Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes, Paris, 1879.

[11] См.: Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955.

[12] Там же, стр. 179.

исследований по кабардинскому языку [13]. Хотя идея о моновокализме была предложена в качестве гипотезы применительно лишь к истории развития фонологической системы кабардинского языка, в последующий период мнение этого ученого нередко абсолютизируется и воспринимается как некая цельная теория, не нуждающаяся в лингвистических обоснованиях, и сторонники этой теории распространяют моновокализм не только на историю, но и на современное состояние кабардинского языка.

Между тем, высказывая предположение об историческом моновокализме кабардинского языка, Н. Ф. Яковлев не делал даже попытки обосновать свое мнение данными внутренней или сравнительной реконструкции. Судя по характеру постановки вопроса, ученый и не ставил этой задачи. Проецируя моновокализм на историю развития фонологической системы кабардинского языка, Н. Ф. Яковлев полагал, что из трех гласных фонем / ə /, / e /, / a / (орф. *ы*, *э*, *а*) последняя представляет собой комбинацию ларингального (в его терминологии — «гортанного спиранта») *h* и гласной / e /. Тем самым трехчленный вокализм возводился к двучленному, поскольку сегмент *he*, отождествленный ученым с гласной / a /, включает одну из двух оставшихся гласных фонем. Затем двучленный вокализм редуцируется путем элиминирования из системы «факультативной» гласной / ə /. При этом вся аргументация Н. Ф. Яковлева ограничивалась следующим: «Долгое *а* в кабардинском в части случаев также может восходить к *he*, получающему долготу в середине слова после согласной. Таким образом, в области гласных в кабардинском языке мы можем признать достоверно установленными лишь две краткие гласные фонемы / ə, e /, результатом слияния которых при участии гортанного спиранта (предположительно) генетически можно объяснить все остальные слоговые гласные элементы в языке. Далее, если принять во внимание, что краткий гласный *ə* факультативно является неслоговым и носителем слоговости в этих случаях бывает согласный одного с ним слога, а в исходном положении этот гласный систематически отпадает, то следует поставить вопрос, не имеем ли мы в кабардинском, по крайней мере, в известный период его развития пример языка с одной гласной фонемой» [14]. Других доводов, подтверждающих возможность существования моновокализма «в известный период развития» кабардинского языка, Н. Ф. Яковлев не приводит. Поэтому естественно, что предположение Н. Ф. Яковлева об историческом моновокализме кабардинского языка остается уязвимым, будучи не подтверждено материалом.

Прежде всего обращает на себя внимание произвольность операции, с помощью которой трехчленная система вокализма возводится сначала к двучленной, а последняя в свою очередь — к одной гласной фонеме. Из трехчленной системы гласная / a / исключается лишь на основании чисто умозрительного заключения, что эта фонема «в кабардинском в части случаев может восходить к *he*...». В двучленной же системе вокализма один из членов — гласная / ə / — исторически считается нерелевантной потому, что она «в исходном положении... систематически отпадает». Все построение не может рассматриваться как обоснованное и согласующееся с фактами адыгских и других западнокавказских языков. Характерно, что Н. Ф. Яковлев отождествляет гласную / a /, рассматриваемую им как комплекс фонем, с сегментом *he* в морфеме множественного числа, например: *mər* «этот» — *mə-he-r* «эти». Однако простое испытание на коммутацию единиц типа *jəsar* «сидевший» — *jəsher* «сидевшие» не дает оснований ин-

[13] Н. Ф. Яковлев, Таблицы фонетики кабардинского языка, М., 1923, стр. 108—109.
[14] Н. Ф. Яковлев, указ. соч., стр. 108—109.

терпретировать сегменты *а* и *he* как варианты одного инварианта. Во всех позициях, за исключением начальной, гласную / а / не представляется возможным фонологически свести к сегменту *he* (об этом см. ниже). Что же касается диахронического аспекта (Н. Ф. Яковлев постулирует моновокализм «для известного периода развития кабардинского языка»), то в настоящее время можно считать установленным, что представленная во всех современных западнокавказских языках гласная / а / относится к эпохе их общего состояния.

Столь же малоубедительно рассмотрение Н. Ф. Яковлевым гласной / ə / как кабардинского новообразования. Основным аргументом в пользу такой квалификации гласной / ə / служит отсутствие ее в абсолютном исходе глагольных основ типа *jetx* «он пишет», *jex'* «он несет». В действительности же исторически первичными оказываются здесь основы с конечной / ə /, сохранившиеся в адыгейском языке. Ср. адыгейск. *jetxə* «он пишет», *jex'ə* «он несет». Иначе говоря, не подлежит сомнению принадлежность гласной / ə / общеадыгскому (адыгейскому и кабардино-черкесскому) состоянию. Более того, гласная / ə /, как и гласная / а /, прослеживается в истории всех западнокавказских языков, т. е. имеются серьезные основания рассматривать ее как общезападнокавказское явление. Тем самым мнение Н. Ф. Яковлева об историческом моновокализме кабардино-черкесского языка, хотя оно и взято на вооружение многими исследователями, следует признать необоснованным.

В отношении вокализма современных западнокавказских языков Н. Ф. Яковлев в разное время высказывался по-разному. В 1923 г. он отмечал, что «в области гласных в кабардинском языке мы можем признать достоверно установленными лишь две гласные фонемы *ə*, *е*» [15]. В 1928 г. Н. Ф. Яковлев писал: «Здесь (в кабардинском языке.— *М. К.*) имеется всего 6 гласных фонем: *е*, *ə*, *а*, *he*, *h*, *ha* (орф. *э*, *ы*, *а*, *Iэ*, *Iы*, *Iа*.— *М. К.*). Последние 3 фонемы физиологически разлагаются на „крепкий приступ" *h* и соответственную гласную фонему первой тройки» [16]. Как видим, к гласным фонемам причисляются не только / а /, но и группы фонем — ларингальный в сочетании с любым из гласных / е/, / ə / , / а /. Там же делается заключение относительно абхазского и адыгейского языков: «Основных гласных в абхазском языке, также как и в кяхском (адыгейском.— *М. К.*), всего три: *ə*, *а*, *ā*, как это установлено мною, в противоположность академику Марру, который насчитывает их значительно больше» [17]. Однако спустя два года Н. Ф. Яковлев в адыгейском языке выделяет уже семь гласных фонем — краткие *ə*, *е* и долгие *а*, *je*, *i*, *o*, *u* [18]. Эти же семь гласных позже он включает в таблицу гласных фонем кабардинского языка, отказавшись от прежде высказанной точки зрения, согласно которой в число гласных фонем были включены сочетания фонем «ларингальный + *ə*», «ларингальный + *е*», «ларингальный + *а*» [19]. Как гласные фонемы Н. Ф. Яковлевым рассматриваются и дифтонгические образования *jə*, *je*, *əj*, *ej*, *əw*, *ew* и др., т. е. бифонемные сегменты, состоящие из консонантного и вокалического элементов.

Итак, крупный специалист по западнокавказским языкам, внесший свой вклад и в разработку вопросов общей фонологии, Н. Ф. Яковлев

---

[15] Там же, стр. 198.

[16] Н. Ф. Яковлев, Математическая формула построения алфавита, «Культура и письменность Востока», кн. I, М., 1928, стр. 55.

[17] Там же, стр. 59.

[18] Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф, Краткая грамматика адыгейского (кяхского) языка, Краснодар, 1930, стр. 121—122.

[19] Н. Ф. Яковлев, Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М.— Л., 1948, стр. 336.

в то же время был непоследователен в решении вопроса о вокализме рассматриваемой группы языков. Особенно уязвимы его высказывания, касающиеся истории развития системы вокализма западнокавказских языков, хотя сторонники теории моновокализма опираются именно на его гипотезу об историческом моновокализме кабардинского языка.

После работ Н. Ф. Яковлева признаки моновокалической модели стали усматривать в других западнокавказских языках. Отмечая исключительную сложность консонантизма и простоту вокализма в абазинском языке А. Н. Генко высказал предположение о моновокализме этого языка, хотя его аргументация остается малоубедительной и допускает двоякую интерпретацию. По его мнению, «абазинский язык обладает всего-навсего двумя, а если учесть некоторые особенности гласного *ə* (орф. *ы*.— *М. К.*), позволяющие считать его факультативным гласным субститутом сонантической (слогообразующей) разновидности согласных, то быть может и одной гласной фонемой» [20]. Важно заметить, что интерпретация гласного *ə* как слогообразующей разновидности согласного в дальнейшем будет выдвинута в качестве одного из основных положений сторонников как теории моновокализма, так и вообще полного отрицания существования гласных фонем в западнокавказских языках. Характерно, что сомнение в наличии статуса фонемы у гласного *ə* А. Н. Генко пытается подкрепить материалом абхазского и кабардинского языков. В этой связи он пишет: «В отличие от *а*, безусловно самостоятельного звука абазинского языка, *ə* приходится считать стоящим на грани между самостоятельной фонемой и лишенным самостоятельного смыслового значения звуковым оттенком. Дело в том, что в абазинском языке так же, как и в абхазском и в кабардинском, наблюдается та интереснейшая особенность, что сочетание в слоге какого-либо согласного с гласным *ə* фонематически, т. е. с точки зрения реального или формально-грамматического смысла сочетания, тождественно одному данному согласному, и потому н е в с т р е ч а е т с я н и о д н о г о п р и м е р а (разрядка наша.— *М. К.*), когда бы такое сочетание согласного с гласным *ə*, противопоставленное одному данному согласному, в каком-либо отношении влияло на изменение значения» [21].

Трудно согласиться с мнением А. Н. Генко, что гласный *ə* в отличие от гласного *а* не является самостоятельной фонемой в абазинском, поскольку оппозиции типа *k°a* «дождь» — *k°ə* «крыша», *q°a* «зола» — *q°ə* «шерсть», *c°a* «сено» — *c°ə* «вол» базируются на противопоставлении этих двух гласных. Нельзя считать убедительным также утверждение, что в языках этой группы снимается противопоставление согласного с гласным *ə* одному согласному (*C* + *ə* — *C*), ибо распространенными являются оппозитивные пары типа каб. *p'əṣ'en* «мерзнуть» — *p'ṣ'en* «полоть», *pəx̌ən* «отпилить» — *px̌ən* «связать». В этой связи вообще существенно подчеркнуть, что различие переходных и непереходных парадигм, играющих важнейшую роль не только в образовании всей глагольной парадигматики, но и в построении основных синтаксических конструкций предложений (например, номинативной и эргативной конструкций), во многих случаях основывается лишь на противопоставлении *C* + *ə* и *C*. Ср., например, глагольные формы в кабардинском: *sək'°aś* «я ходил» — *sk'°aś* «я прошел (какое-то расстояние)», *dəžaś* «мы бежали» — *džaś* «мы пробежали (какое-то расстояние)». Противопоставление *C* + *ə* и *C*, точнее — аблаутное чередование гласного с нулем звука несет значительную функциональную нагрузку в глаголе. Морфонологическое чередование *ə* с нулем звука менее характерно для имен существительных, хотя и в этом классе слов все же встре-

[20] А. Н. Г е н к о, Абазинский язык, М., 1955, стр. 29.
[21] Там же, стр. 29.

чается. Выводы же А. Н. Генко об отсутствии смыслового противопоставления *С* + *ə* и *С* построены на материале имен существительных.

Мнение Н. Ф. Яковлева об историческом моновокализме кабардинского языка не встретило сочувствия со стороны советских исследователей данной группы языков, однако, привлекло внимание широкого круга специалистов по другим языковым группам в связи с возрастающим интересом лингвистов, в особенности зарубежных, к теории моновокализма. Отталкиваясь от гипотезы Н. Ф. Яковлева, попытку обосновать положение об отсутствии противопоставления гласных и согласных фонем в кабардинском языке сделал голландский лингвист А. Куйперс [22]. Поскольку фонологическая концепция, развиваемая им на материале кабардинского языка, в последнее время стала предметом широкого обсуждения среди лингвистов, представляется необходимым более подробное критическое рассмотрение его основных положений.

Сразу же отметим, что в отличие от Н. Ф. Яковлева, допускавшего наличие лишь одной гласной фонемы в кабардинском языке «в известный период его развития», А. Куйперс приходит к выводу об отсутствии вообще гласных фонем в современном кабардинском языке[23]. Вслед за Н. Ф. Яковлевым, он считает, что долгий гласный *а* представляет собой комбинацию ларингального *h* и краткого *е*. В противоположность Н. Ф. Яковлеву, отмечавшему позиционную обусловленность ларингального *h* в сочетании с гласным *е*, А. Куйперс утверждает, что долгий гласный *а* в любом окружении сводится к сочетанию ларингального *h* и краткого гласного *е*, последовательность которых меняется в зависимости от позиции: в начальной позиции *а* отождествляется с *he*, в неначальной — с *eh* [24]. Ср. положение ларингалистов (идущее от Соссюра), в соответствии с которым индоевропейские долгие гласные сводятся к сочетанию краткого гласного *е* с ларингальными в различной последовательности. В доказательство членимости *а* А. Куйперс приводит некоторые фонологические и морфонологические данные. По его мнению, гласный *а* как *he* в начальной позиции и как *eh* в неначальных позициях вполне вписывается в систему дифтонгических образований *je*, *ej*, *we*, *ew*, где *j*, *w* соотносительны с *h* в сегментах *he*, *eh*. Членимость гласного *а* на *h* + *e*, *e* + *h* представляется ему оправданной также с акцентологической точки зрения: влияние гласного *а* на ударение «соответствует тому, что характерно для отрезка *VC*» (где символ *V* обозначает краткий гласный, т. е. либо *ə*, либо *е*, *С* — любой согласный) [25]. А. Куйперс, как и Н. Ф. Яковлев, гласный *а* (=*he*) усматривает в морфеме множественного числа *he*. Этим, собственно, заканчивается первая часть анализа системы вокализма, ставившая целью элиминировать гласный *а*.

Следующий этап анализа вокализма — это попытка обосновать тезис о нерелевантности гласного *ə* на фонологическом уровне. Отмечая случаи чередования гласного *ə* с нулем звука в различных фонетических условиях, автор пишет: «Если считать *е* (так у него графически обозначается *ə*. — *М. К.*) отдельной фонемой, то это приведет к серьезным осложнениям при описании морфологии, потребует произвольного понимания границ морфем, не даст возможности четко отграничить фонологический уровень от морфологического, приведет к неточным правилам при учете простейших единиц языка» [26]. Указанные трудности устраняются тем, что

[22] A. H. Kuipers, Phoneme and morpheme in Kabardian (Eastern Adyghe), 's-Gravenhage, 1960.
[23] Там же, стр. 104—106.
[24] Там же, стр. 38.
[25] Там же, стр. 35.
[26] Там же, стр. 49.

сочетания типа «согласный + гласный *ə*» рассматриваются «как простые фонемы с невокалическими имплозивными вариантами» [27]. При этом утверждается, что «краткие верхние гласные не различаются на уровне морфемы» [28], хотя не приводятся убедительные доводы для обоснования столь ответственного заявления. После того, как из системы фонем исключены гласные *а*, *ə*, остается лишь единственный член вокализма — гласный *е*. А. Куйперс идет дальше сторонников моновокализма: он считает, что гласный *е* (обозначаемый им как *а*) также не является отдельной фонемой. В этой связи утверждается, что в словах типа *šə* «лошадь» — *še* «молоко», *l'ə* «кровь» — *l'e* «нога» «второй член каждой пары отличается от первого исключительно признаком открытости» [29]. Иначе говоря, гласный *е* считается не отдельной фонемой, а признаком открытости согласного, т. е. такой же особенностью, как палатализация, лабиализация. «Открытость не встречается самостоятельно; она встречается только в соединении с признаком консонантности. В этом отношении она параллельна палатализации и лабиализации» [30]. А. Куйперс приходит к выводу об отсутствии вообще гласных фонем в кабардинском языке. В итоге он заявляет: «Наиболее разительной особенностью фонологической системы кабардинского языка является отсутствие противопоставления согласного и гласного» [31]. По его мнению, материал кабардинского языка опровергает положение, выдвинутое Н. С. Трубецким и принятое основателями дихотомической фонологии, согласно которому противопоставление согласных и гласных относится к числу основных языковых универсалий. В то же время ученый указывает на типологическое сходство фонологической системы кабардинского языка с моделью, реконструированной Бенвенистом для индоевропейского [32].

Точку зрения А. Куйперса поддержал У. Аллен [33]. Отмечая недостаточную обоснованность некоторых выводов голландского лингвиста, он подчеркивает, что «не может быть возражения против того, что / а / (= открытость) становится сопутствующей особенностью согласного, как палатализация или лабиализация» [34]. Полемизируя с О. Семереньи, выступившим в защиту традиционной теории пятичленной системы индоевропейского вокализма [35], У. Аллен признает типологическую релевантность западнокавказских языков (в его терминологии — языков северо-западного Кавказа) для фонологической системы индоевропейского [36]. Впрочем, эту идею он выдвинул еще раньше на материале абазинского языка, опираясь на высказывания А. Н. Генко о признаках моновокалической модели в абазинском [37].

Что касается О. Семереньи, то он категорически отвергает попытку типологического обоснования теории моновокализма индоевропейского корня путем привлечения материала западнокавказских языков [38]. На это У. Аллен справедливо замечает, что этноцентрическая позиция (ethnocentric attitude) отнюдь не способствует решению вопроса о типологии

---

[27] Там же.
[28] Там же.
[29] Там же, стр. 50.
[30] Там же, стр. 51.
[31] Там же, стр. 104.
[32] Там же, стр. 104—105.
[33] W. S. Allen, On one-vowel system, стр. 114—123.
[34] Там же, стр. 123.
[35] O. Szemerényi, Structuralism and substratum.
[36] W. S. Allen, указ. соч., стр. 122.
[37] W. S. Allen, Structure and system in Abaza verbal complex, «Transactions of the Philological society», London, 1956.
[38] O. Szemerényi, The new look of Indo-European, стр. 79—81.

вокализма в индоевропейском. У. Аллен принимает положение А. Куйперса об отсутствии противопоставления гласных и согласных фонем в кабардинском языке. Позиция ученого в вопросе о вокализме абазинского языка не отличается устойчивостью. Если в работе 1956 г. У. Аллен, вслед за А. Н. Генко, говорил о моновокализме абазинского языка, проявляющемся в определенных позициях [39], то в работе 1965 г. он вслед за А. Куйперсом отрицает противопоставление гласных и согласных в кабардинском языке, а также в категорической форме утверждает, что «моновокалическая система ясно устанавливается для абазинского языка» [40].

Нужно признать, что теория А. Куйперса выглядит весьма элегантной и заманчивой. Однако построение голландского лингвиста, принятое не только У. Алленом, но и некоторым советскими учеными, вызывает серьезные возражения. Нетрудно заметить, что начальная процедура анализа материала и исходные позиции у Н. Ф. Яковлева и А. Куйперса оказываются общими: трехчленная система вокализма сводится к двучленной путем расчленения гласного *а* на два сегмента — ларингальный и краткий гласный *е*. Что касается выводов А. Куйперса, то они наталкиваются на ряд существенных затруднений.

Прежде всего, представляется малоубедительным рассмотрение гласного *а* как сочетания *eh* в неначальной позиции. Звуковой сегмент, орфографически обозначаемый графемой *а*, в начальной позиции представляет собой сочетание краткого гласного *е* с протетическим ларингальным *h*, несущим чисто фонетическую функцию. Вообще в адыгских языках (кабардинском и адыгейском) ларингальная протеза является спецификой фонетического строения слога: гласные в начальной позиции характеризуются ларингальным приступом. Так, в адыгейском языке начальный гласный *ə* реализуется с ларингальной протезой, т. е. как сочетание *əh*, образуя параллель с *eh* в начальной позиции. Ср. *her* «он», *hənə* «его глаз», но *sənə* «мой глаз». На невозможность чисто вокалического начального слова указывает также иноязычная лексика. Ср., например, субституцию иноязычных гласных *а*, *i*, *о*, *u* сочетаниями с ларингальной смычной протезой *he*, *ha*, *hi*, *ho*, *hu*. Характерно, что старая орфография отражала специфику фонетического строения начального слога иноязычной лексики, т. е. фонетическая адаптация начальных долгих гласных иноязычного происхождения была подтверждена специальным графическим знаком. Таким был, например, принцип передачи иноязычных долгих гласных *а*, *i*, *о*, *u* в начальной позиции в 20 и 30-е годы в адыгских литературных языках: каб. *heprejl* «апрель», *hoktjabr* «октябрь», *hustav* «устав», адыгейск. *hijul* «июль», *hijun* «июнь», *Hispanije* «Испания», *Habram* «Абрам». Современные орфографические нормы не фиксирует произношение начального слога слов разбираемого типа, хотя ларингальная протеза прочно сохраняется в этом слое лексики [41].

В то время как наличие начального консонантного элемента в словах типа *her* (орф. *ar*) «он», *hene* (орф. *ane*) «мать» не вызывает сомнений, материал не только кабардинского, но и других западнокавказских языков вряд ли дает основания трактовать *а* как *eh* в неначальной позиции. Мало удовлетворяет объяснение, исходящее из того, что гласный *а* обнаруживает структурное тождество с дифтонгическими образованиями, т. е. с

[39] W. S. Allen, Structure and system in the Abaza verbal complex, стр. 172.
[40] W. S. Allen, On one-vowel systems, стр. 119.
[41] Заметим, что ларингальное начало — довольно распространенное явление в языках различных типов (Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 149—150). В этой связи заметим, что особенности строения начального слога в языках различных типов с типологической точки зрения могут поколебать и без того спорное объяснение начального /h/ в армянском как рефлекса индоевропейского ларингального. Ср., например, адыгейск. *hen* (* < *an*) «мать», арм. *han* «бабушка».

сегментами *je*, *ej*, *we*, *ew*. То, что в словах *mej* «яблоня», *fəw* «мед» конечными являются сонанты *j*, *w*, очевидно. Нельзя, однако, этого сказать о словах *da* «сшитый», *ža* «бежавший», *txa* «писавший». Последние, по Куйперсу, включают сегмент *eh*: *deh* «сшитый», *žeh* «бежавший», *tx̌eh* «писавший». По его утверждению, формы мн. числа этих причастий должны включать еще сегмент *he*: **dehher* «сшитые», **žehher* «бежавшие», **txehher* «писавшие», что опровергается данными экспериментального анализа. Заметим, что фонологически вполне возможны сочетания типа *ewwe*, *ejje*. Ср. *fewwe* «мед» (обстоятельств. падеж), *mejjex'* «он несет яблоню». Если даже предположить, что сочетание *ehhe*, в отличие от сочетаний *ewwe*, *ejje*, дает *ehe* (в этом случае пришлось бы признать особую специфику отрезков *he*, *eh*), то и тогда формы *deher* «шьющие», *žeher* «бегающие», *tx̌eher* «пишущие» не согласуются с пониманием *a* как сегмента *eh* в неначальной позиции.

Еще менее удовлетворяет трактовка *a* как *eh* в положении между согласными. Экспериментальный анализ не подтверждает наличия *eh* вместо *a* в этой позиции, т. е. в словах типа *maze* «луна», *x̌ade* «огород», *ǯane* «рубашка», *s'abe* «мягкий», *pase* «ранний». Отметим, что интерпретация *a* как *eh* в неначальной позиции не только не подтверждается данными экспериментального анализа, но не имеет реальных оснований с точки зрения соотношений между элементами фонологической системы кабардинского языка. Расчленяя гласный *a* в неначальной позиции на гласный *e* и согласный *h*(*eh*), А. Куйперс не учитывает существенного обстоятельства, связанного с синтагматическими отношениями фонем и их вариантов в исследуемом им языке. В кабардинском в неначальной позиции встречается согласный *h*, причем последний по своему происхождению не связан с долгим гласным, а представляет собой свободный альтернант заднеязычного *x̌*, входящего в состав морфемы мн. числа. Ср. *wəne* «дом» — *wəneher* «домá», *mər* «этот» — *məher* «эти». Именно с ларингальным *h* в морфеме мн. числа А. Куйперс отождествляет ларингальный *h* в сегментах *he*, *eh* (= *a*). По своей физической характеристике ларингальный *h* в сегменте *he* (т. е. в начальной позиции) не отличается от *h* в морфеме мн. числа. Ср. *heherəj* (орф. *ахэри*) «они» (в союзной форме), где начальный сегмент *he* представляет собой корневую морфему, передаваемую орфографически с помощью *a*, сегмент *he* в медиальной позиции — аффиксальную морфему мн. числа.

Согласно А. Куйперсу, сегмент *a* в словах *da* «сшитый», *maze* «луна» заменяется сегментом *eh*: *deh* «сшитый», *mehze* «луна». Однако остается необъясненным, почему при этом ларингальный *h* как часть сегмента *eh* занимает необычное синтагматическое положение: выделенный автором сегмент *eh* никогда не встречается в положении перед гласными. Однако в действительности синтагматически вполне возможно сочетание *ehe*. Из приведенных примеров *wəneher* «домá», *məher* «эти», видно, что кабардинский ларингальный *h* реализуется именно перед гласным; более того, каб. *h* возможен только в положении перед гласным, обнаруживая в этом отношении сходство с англ. *h*. Факт этот свидетельствует о том, что интерпретация гласного *a* как сегмента *eh* в неначальной позиции не подтверждается с точки зрения синтагматики каб. *h*. Что касается сравнения начального *he* с *je*, *we*, то оно фонологически не оправдано: начальные *je*, *we* бифонемны, чего нельзя сказать о сочетании *he* в этой позиции.

Касаясь акцентологических особенностей кабардинского языка, следует отметить, что сохранение ударения на *a* в том случае, «если префиксы прибавляются к моносиллабическому слогу с конечным *ā*»[42], не может

[42] A. H. Kuipers, Phoneme and morpheme in Kabardian..., стр. 35.

также служить надежным основанием для отождествления *a* с сегментом *eh*. Вообще высказывания голландского лингвиста, касающиеся ударения в слове, нельзя считать бесспорными: число примеров, иллюстрирующих иной акцентологический рисунок слова в современном кабардинском языке, гораздо больше, чем он это предполагает.

Нельзя согласиться также с мнением о том, что любой консонантный элемент в сочетании с гласным является реализацией одной фонемы. Попытки элиминировать / ə / вообще не согласуются с фактами западнокавказских языков. Дело в том, что гласная / ə / противопоставляется нулю не только в ударном положении, но и в безударном. Причем противопоставление безударной / ə / нулю становится фонологически релевантным для большого числа значимых единиц, относящихся к разным классам слов. Как отмечалось выше, в адыгских (адыгейском и кабардинском) языках переходные и непереходные парадигмы, имеющие важнейшую функциональную значимость в языках эргативного строя, различаются путем противопоставления гласных (в том числе безударных / ə /, / e /) нулю, из-за чего теоретически невозможно принять положение, согласно которому гласные не различаются на уровне морфем [43]. Степень различительной силы чередования *ə* с нулем особенно возрастает в связи с действием морфологических факторов, на что справедливо указывал Г. Фогт применительно к убыхскому языку [44]. Что же касается предлагаемой А. Куйперсом упрощенной записи безударных кратких гласных, то она не учитывает всех морфологических факторов, обусловленных различительной функцией гласных, в том числе безударной / ə /.

Не ближе к истине и объяснение гласной / e / как признака открытости согласной фонемы. В соответствии с разбираемой теорией сегменты *p'*, *p'ə*, *p'e* в кабардинских словах *p's'en* «полоть», *p'əṣ'én* «мерзнуть», *p'es'éh* «спешить» являются вариантами одного инварианта, т. е. реализациями одной фонемы, хотя различие этих слов зиждется лишь на различии указанных сегментов. Следует согласиться с М. Халле, не без основания отметившим, что таким же путем, т. е. рассматривая гласную как признак открытости согласной, «может быть без особого труда доказано, что все языки лишены вокализма, поскольку мы можем также определить каждый гласный как „признак X", где X может означать открытость (openness), заднее образование (backness), огубление (roundness) и т. д.» [45].

Наконец, рассматривая фонологическую концепцию А. Куйперса, получившую поддержку среди части лингвистов, представляется необходимым отметить, что его исследование построено на материале двух информантов, проживающих за пределами СССР [46], а лингвистическая литература о западнокавказских языках учтена далеко не полностью. Вместе с тем, А. Куйперс, если отвлечься от его теоретических выводов, делает целый ряд тонких и интересных наблюдений над фонологической системой описываемого им языка. Это касается, в частности, дистрибуции отдельных фонем, уточнения позиций их нейтрализации, комбинаторных вариантов и т. д.

Из вышеизложенного видно, что под моновокализмом западнокавказских языков, в сущности, понимаются разные явления. Одни авторы (Н. Ф. Яковлев, А. Н. Генко и др.) признают возможность существования монофонемного вокализма, у других же (А. Куйперс, У. Аллен и др.) речь идет об отсутствии вообще вокализма на фонологическом уровне. Однако ни теория монофонемного вокализма, ни теория отсутствия проти-

[43] Там же, стр. 49.
[44] H. Vogt, Dictionnaire de la langue oubykh, Oslo, 1963, стр. 30—31.
[45] M. Halle, Is Kabardian a vowelless language?, стр. 103.
[46] A. H. Kuipers, Phoneme and morpheme in Kabardian..., стр. 12.

вопоставления согласных и гласных фонем не подтверждаются материалом современных западнокавказских языков.

Западнокавказские языки в их современном состоянии различаются по своему вокализму. Двучленная система вокализма представлена в абхазском и абазинском, трехчленная система — в адыгейском и кабардинском [47]. Для убыхского языка первичность двучленного вокализма также очевидна, хотя в этом языке обнаруживаются некоторые признаки разрушения первоначальной системы вокализма / а / — / ə /. Данные сравнительной и внутренней реконструкции свидетельствуют о древности двучленной системы вокализма. Можно с уверенностью предположить, что двучленная система вокализма восходит к общезападнокавказскому состоянию. Гласные / а / и / ə /, составляющие двучленную систему вокализма, представлены в древнейшем лексическом фонде, восходящем к праязыковой эпохе. Ср., например: абх., убых. *c°a*, абаз. *č°a* «кожа», абх., абаз. *g°ə*, убых. *g'ə* «сердце». В языках двучленного вокализма гласные / а /, / ə / различаются в дистрибутивном плане: гласная / ə / возможна лишь в неначальной позиции. Исключение составляет убыхский язык, где гласная / ə / выступает в начальной позиции в качестве префиксального морфа глагола (ср. *əzbəjan* «я его вижу»).

Трехчленная система адыгского вокализма — новообразование. В трехчленную систему вокализма входят гласные / а /, / ə /, / е /. Хотя не во всех западнокавказских языках гласные как / а /, так и / ə /, являются фонетически тождественными, они (как правильно отметил еще Н. С. Трубецкой) отличаются друг от друга разной степенью открытости [48]. Открытая гласная / а / противопоставляется закрытой, или минимально открытой, гласной / ə /. Гласная / е /, т. е. третий член вокализма адыгских языков, по степени открытости образует среднее звено между открытой / а / и минимально открытой / ə /. Иными словами, признак средней открытости, являющийся фонологически несущественным в языках двучленной системы вокализма, оказывается релевантным в языках с трехчленной системой вокализма. В адыгских языках в начальной позиции гласные реализуются в сочетании с ларингальным *h*. Таковы, например, адыгейск., каб. *her* (орф. *ар*) «он», адыгейск. *hes'°e*, каб. *hefe* «кольчуга», адыгейск. *hən* «его глаз», *hətžəγ* «он написал». В кабардинском языке в начальной позиции невозможен сегмент *ha*, в адыгейском последний встречается как вариант *he*; например, *hape*, *hepe* «сначала». Сегменты *he*, *ha* в постконсонантной позиции изменяются в *e*, *a* (например, каб. *hene* «мать», *sjane* «моя мать», *sjenešx°e* «моя бабушка»). Иными словами, сегменты *he*, *ha*, *e*, *a* могут быть вариантами одного инварианта. Адыгский начальный сегмент *he*(*ha*) в других западнокавказских языках соответствует гласной *a* (ср. адыгское указательное местоимение *her* «он» и генетически тождественный ему артикль *a-* в абхазском, абазинском и убыхском). В таких же фонетических соотношениях находятся и слова иноязычного происхождения, в том числе и поздние заимствования, ср., например, адыгейск., каб. *hesl'en*, абаз. *asljan*, убых. *aslan* «лев».

Анализ материала показывает, что с точки зрения вокализма адыгский ареал во многом оказался зоной инновации. Адыгские / а /, / е /, / ə / по происхождению могут быть отнесены к разным хронологическим периодам. Есть основания предположить, что в закрытом слоге типа адыгейск. *mafe*, каб. *maž°e* «день» гласная / а / относится к западнокавказскому язы-

---

[47] См.: Г. В. Рогава, Абхазско-адыгские языки. Введение, «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 95.

[48] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 108—109.

ковому единству (ср. абх. *amš* < **amaša* «день» [49]). Что касается конечной позиции, то гласная / а / в адыгских языках характеризуется ограниченной дистрибуцией. В кабардинском / а / в конечной позиции встречается только в причастиях типа *da* «сшитый», *tža* «написанный», восходящих к старым формам типа *dayе* «сшитый», *tžəyе* «написанный». В адыгейском языке в абсолютном исходе гласная / а / возможна в словах типа *žeta* «кто», *səda* «что», в которых вопросительная частица является региональной инновацией для адыгских языков. Иными словами, сегмент *а* в абсолютном исходе выполняет морфологическую функцию на адыгской языковой почве. В середине слова *а* нередко оказывается результатом фонетических изменений гласных /е/, /ə/. Например: каб. *пар'е* «веко» (< *пе* «глаз», *р'е* «место»), адыгейск. *pš'ayʷe* «туман» (< *pš'e* «туча», *γʷe* «желтый»), *čemaxʷe* «пастух» (< *čəmə* «корова», *xʷe* «пасти»). Этимологически подобные образования очень прозрачны. Гласная /ə/, хотя и обнаруживает неустойчивость в безударном положении, удерживается в лексических единицах типа адыгейск., каб., абх., абаз. *gʷə*, убых. *g'ə* «сердце», адыгейск., каб. *z'ə*, абх., абаз. *žʷə*, убых. *z'ʷə* «старый», адыгейск., абх., убых. *cʷə*, каб. *və*, абаз. *čʷə* «вол». Характерной чертой подобных слов, содержащих /ə/, является их принадлежность к древнему фонду общезападнокавказских языков, что дает основания отнести /ə/ к их праязыковому состоянию. Возможность позднего (вторичного) происхождения /ə/ в рассматриваемом слое лексики всех западнокавказских языков представляется маловероятной.

В то же время в адыгских языках /ə/, как и /а/, относится к разным хронологическим периодам. Западнокавказская /а/ в адыгских языках часто дает /ə/; случаи соответствия адыгской /ə/ абхазской, абазинской и убыхской /а/ нередки (что, впрочем, не исключает обратного направления — развития абхазской, абазинской, убыхской /а/ из /ə/); ср. адыгейск., каб. *l'ə*, убых. *l'a*, абх., абаз. *š'a* «кровь», адыгейск., каб. *pxʷə*, абх., абаз. *pha*, убых. *px'a* «дочь». К эпохе общеадыгского языкового единства относится продуктивное морфонологическое чередование *е/ə*. Ср. *k'ʷen* «идти» — *k'ʷən* «пройти», адыгейск. *čen*, каб. *žen* «бежать» — адыгейск. *čən*, каб. *žən* «пробежать». К позднейшей эпохе индивидуального развития отдельных адыгских языков, точнее — к периоду после дифференциации общеадыгского языка, следует отнести /ə/ в словах типа каб. *pəhe* < адыгейск. *pahʷe* «шапка».

Что касается гласной /е/ в адыгских языках, т. е. региональной инновации вокализма западнокавказских языков, то по своему происхождению она также гетерогенна. Развитие /е/ из исконной /а/ как будто бы не вызывает сомнений в таких соположениях, как абх., абаз., *sa*, адыгейск., каб. *se* «я»; абх., абаз. *wa*, адыгейск., каб. *we* «ты»; абх., абаз. *šʷa*, адыгейск. *s'ʷe* «вы». Гласная /е/ возводится к общеадыгской /ə/ в сложных словах типа адыгейск. *gʷəs'ʷen*, каб. *gʷəf'en* «радоваться» (ср. *gʷə* «сердце», *s'ʷə*, *f'ə* «хороший»). Гласная /е/ нередко возникает из /ə/ в результате чередования, широко используемого в словообразовательных целях; ср. адыгейск., каб. *zə* «один» > *ze* «однажды», адыгейск., каб. *blə* «семь» > *ble* «семь раз».

Изложенная точка зрения на вокализм западнокавказских языков не является общепринятой среди всех советских специалистов по данной группе языков. Многие авторы выделяют гораздо большее количество самостоятельных гласных фонем в рассматриваемых языках. Развиваемая в

[49] О первичности полногласия в абхазском и абазинском языках см.: К. В. Ломтатидзе, Абхазский язык, «Языки народов СССР», IV, стр. 105; е е ж е; Абазинский язык, там же, стр. 127.

поздних исследованиях Н. Ф. Яковлева точка зрения, согласно которой в адыгских языках различаются семь гласных фонем — краткие /е/, /ə/, долгие /а/, /i/, /u/, /о/, /jе/, находит поддержку среди исследователей [50]. В абхазском кроме /а/, /ə/ выделяют на правах самостоятельных фонем гласные /i/, /о/, /u/, /jе/ [51]. Однако анализ материала показывает, что сегменты, обозначаемые на письме графемами *и*, *о*, *у*, *е*, в одних случаях выступают как бифонемные отрезки, в других — как варианты простых фонем или бифонемных дифтонгов. Ср., например, каб. *jəsən* (орфографически: *исын*) «сидеть внутри», *jesən* (орфографически: *есын*) «плавать». Начальные сегменты, орфографически обозначаемые графемами *и*, *е*, являются бифонемными; в каб. *bəj* = *bij* (орфографически: *бый* = *бий*) «враг» сегмент *i* (орфографически *и*) представляет собой вариант фонемы /ə/. Возможность чередования дифтонгических образований с исконными гласными фонемами свидетельствует о некоторых признаках начинающегося процесса разрушения как двучленного, так и трехчленного вокализма в западнокавказских языках. Этот процесс является спонтанным, в известной степени стимулируясь (особенно за последние 50 лет) действием фактора языкового контактирования (огромный пласт заимствованной лексики, включающей иноязычные вокалические элементы). Вместе с тем в исконном материале так называемые долгие гласные *i*, *u*, *o*, *je* имеют только фонетический статус.

Здесь не представляется возможным сформулировать все правила и условия реализации гласных фонем в западнокавказских языках. Заметим, однако, что в этих языках гласные характеризуются неустойчивостью в безударной позиции, что и послужило поводом для отнесения их к моновокалическому типу. Своей неустойчивостью в безударной позиции особенно выделяется / ə /, поведение которой различно в разных языках. В адыгейском, кабардинском и убыхском языках сегмент *ə* в безударной позиции фонологически может быть как релевантным, так и нерелевантным. В каб. *p'ə̱'en* «мерзнуть», убых. *abəlán* «они спустились» [52] сегмент *ə* в безударной позиции фонологически релевантен (ср. каб. *p'ə̱'en* «полоть», убых. *ablan* «глаз»). В случаях же с каб. *q'ərəjtas'* «он отдал ему», убых. *q'arəcᵒ'a* «мешок» сегмент *ə* в безударной позиции находится в свободной альтернации с нулем, т. е. лишен дистинктивного значения (ср. каб. *q'rəjtas'* «он отдал ему», убых. *q'arcᵒ'a* «мешок»). Иначе обстоит дело в абхазском и абазинском языках, где сегмент *ə*, как правило, приобретает статус фонемы только в ударной позиции. Безударная позиция нерелевантна для *ə* в фонологическом отношении. Иными словами, абхазско-абазинский безударный слог, в сущности, является моновокалическим. В этой связи К. В. Ломтатидзе указывает на то, что в абхазском (как и в абазинском) «гласный *ы* (таково орфографическое обозначение *ə*. — *М. К.*) обычно является ударным; безударный *ы* характеризутся определенной факультативностью (то удерживается, то выпадает или „перемещается" в зависимости от скопления согласных и места ударения, например, *абз*, *абыз*, *бзы*, *бызы* „язык" и т. д.)» [53].

Собственно говоря, утверждения А. Н. Генко, вслед за ним У. Аллена и других о моновокализме абазинского языка оправданы лишь в отношении безударного вокализма. Однако моновокализм безударного слога и моновокализм языка — отнюдь не однозначные явления. Случаи свобод-

---

[50] «Грамматика кабардино-черкесского литературного языка», М., 1970, стр. 28; Б. Х. Балкаров, Фонетика адыгских языков, Нальчик, 1970, стр. 96—97.

[51] «Грамматика абхазского языка», Сухуми, 1968, стр. 13.

[52] Убыхские примеры взяты из словаря: H. Vogt, указ. соч., стр. 31—32.

[53] К. В. Ломтатидзе, Абхазский язык, стр. 103. То же самое отмечается в отношении абазинского; см.: ее же, Абазинский язык, стр. 125.

ного чередования /ə / с нулем еще не доказывают отсутствия этой гласной в системе языка. Ударный вокализм абхазского и абазинского языков является двучленным не только в их современном состоянии, но и в истории развития этих языков.

В свете вышеизложенного становится очевидным, что основные положения теории моновокализма не согласуются с данными истории развития западнокавказских языков и их современного состояния. Анализ материала показывает наличие двучленного вокализма для одного ареала западнокавказских языков и трехчленного вокализма — для другого. Есть достаточные основания считать, что один из ареалов — языки двучленного вокализма — в основных чертах вокалической системы продолжает общезападнокавказское языковое состояние.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что данные западнокавказских языков не могут служить фактором, ослабляющим положение современной теоретической фонологии о противопоставлении гласных и согласных фонем. В то же время материал этих языков способствует укреплению позиции сторонников традиционной теории индоевропейского вокализма, поскольку значительно сокращается (если не сказать — сводится к нулю) число современных языков, относимых сторонниками разбираемой теории к моновокалическому типу. Западнокавказские языки, хотя и чаще всего используются сторонниками теории моновокализма, не могут служить для типологической верификации моновокалической системы индоевропейского или другого реконструированного языкового состояния.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. Т. ВОЙТОВИЧ

О ПОЗИЦИОННОЙ ДОЛГОТЕ ГЛАСНЫХ И РАЗВИТИИ АКАНЬЯ

1. До недавнего времени существовало мнение, что современные восточнославянские языки вообще не знают долгих гласных. Однако постепенно стали накапливаться сведения о наличии в некоторых говорах долготы гласных в предударном слоге. К сожалению, эти данные длительное время оставались разрозненными наблюдениями.

В процессе собирания и обработки материалов для «Диалектологического атласа белорусского языка» привлекли внимание записи начала 50-х годов, в которых ударение почему-то было поставлено на предударном слоге: *вóду*, *кáс'иў*, *трáвы* (несколько населенных пунктов Брагинского, Хойникского и Калинковичского районов Гомельской области БССР). В д. Спярыжка Брагинского района наблюдатели отметили, что «говор характеризуется растягиванием каждого слова и ударением в большинстве слов на первом слоге»: *прáжыв*, *кóл'ис'*, *пáдрос*, *хáджу*, *вáз'ила*, *брáты*. Затем А. А. Кривицким была обследована группа говоров Калинковичского района (7 нас. пп.), прозванных «овтюковскими» по названию сел Большие и Малые Овтюки; в сделанном им кратком описании фонетических особенностей этих говоров отмечался окающе-акающий характер вокализма и наличие долготы и «специфической интонации» в предударном слоге в позиции перед слогом с гласными верхнего подъема под ударением: *вōдý*, *зрōб'ýў*, *мāлы́*, *пл'етý* [1].

В 1958 г. нами с Л. Ф. Шаталовой был обследован говор д. Малые Овтюки, сделана магнитофонная запись. Фонетико-грамматические особенности позволяют соотносить этот говор с говорами юга Белоруссии. Ударенный вокализм характеризуется семифонемным составом гласных: *а*, *о*, *е*, *ō*, *ê*, *у*, *и* (*ы*) и наличием перехода *а* в *о* в позиции перед *ў*: *доў*, *броў*, *прóўда*, а также переходом *а* в *е* перед *j*: *давéй*, *крей*, *продéй*, *М'иколéй*, *хаз'éйка*. Для говора характерно дзеканье и цеканье, твердость шипящих, *ц*, *р*, мягкость согласных перед гласными переднего ряда и другие черты.

Безударный вокализм после твердых согласных является окающе-акающим. В отличие от остальных окающе-акающих белорусских говоров соотношение оканья и аканья осложняется наличием долготы гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге в позиции перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема под ударением: *вōлы́* [2], *Мōсквы́*, *калōсы́*; *кōс'ицý*, *молōдз'ицá*, *Трōх'ім*; *кōжýх*, *пōдýшка*, *пōйдý*, *кōн'ý*, а также, только менее последовательно, перед гласными верхне-среднего подъема *ō*, *ê*: *пōквс*, *кōрōўцы*, *пōйм'ôш*; *пōб'êг*, *голōв'ê*, *кōл'êна*, *кōп'êйка*, *пōв'êц'*. Предударное *о* в этих словах произносится длительно, как бы

[1] А. А. Крывіцкі, Фанетычныя асаблівасці адной з гаворак поўдня Беларусі, «Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР», VI, Мінск, 1959, стр. 102—103.

[2] Знак ¯ обозначает длительность гласного, точка над гласным указывает на слабое динамическое ударение.

нараспев, замечается как бы два ядра гласного: *лóдзы*, тон голоса повышается в начале слога при дальнейшем его снижении в пределах слога и еще большем снижении на слоге, соответствующем ударенному слогу. Поэтому предударный слог звучит сильнее, чем под ударением; в речевом потоке, особенно при быстром темпе речи, создается впечатление переноса ударения на предударный слог: *кóшу*, *вóлы*, *нóс'ила* (тоже и при магнитофонной записи) [3]; окружающее население, передразнивая овтюковцев, также переносит ударение на первый предударный слог и растягивает гласный этого слога.

На осциллограммах отчетливо выступает долгота предударного *о* перед *у*, *и* под ударением (*хōдз'йла*, *на вōйну́*), значительно бóльшая, чем долгота ударенных *у*, *и* в этих словах, и бóльшая, чем долгота *а* в слове *война́*. Амплитуда колебания у предударного *о* перед ударенными гласными верхнего подъема значительно бóльшая, чем перед остальными ударенными гласными. При наличии долготы предударного гласного ударенный гласный почти не выделяется по силе и долготе среди безударных гласных (см. примеч. 4).

В таких же условиях — перед слогом с гласными верхнего и верхне-среднего подъема под ударением — проявляется долгота и восходяще-нисходящее движение тона на предударном *а*: *нāшы́ла*, *трāвы́*, *мāшы́на*; *журāв'йны*, *заплāц'йу́*, *брыгāдз'йр*, *мāл'йны*; *кāпу́ста*, *трāву́*, *гāлу́шка*; *зāвōд*, *нāвōз*, *нāдз'ēу́*.

В остальных позициях длительность предударного гласного не наблюдается, ударение обычное.

Аналогичные явления наблюдаются и в системе вокализма после мягких согласных. Перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема под ударением на месте предударного *е* из *е*, *ě* обычно произносится долгое *е* с восходяще-нисходящим движением тона. При быстром темпе речи также создается впечатление переноса ударения на предударный слог; при нормальном темпе речи слышится слабое ударение на обычном месте: *вēсну́*. Ср. на месте *е*: *б'ēру́*, *с'ēстру́*, *св'ēкру́ха*; *в'ēсны́*, *л'ēшчы́на*, *з'ēмл'й*, *л'ēц'йц'*; *н'ēс'ēш*, *С'ēрг'ēй*; на месте *ē*: *б'ēду́*, *с'ēку́ц'*, *паб'ēл'у́*; *б'ēды́*, *дз'ēды́*, *б'ēдз'ē*. Перед остальными ударенными гласными долгота *'е*, *'а* не наблюдается: *с'елó*, *п'атá*, *п'айé*, *с'естрá*.

Гласные неверхнего подъема после твердых шипящих, *ц*, *р* в позиции перед ударенными гласными верхнего и верхне-среднего подъема также имеют долготу: *шēптýн*, *рēку́*, *жāру́*, *чāсту́шка*; *пчōлы́*, *цāны́*, *чāсы́*, *погрēбы́*; *рēк'й*, *пшēн'йца*; *чāсоу́*, *кашēл'бу́*, *дз'ешēв'ēй*, *цāн'ē*, *рēцē*.

Таким образом, долгота и движение тона предударных гласных неверхнего подъема (*а*, *о*, *е*) в позиции перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема под ударением п о з и ц и о н н о охватывают в с ю с и с т е м у в о к а л и з м а овтюковского говора, но фонематического значения не имеют. Гласные верхнего подъема перед всеми ударенными гласными долготы не имеют.

Обращает на себя внимание связь между позиционным функционированием долгих гласных и механизмом развития аканья. При наличии долготы предударный гласный неверхнего подъема сохраняет свое качество: *вōды́*, *кōшу́*, *хōдз'йла*; *хāрчы́*, *кāпу́ста*, *зāвōд*, что поддерживает различение гласных неверхнего подъема, т. е. оканье. Случаи аканья в по-

[3] Впечатление переноса ударения на предударный слог может объясняться тем, что «русское ударение характеризуется не только большей интенсивностью, но и большей длительностью (в целом) ударного гласного сравнительно с безударным», поэтому «в синтезированном фонетическом слове русской речи, как известно, более долгий гласный производит на слушателя впечатление ударного» (см.: П. С. К у з н е ц о в, К вопросу о происхождении аканья, ВЯ, 1964, 1, стр. 34).

зиции перед гласными верхнего подъема встречаются только спорадически. Перед ударенными *о*, *е* в предударном слоге *о* сохраняется непоследовательно, часто параллельно выступает *а*: *водóйу— вадóйу*, *кан'éм — кон'óм*. Наиболее широко проявляется аканье в позиции перед ударенным *а*: *сахá*, *пашлá*, *гадавáла*, *нагá*, *камáр*, *барадá*, значительно реже здесь произносится *о*: *росá*, *копáц'*. После мягких согласных долгий гласный также сохраняет свое качество: *н'ēсý*, *в'ēсны*, *л'ēц'й*. Как и в остальных окающе-акающих говорах, развитие яканья отстает от развития аканья, поэтому для вокализма после мягких согласных характерно сосуществование еканья и различения гласных неверхнего подъема при слабо развитом яканье (на недолгих гласных): *в'арбá — в'е^{а}арбá*, *п'есóк — п'е^{а}сóк — п'асóк*, *в'еснá*, *с'естрá*, *с'елó* и т. д.; *йармó*, *п'атá — ц'егáц'*, *йечм'éн'у*.

Таблица 1

Гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге		Гласные в слоге под ударением
на месте *о*	на месте *а*	
ō	*ā*	*и*, *ы*, *у*, *ô*, *ê*
о/а	*а*, реже *о*	*о*, *е*
а, реже *о*	*а*	*а*

В остальных безударных позициях вокализм после твердых согласных является окающе-акающим; в конечном открытом слоге обычно произносится *а*: *сáла*, *рáна*. Явственно проявляется тенденция к ассимиляции гласных соседних слогов: *баранá*, но *боронóйу*; *пахавáла*, *каравáц'и — холодóк*, *говōрыла* [4].

Реализация гласных неверхнего подъема и соотношение оканья и аканья в первом предударном слоге представлены на табл. 1.

На таблице наглядно показано сохранение оканья в предударном слоге при долготе гласных неверхнего подъема и развитие аканья при отсутствии долготы. Легкая редукция гласных неверхнего подъема наблюдается и в остальных безударных слогах, что создает условия для развития аканья и в этих позициях: *хóладам*, *мáла*. Поэтому аканье в овтюковском говоре, в отличие от остальных окающе-акающих говоров, более представлено во второй безударной позиции, чем в первой, так как в первом предударном слоге оно сдерживается долготой предударного гласного.

О наличии редукции безударных гласных в овтюковском говоре свидетельствует довольно распространенная утрата начального гласного *о* или *а*: *дна* «одна», *в'éчка* «овечка», *в'ос* «овес» и стяжение гласных на стыке слова: *аднó кнó*, *у дз'éжы* «у адз'ежы».

Таким образом, длительность, большая интенсивность произношения предударного гласного задерживают развитие аканья, так как этим создаются условия для сохранения качества гласного. Предударные *о*, *а* в позиции перед ударенными гласными неверхнего подъема произносятся значительно короче, с ослаблением напряженности артикуляции, с легкой редукцией. Редукция гласного приводит к ослаблению или утрате лабиализации *о*, к произношению слегка редуцированного гласного типа *ŏ*, *ă* или звука, среднего между *о*, *а* (типа *о^{а}*). Ослабление или утрата дифференциальных признаков ведет к совпадению *о* с *а*, т. е. к развитию аканья. Наибольшее развитие аканья наблюдается в позиции перед ударенным *а*, что широко распространено и в остальных белорусских окающе-акающих говорах.

Позиционная долгота гласных неверхнего подъема перед ударенными гласными верхнего и верхне-среднего подъема известна также в ряде го-

[4] Более подробно о вокализме овтюковского говора см.: Н. Т. Войтович, К вопросу о путях развития аканья в восточнославянских языках, сб. «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970», М., 1972 (на стр. 21 см. осциллограммы слов с позиционной долготой гласных).

воров Черниговской области УССР. Впервые эта особенность была описана в статье О. Курило о говоре с. Хоробричи Городнянского района, где безударное *а* (из *а* и *о*, так как говор акающий), а также *ä* и *е* (несколько реже) звучат сильней и с большей долготой перед ударенным слогом с гласными верхнего и верхне-среднего подъема: *тāдí*, *кāлѣ́ка*, *пāйдý*, *С'ā́рг'ѣй*, *пāдн'ā́сý* [5]. Указание на долготу гласных в такой же позиции находим у О. Синявского для говора с. Любеч [6], у Ф. Т. Жилко для говоров нескольких населенных пунктов Любечского и Рипкинского районов [7], у З. Г. Николаенко для говоров Любечского района [8].

Достоверность наблюдений о позиционной долготе гласных неверхнего подъема в акающих черниговских говорах подтверждается экспериментальными исследованиями, проведенными в 60-х годах А. С. Белой. В говорах Щорского и Городнянского районов *а* из *а*, *о* приобретает долготу перед слогом с ударенными гласными *і*, *и*, *у*, *е*, *i͡e*: *рāб'і*, *пāйдý*, *вāйн'é*, *тāб'i͡e*, спорадически перед *о*, *ᵛо* (возможно, перед *б*, *ê*? — *Н. В.*). Сопоставление осциллограмм функционирования *а*, *е* в ударенном, предударных и заударных слогах показывает наибольшую длительность *а*, *е* в первом предударном слоге перед гласными верхнего подъема: для *а* — от 140 до 220 мсек, для *е* — от 120 до 180 мсек (*е* под ударением — всего 80—100 мсек) [9]. Таким образом, условия функционирования долгих гласных в черниговских говорах аналогичны овтюковским. Сопоставление систем вокализма в этих группах говоров указывает на их большое сходство, обусловленное генетическими связями. Различие заключается в том, что в черниговских говорах уже развилось аканье и в значительной степени яканье, а овтюковский говор еще окающе-акающий с весьма слабым проявлением яканья.

Следует обратить внимание на то, что выдвижение предударного слога, долгота гласного в предударном слоге известны и ряду русских говоров. Характерной чертой описанного Р. И. Аванесовым говора б. Переславль-Залесского уезда является сильное удлинение предударного слога с заметным повышением тона на начале предударного слога при дальнейшем его понижении в пределах слога; в первом предударном слоге сохраняется оканье, в единичных случаях слышится *а*: *ана́*, *тавб́*. В остальных предударных слогах наблюдается редукция гласных, особенно сильная во втором предударном слоге [10]. Аналогичные явления наблюдаются и в других владимирских говорах, которые характеризуются отчетливым, сильным произношением первого предударного слога при частой редукции второго предударного и заударных слогов [11]. Еще Н. Н. Дурново отмечал, что большинство окающих говоров б. Нижегородской и Симбирской губ. отличается особой интонацией, пред-

---

[5] О. Курило, Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів, Київ, 1924, стр. 14—15, 36—38.

[6] О. Синявський, Замітки про мову с. Любеча на Чернігівщині, «Мовознавство», 1934, 1, стр. 92—93.

[7] Ф. Т. Жилко, Перехідні говірки від української до білоруської мови в північно-західних районах Чернігівщини, «Діалектологічний бюлетень», IV, Київ, 1953, стр. 11—12.

[8] З. Г. Николаенко, Говоры Любечского района Черниговской области. АКД, Ужгород, 1952.

[9] О. С. Біла, Довгі голосні в зоні українсько-білоруських міждіалектних контактів, «Праці XIII республіканської діалектологічної наради», Київ, 1970.

[10] Р. И. Аванесов, О говоре Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии, «Труды постоянной комиссии по диалектологии русского языка», 9, Л., 1927, стр. 67—68, 70.

[11] Г. Ф. Нефедов, Оканье в севернорусских говорах, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 2, 1947, стр. 28.

ударный слог произносится с сильным повышением, что производит впечатление двух ударений в слове; наблюдается редукция в не первых перед ударением и заударных слогах [12].

Эти наблюдения подтверждаются новейшими данными. Среди восточных среднерусских говоров специфическими особенностями безударного вокализма выделяется Владимирско-Поволжская группа. Гласные первого предударного слога в этих говорах произносятся почти с той же силой, что и гласные под ударением, а гласные других предударных слогов всегда значительно слабее и короче гласных как ударенного, так и первого предударного слога. Поэтому во втором предударном слоге возможна редукция предударных гласных, приводящая в некоторых говорах к нулю звука в речевом потоке. В первом предударном слоге, как и под ударением, гласные находятся в сильном положении, вследствие чего существует последовательное различение гласных неверхнего подъема после твердых (оканье) и после мягких согласных. В заударных слогах возможно непоследовательное неразличение гласных, *а* и *о* могут совпадать в *ъ*, в южной части существует последовательное неразличение и совпадение их в звуке *ъ* или *а* [13].

Обращает на себя внимание, что во владимирско-поволжских говорах, как и в овтюковских и черниговских, существует долгота предударного гласного, отмечается бóльшая сила и специфическая интонация при его образовании, выдвижение и сила предударного слога при большем ослаблении остальных предударных и заударных слогов. Однако из этих сообщений остается неясным, в каких условиях предударные гласные имеют долготу, зависит ли появление долготы на предударном гласном от качества гласного под ударением. Если в этих говорах обнаружатся следы позиционной долготы гласных, зависимость предударного гласного от качества гласного под ударением, то в этом следует усматривать явления, аналогичные позиционной долготе гласных овтюковского и черниговского типа, дошедшие до нашего времени в более разрушенном и стертом виде. В таком случае можно будет сделать вывод, что позиционная долгота имела место на значительно большей части восточнославянской территории, чем мы знаем об этом сейчас. Поэтому изучение явления долготы гласных предударного слога во Владимирско-Поволжской группе говоров, а также и в других русских говорах, где она будет обнаружена, приобретает первостепенное значение.

Кроме того, следует обратить внимание на перенос ударения на первый предударный слог, отмеченный в местных и устаревших словах в ряде современных русских говоров — псковских, костромских, кировских и архангельских. Возможно, что перенос ударения на предударный слог, выявленный В. В. Колесовым в акцентованных севернорусских памятниках: *двóра*, *двóру*, *двóромъ*, *двóрѣ*, *двóри*, *двóровъ* и т. д., отразил в некоторых памятниках не развитие свободного неподвижного ударения, а передачу долготы гласного первого предударного слога.

Характерно, что в приведенных В. В. Колесовым примерах ударение более последовательно ставится на первом предударном слоге перед ударенными гласными верхнего подъема, тогда как перед *а*, *о* возможны параллельные написания: *гóрахъ* — *горáхъ*, *двóровъ* — *дворóвъ*. Автор указывает, «что к XVI в. северные русские говоры почти последовательно развили свободное неподвижное ударение во всех грамматических категориях слов». «В дальнейшем, в эпоху образования национального русско-

[12] Н. Н. Дурново, Отчет экспедиции для определения границы оканья и аканья, «Труды МДК. РФВ», 71, 2, Варшава, 1914, стр. 371.

[13] «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», М., 1970, стр. 357—359, 378.

го языка, развитие акцентуационных типов, определяемое исторической традицией и, надо полагать, так и не достигшее полной завершенности для всех типов слов, было прервано интенсивным влиянием общерусских норм, и древнее севернорусское ударение сохранилось только в виде остатков, хотя и значительных временами (особенного внимания заслуживают старые записи по отдаленным районам Костромской области)»[14]. Встает вопрос: не подобно ли это явление выдвижению предударного слога во владимирско-поволжских говорах, но прерванному в своем развитии? Ответ на этот вопрос требует тщательной проверки диалектного и исторического материала.

2. Не менее важен вопрос о связи между условиями развития аканья и функционированием позиционной долготы в говорах восточнославянских языков.

Обращает на себя внимание, что аканье при позиционной долготе в черниговских говорах имеет некоторое сходство с диссимилятивным аканьем архаического типа (это было отмечено О. Курило для говора с. Хоробричи[15], вокализм которого мы приводим в качестве примера на табл. 2, так как в нем сохранились гласные *ô*, *ê*):

Таблица 2

Аканье в говоре с. Хоробричи			Диссимилятивное аканье архаического типа		
гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге		гласные под ударением	гласные неверхнего подъема в первом предударном слоге		гласные под ударением
на месте *о*	на месте *а*		на месте *о*	на месте *а*	
ā *а*, *ă*		*и*, *ы*, *у*, *ô*, *ê*, *а*, *о*, *е*	*а* *ъ*		*и*, *ы*, *у*, *ô*, *ê*, *а*, *о*, *е*

Общим для этих типов вокализма является: а) бóльшая длительность гласных неверхнего подъема в позиции перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема, б) зависимость качества предударного гласного от характера гласного под ударением, в) совпадение *а* и *о* перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема в *а*. Различие между обоими типами вокализма заключается только в степени длительности гласных неверхнего подъема перед гласными верхнего и верхне-среднего подъема и в степени редукции их перед гласными неверхнего подъема, т. е. связано с количественными отношениями. В черниговских говорах гласные неверхнего подъема имеют бóльшую долготу перед гласными верхнего подъема и бóльшую долготу и полновесность перед гласными неверхнего подъема, чем при диссимилятивном аканье архаического типа.

Таким образом, сходство этих типов вокализма проступает явственно. Но считать вокализм говора с. Хоробричи диссимилятивным в его первичной или одной из первичных стадий, как это делала О. Курило[16], нет оснований: это недиссимилятивное аканье, сопровождающееся развитием в начальной стадии недиссимилятивного (сильного) яканья. Недиссимилятивное аканье развилось и в остальных черниговских говорах с пози-

[14] В. В. Колесов, О некоторых особенностях фонологической модели, развивающей аканье, ВЯ, 1964, 4, стр. 68—70.

[15] О. Курило, До питання про умови розвитку дисимілятивного акання, «Зап. істор.-філолог. відділу Укр. акад. наук», кн. XVI, Київ, 1928, стр. 48, 60, 62—64.

[16] Там же, стр. 62.

ционной долготой гласных. Недиссимилятивное аканье на основе оканья развивается и в овтюковских говорах. В связи с этим создается впечатление, что принципиальной разницы между недиссимилятивным аканьем в говорах с позиционной долготой и диссимилятивным аканьем архаического типа нет, различие заключается лишь в количественных отношениях гласных.

Мысль об отсутствии принципиальной разницы в развитии диссимилятивного и недиссимилятивного аканья может показаться парадоксальной. Может быть, сходство возможно только в говорах с сохранением позиционной долготы гласных неверхнего подъема перед гласными верхнего подъема и при архаическом типе аканья?

Весьма интересны наблюдения О. Брока над говорами с диссимилятивным аканьем. В ивонинском говоре он отмечал, кроме общего экспираторного выделения ударенного слога, и выделение первого предударного слога среди остальных безударных, его бóльшую экспираторную силу и высокий тон. Гласный *а* (на месте *о*, *а*) в первом предударном слоге в позиции перед «не-*а*» под ударением заметно удлиняется, достигая, если не превышая, по степени длительности гласный под ударением: *вады́*, *ваду́*, *вадóй*. Произношение «по слогам», «поющий» тон голоса особенно заметны у стариков и детей. То же самое отмечается автором и в других говорах этой местности (с. Котово, Шелоки, Сельцо и др.). В с. Котово старый темп речи — замедленный; предударный слог «лежит выше», в ударенном слоге тон более низкий [17]. Нам представляется, что эти наблюдения О. Брока также позволяют установить некоторые параллели с развитием аканья в овтюковских и черниговских говорах: удлинение и более высокая тональность предударного гласного, спад тона на ударенном слоге, зависимость предударного гласного от качества ударенного и т. д.

Обратимся к современным говорам, развивающим аканье. Оказывается, что реакция предударного гласного на качество или подъем ударенного наблюдается не только в овтюковских, но и в остальных окающе-акающих белорусских говорах. В говорах западной и южной части Гомельской области вследствие реакции предударного гласного на качество ударенного при развитии аканья создаются различные варианты вокализма переходного типа: а) начальный этап — ассимилятивное аканье при оканье, при котором *а* на месте *о* появляется в позиции перед ударенным *а*: *вадá*, но *воды́*, *водóй*; б) аканье перед гласными верхнего и нижнего подъема, в одних говорах еще непоследовательное, в других — последовательное: *вадá*, *вады́*, *ваду́*, но *водóй*, *водз'ê*; в) аканье с ассимилятивным оканьем, при котором *о* сохраняется только в позиции перед ударенным *о*: *водóй*, но *вадá*, *вады́* и т. д. Обычно эти типы вокализма не выдерживаются в «чистом виде», но отмеченные этапы развития аканья зафиксированы во многих говорах.

Итак, в говорах, развивающих недиссимилятивное аканье, имеют место как будто диссимиляционные процессы: появляется *а* перед ударенным «не-*а*»: *вады́*, *ваду́*, *кас'и́*. С другой стороны, широко проявляется ассимиляция гласных: а) на месте *о* ранее всего появляется *а* перед ударенным *а*: *вадá*; б) появляется *а* вместо *о* и в других предударных слогах при наличии *а* под ударением: *халаднавáта*; в) удерживается *о* перед ударенным *о*, а также и в других предударных слогах при наличии *о* под ударением: *холодóк*, а также в заударных слогах при наличии *о* в конце слова: *кáждого*, *дуббóвого*.

Хотя в окающе-акающих говорах Белоруссии устанавливается определенная зависимость предударного гласного от природы ударенного,

[17] О. Брок, Говоры к западу от Мосальска, Пг., 1916, стр. 7—10, 42, 89, 126.

эти связи к развитию диссимилятивного аканья не ведут. По мере развития аканья, охвата аканьем всех позиций, в первом предударном слоге исчезает зависимость от гласного ударенного слога и устанавливается недиссимилятивное аканье, которое охватывает и остальные безударные слоги, позже всего — конечный открытый слог.

Аналогичные этапы развития аканья из оканья засвидетельствованы и в русских говорах. Оканье с асимилятивным аканьем отмечено в некоторых говорах Московской, Владимирской, Горьковской и Калининской областей, аканье с ассимилятивным оканьем — в нескольких населенных пунктах Калининской области [18].

При вокализме полновского и гдовского типа в псковских говорах также проявляется зависимость предударного гласного от ударенного. В гдовских говорах на месте *о*, *а* в первом предударном слоге произносится только *а* в позиции перед гласными верхнего и нижнего подъема под ударением. Перед ударенными *о*, *е* имеется различение *о* и *а*, т. е. сохраняется оканье (ср. конковичский тип в Белоруссии). Существует разновидность этого типа с произношением перед ударенным *о*, *е* гласного, близкого к *у*: *курóва*, *уд'бжа*, *ку мн'é*. Аналогичная зависимость предударного гласного от ударенного наблюдается и в системе после мягких согласных: *'а* — перед *а*, *и*, *ы*, *у*: *р'акá*, *йамý*, *з'амл'й*; перед *о*, *е* произносится *е*: *т'еб'é*, *с'ест'óр*, в говорах с «уканьем» — *и*: *р'икóй*, *д'ит'éй* [19].

При вокализме полновского типа неразличение гласных неверхнего подъема имеет место только перед ударенными гласными верхнего подъема, в остальных позициях сохраняется различение *о* и *а*; то же самое наблюдается и в системе после мягких согласных, при этом проявляются элементы аканья и яканья при различении гласных неверхнего подъема, что свидетельствует о тенденции к развитию недиссимилятивного аканья. Описавшая эти говоры Т. Ю. Строганова справедливо считает, что псковское недиссимилятивное аканье и яканье являются последующим этапом развития гдовского и полновского вокализма [20].

Встает вопрос: является ли зависимость предударного гласного от характера ударенного, наблюдаемая в гдовских, полновских и белорусских окающе-акающих говорах, проявлением диссимилятивного принципа? Почему этот принцип исчезает при дальнейшем развитии аканья (в этих говорах развивается недиссимилятивное аканье)? Можно ли говорить о «наложении» диссимилятивного принципа на вокализм юго-западных и южных белорусских говоров, развивающих аканье недиссимилятивного типа? В какой связи находятся явления диссимиляции и ассимиляции в вокализме диссимилятивного типа и окающе-акающих говоров, развивающих недиссимилятивное аканье?

Общеизвестен факт диссимилятивной зависимости гласных первого предударного слога от качества ударенного гласного в говорах с диссимилятивным аканьем. В говорах северо-восточной Белоруссии с диссимилятивным аканьем жиздринского типа явственно выступает принцип диссимиляции: этимологические *о*, *а* совпадают в звуке *а* перед всеми ударенными гласными, кроме *а*: *вады́*, *ваду́*, *вадóй*, *вадз'é*; перед ударенным *а* выступает «не-*а*», т. е. *ъ* — *ы*, *у*, иногда *ă*: *въдá* — *выдá* — *вăдá*, *кумáр*.

---

[18] «Русская диалектология», под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, М., 1964, стр. 39—41.

[19] Т. Ю. Строганова, Предударный вокализм северо-запада Псковской области, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, III. М., 1962, стр. 101—111; «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», стр. 422—424.

[20] «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», стр. 443.

Явления диссимиляции в этих говорах нередко наблюдаются и в других предударных слогах аналогично диссимиляции гласного первого предударного слога перед гласным под ударением: на месте *о*, *а* во втором предударном слоге произносится *а* при наличии *и*, *ы*, *у* в первом предударном слоге: *пац'игáй*, *палучáй*, *вас 'ил'бк*, *гарбузá*, но появляется *ъ* — *ы*, *у* при наличии *а* в первом слоге: *гълавý*, *мълады́*, *стынав'ú*, *кумары́*. В ряде говоров отмечены подобные отношения между гласными заударного и ударенного слогов.

Однако подобные явления реакции гласных второго предударного слога на гласные первого предударного слога отмечены и в говорах с позиционной долготой гласных, где удлиняется, заметно повышается тон голоса на *а* во втором предударном слоге при гласных верхнего подъема в первом слоге перед ударением: *зāгуб'úй*, *пāзб'ирáла*, *пāхудáла*, чем создается впечатление наибольшей полновесности и силы этого слога (д. Деражичи и Ручеевка Лоевского района Гомельской области БССР)[21]. Спорадически отмечено *ā* во втором предударном слоге в черниговских говорах: *нā лугáх*, *нā гунн'é* [22]. Отмечена реакция гласного второго предударного на гласный первого предударного слога и в гдовских говорах: если в первом предударном слоге *и*, *ы*, *у*, то во втором предударном произносится *а*: *валукнó*, *падугр'éла*; при *а* в первом предударном во втором предударном появляется *ъ* — *ы*, *у*: *хырашó*, *мулакó*, реже встречаются: *мулукó*, *малакó* [23].

Вместе с тем, в говорах с диссимилятивным, как и с недиссимилятивным аканьем, распространены процессы ассимиляции гласных безударных слогов: редуцированные безударные гласные ассимилируются гласным ударенного или более сильного безударного слога, соседним губным или заднеязычным согласным: *пуруб'úй*, *дýмуйучы*, *пугудувáла*, *гóлуду*; *жаватнавóд*, *балá*, *бамáжка* (северо-восточные белорусские и смоленские говоры) [24]. Следует учесть, что недиссимилятивное аканье на месте диссимилятивного также возникает ассимилятивным путем, т. е. вследствие перехода редуцированного гласного в первом предударном слоге в *а* при наличии *а* под ударением: *въдá* > *вāдá* > *вадá* (в говорах северной половины Минской и западной части Витебской области Белоруссии).

Аналогичные процессы развития недиссимилятивного аканья на месте диссимилятивного наблюдаются и в русских говорах. В орловских говорах недиссимилятивное аканье сочетается с разными типами диссимилятивного и умеренно-диссимилятивного яканья; в системе вокализма после твердых согласных встречаются следы ранее существовавшего тут диссимилятивного принципа — произношение *ъ*, *у*, *ы* на месте *о*, *а*: *дъмá*, *цынá*, *рукувá*, *гóрът* [25]. В говорах Белгородской и Воронежской областей отступления от диссимилятивной системы также наблюдаются чаще всего в вокализме после твердых согласных: появление *а* перед ударенным *а* свидетельствует о нарушении самого диссимилятивного принципа и развитии недиссимилятивного аканья [26].

---

[21] Т. С. Янкова, Гласные в переходном говоре Лоевского района, «Уч. зап. Гомельск. пед. ин-та», 3, Минск, 1956, стр. 153.

[22] О. С. Біла, указ. соч., стр. 248.

[23] «Образование севернорусского наречия...», стр. 428—430.

[24] Н. Т. Вайтовіч, Ненаціскны вакалізм народных гаворак Беларусі, Мінск, 1968, стр. 182—184; П. А. Расторгуев, Говоры на территории Смоленщины. М., 1960, стр. 45—48, 51—53.

[25] С. И. Котков, Говоры Орловской области со стороны их вокализма, «Уч. зап. Орловск. гос. пед. ин-та», V, Кафедра русск. языка, 2, 1951, стр. 58—60, 97, 101—102.

[26] К. Ф. Захарова, Архаические типы диссимилятивного яканья в говорах Белгородской и Воронежской областей, «Материалы и исследования по русской диалектологии», I, М., 1959, стр. 15, 24, 44, 51.

Рассмотренные диалектные материалы также позволяют сближать пути развития диссимилятивного и недиссимилятивного аканья, показывают, что между этими типами вокализма нет непреодолимого разрыва.

3. Наличие диссимиляционных и ассимиляционных отношений между гласными первого предударного и ударенных слогов в современных говорах с диссимилятивным аканьем и в окающе-акающих, развивающих недиссимилятивное аканье, а также между гласными второго и первого предударного слогов указывает на сложные причины таких явлений и не позволяет объяснять их только действием принципа диссимиляции.

Обращает на себя внимание, что зависимость гласных предударного слога от гласного под ударением при аканье обычно носит характер противопоставления гласных неверхнего подъема гласным верхнего подъема. Экспериментальные данные, полученные Л. В. Златоустовой и др., показывают, что в современном русском языке гласные верхнего подъема являются более краткими, чем гласные неверхнего подъема. Наиболее длительными гласными являются *а* и *о*, затем следует *е*; более краткие гласные—*у*, *ы*, *и*. Наиболее ярко выступает различие этих групп гласных под ударением в абсолютном начале и в конце слова [27]; эти группы гласных различаются и в безударных слогах: «узкие» — *и*, *ы*, *у*, «широкие» — *а*, *о*, *е*. Четкое различение «узких» и «широких» гласных наблюдается, например, в абсолютном начале слова, где абсолютная длительность гласных в первом предударном слоге в позиции перед сонантом в начале фразы равна для *а*, *о* — 87, *е* — 79, *ы*, *и*, *у* — 67. Длительность гласного второго предударного слога падает по сравнению с длительностью гласного первого предударного слога и абсолютного начала слова. Отношение длительности группы *а*, *о*, *е* к общей длительности слова в разных позициях большее, чем у группы *ы*, *и*, *у*. Максимальная степень количественной редукции свойственна «широким» гласным; максимальная редукция отмечена у гласных первого заударного слога [28].

Таким образом, различение гласных верхнего и неверхнего подъема в современном русском языке связано с количественными отношениями, которые, как один из признаков, находятся в соответствии с определенным уровнем напряженности, интенсивности и т. д. Конечно, эти количественные отношения отличаются от древних количественных отношений гласных; тем не менее понимание количественной стороны взаимоотношений современных гласных помогает понять некоторые явления, в частности, дает возможность объяснить позиционную зависимость гласных первого предударного слога от гласных под ударением. Перед более краткими гласными *и*, *ы*, *у* произносится более долгий гласный *а* (из *а*, *о*) при разных типах диссимилятивного аканья и в современных окающе-акающих говорах (белорусских и гдовско-псковских), развивающих недиссимилятивное аканье. Особенно ярко вскрывается это противопоставление в говорах с позиционной долготой: *ā*, *ō*, *ē* перед *у*, *ы*, *и*. Появление *а* отмечено в ряде говоров с диссимилятивным аканьем и позиционной долготой во втором предударном слоге при *ы*, *и*, *у* в первом слоге, иногда такие соотношения наблюдаются и в заударных слогах. Перед гласными с большей длительностью (*а*, *о*, *е*) гласные неверхнего подъема произносятся короче: *ъ* перед *а*, *о*, *е* в архаическом типе диссимилятивного аканья, *а*, *ă* — в чернигов-

[27] Л. В. Златоустова, Длительность гласных и согласных звуков русского языка, «Уч. зап. Казанск. гос. ун-та», 114, кн. 6, 1954, стр. 107.

[28] Л. В. Златоустова, И. Г. Фролова, Е. В. Ленина, И. П. Оловянникова, И. Ф. Бывшева, Исследование длительности неударных гласных в зависимости от фразовых условий, сб. «Семантические и фонологические проблемы прикладной лингвистики», М., 1968, стр. 74, 89—91, 93—95, 97—98, 103.

ских с позиционной долготой. Следует учесть, что в говорах *о*, *е* могут функционировать как гласные верхнего или нижнего подъема, что вызывает соответствующую реакцию предударного гласного и определяет тип диссимилятивного аканья — яканья.

Редуцированные гласные в первом предударном слоге появляются перед более длительными ударенными гласными: *ъ* перед *а* (жиздринское аканье), *ъ* перед *а*, *о*, *е* (архаический тип диссимилятивного аканья). Аналогичная картина наблюдается и в системе после мягких согласных: *и* перед ударенным *а* (жиздринское яканье), *и* перед *а*, *е*, *ё* (суджанское яканье), *и* перед *а*, *о*, *е* (обоянское яканье) и т. д.

Количественными отношениями гласных предударного и ударенного слогов хорошо объясняется наличие различных этапов развития аканья из оканья, факт начального этапа развития аканья именно в позиции перед ударенным *а*: перед более длительным гласным *а* в говорах, где намечается развитие аканья, предударные *о*, *а* произносятся слабее, *о* теряет лабиализацию и переходит в *а*; затем развивается произношение длительного гласного *а* перед краткими гласными верхнего подъема. Перед гласными среднего подъема *о*, *е* дольше удерживается различение гласных, поддержанное сохранением лабиализации *о* перед ударенным *о* вследствие ассимиляции гласных. В окающе-акающих говорах происходит ассимиляция более слабых безударных гласных более длительным *а* и *о* под ударением: *халаднава́та*, *холодо́к*.

При переходе от фонологического принципа оканья к аканью происходит перераспределение количественных отношений безударных и ударенных слогов, чем определяются начальные этапы развития аканья. Акающий вокализм развивается из фонологически ослабленной системы в связи с позиционным перераспределением количества. В зависимости предударного гласного от природы ударенного отражаются следы существовавших ранее количественных отношений между гласными этих слогов, а также проявляются современные количественные отношения, воспринимаемые нами как отношения гласных по качеству или по подъему и создающие впечатление диссимилятивной системы [29].

Еще преждевременно делать окончательные выводы о причинах, времени и территории возникновения позиционной долготы гласных, так как нам известны далеко не все говоры, где сохранилась эта особенность. Кроме того, уже сейчас обнаружены говоры с долгими гласными не только в первом предударном слоге. В белорусских говорах мне известна не только позиционная долгота в первом предударном слоге, но и долгота гласных под ударением. В некоторых говорах эти виды долгот сосуществуют (с преобладанием одного или другого типа), в других долгота представлена только в одной позиции. Поэтому представляется очень важным выяснить взаимосвязи между функционированием долгот в разных позициях, определить тенденции в их развитии. Но это — предмет дальнейшего исследования.

Пока только можно сказать, что позиционная долгота по сравнению со старыми долготами — явление новейшего происхождения, возникшее в период сокращения исконно долгих гласных *и*, *ы*, *у*, вызвавшего возместительное удлинение гласных предударного слога. Последнее само по себе является фактом относительно позднего времени, и, вероятно, связано с падением редуцированных, при котором также происходило возместитель-

[29] На основе экспериментальных исследований Г. Конечна высказала мнение о развитии диссимилятивного аканья в русском и белорусском языках вследствие различий в количественных признаках гласных, а не вследствие диссимиляции их: перед самым долгим гласным *а* появляется самая сильная редукция предударного гласного, самыми краткими гласными являются *и*, *ы*, *у* (Г. Конечна, Ассимиляция и диссимиляция, ВЯ, 1958, 3, стр. 93).

ное удлинение предшествующего слога. Сам принцип позиционного разграничения долгот уже изменился: здесь наблюдается позиционная зависимость любого предударного гласного неверхнего подъема (в том числе и исконно кратких *о*, *е*) от природы ударенного гласного. Количественная зависимость гласного предударного слога от гласного под ударением, гласного второго предударного слога от гласного первого предударного — это принцип синтагматического взаимодействия уже нового времени. В современных же говорах позиционная долгота является архаизмом, реликтом более старых количественных взаимоотношений гласных первого предударного и ударенных слогов; трактовать позиционную долготу как явление, характерное для современных говоров, не следует.

Овтюковский путь развития аканья при позиционной долготе гласных первого предударного слога — это, вероятно, один из возможных путей развития аканья в более ранний период. В современных говорах аканье развивается без наличия позиционных долгот гласных, но следы количественного перераспределения между гласными первого предударного и ударенного слогов еще сохраняются на начальных этапах развития аканья из оканья. Овтюковские говоры, сохранившие позиционную долготу, наиболее ярко показывают начальные этапы развития аканья из исходной фонологически ослабленной системы. Аканье в этих говорах возникло позднее развития позиционной долготы, оно развивается в специфических условиях, поэтому процесс его становления несколько отличается от развития аканья в современных русских и белорусских говорах. Однако именно овтюковские говоры помогли понять характер взаимодействия между гласными первого предударного и ударенного слогов, объяснить причины реакции гласных предударного слога на характер ударенного гласного в остальных современных говорах, развивающих недиссимилятивное аканье. Там, где сохранялась позиционная долгота гласных первого предударного слога, в этой позиции задерживалось развитие аканья (овтюковские говоры), в черниговских говорах аканье развилось и в долгих слогах (единичные примеры этого процесса наблюдаются и в овтюковских говорах), долгота предударного слога задержала развитие аканья в первом предударном слоге во владимиро-поволжских говорах.

Детальное экспериментальное исследование позиционной долготы и сопутствующей ей интонации, выяснение причин и времени ее возникновения, территории распространения, привлечение данных акцентованных памятников письменности дадут, вероятно, новые доказательства происшедшего некогда удлинения гласных неверхнего подъема в позиции перед гласными верхнего подъема, ярче вскроют связи этого явления с развитием аканья.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

Н. Н. ПШЕНИЧНОВА

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОЧЛЕННОГО ДИАЛЕКТНОГО СООТВЕТСТВИЯ[1]

(Глухие долгие шипящие в русских говорах)

1.1. С помощью статистического метода здесь изучаются диалектные фонетические соответствия литературному *ш'ш'* (или менее распространенному *ш'ч'*) не на стыке морфем, т. е. внутри корневой морфемы или аффиксальной (*щука*, *ящик*, *ямщик*, *ищу* и под.). Указанный круг случаев является наиболее широким и частотным из всех, в которых представлены глухие долгие шипящие или их соответствия [2], т. е. он может быть представлен большим, практически неограниченным числом примеров.

1.2. Предлагаемый статистический метод может быть применен лишь при анализе такого материала, который отражает сосуществование независимых и равноправных признаков, т. е. таких, какими по определению являются члены диалектного соответствия или, по терминологии Р. И. Аванесова, соответственного явления [3]. Именно такими признаками являются и рассматриваемые здесь разновидности произношения: они находятся в отношениях либо строгой соответственности (при отсутствии сосуществования разновидностей произношения в одном говоре), либо в отношениях свободного варьирования (в случае сосуществования разновидностей произношения в одном говоре).

2. 1.1. При статистическом анализе многочленного диалектного соответствия возникает ряд вопросов. К наиболее важным из них относятся следующие.

1) Выяснить характер распределения говоров по относительным частотам членов диалектного соответствия (или изучаемых признаков, или для случая, анализируемого ниже, разновидностей произношения), а именно выяснить следующее обстоятельство: объединяются ли говоры некоторых нас. пп. по относительным частотам изучаемых признаков в некоторые статистически однородные группы (внутри групп различия относительных частот изучаемых признаков могут объясняться случайностью, а между группами различия существенны и, следовательно, не являются случайными — первый тип) или таких групп выделить нельзя (второй тип) [4].

---

[1] Термин С. В. Бромлей и Л. Н. Булатовой. См.: С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, Морфологические различия русских говоров, сб. «Вопросы диалектологии восточнославянских языков», М., 1964.

[2] См. об этом: Р. И. Аванесов. О долгих шипящих в русском языке, «Докл. и сообщ. филол. фак-та МГУ», 6, 1948, стр. 25.

[3] См.: Р. И. Аванесов, Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка, ИАН ОЛЯ, 1947, 3; «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Карты. Вступительные статьи и комментарии», М., 1957.

[4] Под статистическим типом явления будем понимать принадлежность явления к одному из указанных двух типов.

2) Для случая первого типа (наличие групп) — определить число таких групп, их наиболее вероятные границы и средние статистические характеристики выделившихся групп.

Приближенную методику решения указанных проблем, разработанную нами для двучленных диалектных соответствий [5], здесь предлагается обобщить для произвольного числа сосуществующих членов.

2.1.2. Многочленное диалектное соответствие может быть представлено в говоре как одним членом, так и двумя и более членами, сосуществующими в говоре одного нас. п. Для статистического анализа весь материал необходимо сгруппировать по числу сосуществующих членов многочленного диалектного соответствия (по одному, по два, по три и т. д.) и по изучаемым признакам. В результате получатся ряды (списки) нас. пп., в говоре каждого из которых отмечены одни и те же члены изучаемого диалектного соответствия. Число таких рядов равно сумме числа членов диалектного соответствия и числа всех отмеченных в говорах типов сосуществования этих членов. Так, например, для изучаемых в данной работе разновидностей произношения число таких рядов равно 62 (5 — по числу разновидностей, употребляемых как единственная, и 57 — по числу типов сосуществования разновидностей; см. табл. 4).

Названные выше вопросы возникают при статистическом анализе материала, отражающего сосуществование членов диалектного соответствия. Каждый тип сосуществования будем анализировать отдельно.

Рассмотрим какую-либо разновидность сосуществования.

2.2. Материал, который будет подвергнут статистической обработке, следует представить в виде таблицы (см. табл. 1). В таблице приняты сле-

Таблица 1

Результаты наблюдений над признаками A и B

Классы по A	Классы по B: B_1	B_2	...	B_j	...	B_s
A_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1s}
A_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2s}
.	.	.	...	.	...	.
.	.	.	...	.	...	.
.	.	.	...	.	...	.
A_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{is}
.	.	.	...	.	...	.
.	.	.	...	.	...	.
.	.	.	...	.	...	.
A_r	n_{r1}	n_{r2}	...	n_{rj}	...	n_{rs}

дующие обозначения: признаки A ($A_1, A_2, \ldots, A_i, \ldots, A_r$) — принадлежность материала к тому или иному нас. п.; признаки B ($B_1, B_2, \ldots, B_j, \ldots \ldots, B_s$) — члены диалектного соответствия; r — количество нас. пп.; s — количество членов диалектного соответствия; n_{ij} — число примеров, относящихся к i-му классу признака A (принадлежность к i-му нас. п.) и, вместе с тем,— к j-му классу признака B (j-й член диалектного соответствия).

[5] См.: Н. Н. Пшеничнова, Лингвистическое картографирование на основе анализа материала статистическим методом, сб. «Исследования по русской диалектологии» (в печати); е е ж е, К вопросу о статистическом анализе материала для лингвистического картографирования, сб. «Проблемы лингвистического и этнографического картографирования» (в печати); е е ж е, О картах диалектологического атласа русского языка (Сводный атлас), составленных на основе статистического анализа материала, сб. «Лингвогеография», диалектология и история языка», Кишинев, 1973.

В этой таблице нас. пп. расположены в произвольном порядке. Для статистического анализа рассматриваемого материала, как и для случая двучленного диалектного соответствия, предлагается провести упорядочение нас. пп., при котором учитывалось бы количественное соотношение всех признаков, указанных в табл. 1. При этом в первую очередь возникает задача нахождения первого нас. п., т. е. того, с которого начнется упорядоченный ряд. Очевидно, что это должен быть такой нас. п., в говоре которого количественная характеристика изучаемых признаков более всего отличается от средних количественных характеристик всего рассматриваемого ряда нас. пп. Эту задачу, как и возникающие последующие, будем решать с помощью критерия Пирсона χ^2.

Определим значение χ^2 для всех возможных комбинаций $(r - 1)$ нас. пп. Пусть минимальное значение χ^2 будет в случае, когда при определении χ^2 не участвует нас. п. с номером k. Это означает, что из всех возможных комбинаций из $(r - 1)$ нас. пп. группа без нас. п. с номером k будет наиболее однородна. В таком случае нас. п. с номером k принимаем за первый.

Далее необходимо найти 2, 3, 4-й и т. д. (все r — по числу нас. пп.) номера в упорядоченном ряду нас. пп. Для отыскания 2-го нас. п., вычислим значения χ^2 для всех возможных пар нас. пп., состоящих из 1-го нас. п. и каждого из оставшихся (таких пар будет $r - 1$). Вторым нас. п. будем считать такой нас. п., который образует с первым пару, имеющую наименьшее значение χ^2 из всех значений χ^2, вычисленных для всех $(r - 1)$ пар нас. пп. Остальные номера упорядоченного ряда определяются таким же образом, с той лишь разницей, что вместо всевозможных пар нас. пп., включающих 1-й номер, необходимо рассмотреть поочередно все возможные комбинации из трех нас. пп., включающих первые два нас. пп., из четырех, включающих первые три нас. пп., и т. д. Таким способом мы получим ряд нас. пп., упорядоченный по всем изучаемым признакам, т. е. с учетом количественного соотношения примеров с каждым членом многочленного диалектного соответствия.

Введем понятие «расстояние между двумя говорами», которое будем характеризовать значением вычисленной для них величины χ^2 (чем больше χ^2, тем больше расстояние).

Для того чтобы высказать гипотезу относительно принадлежности явления к первому или второму типу в указанном выше смысле, предполагается провести построение и анализ графика расстояний между говорами соседних нас. пп. в упорядоченном ряду. Резкое возрастание расстояний в каком-либо месте графика укажет на то, что здесь может проходить граница между группами нас. пп. и, следовательно, явление относится к первому типу. Если на графике нет резкого возрастания указанных расстояний, явление следует отнести ко второму типу.

Далее аналогично тому, как это предлагалось для случая двучленного диалектного соответствия, при помощи критерия Пирсона χ^2 уточняются границы между выделившимися группами, т. е. определяются наиболее вероятные границы.

Необходимо отметить следующее. Явления второго типа (когда группы выделить нельзя) характеризуются постепенным нарастанием значений расстояния между говорами, стоящими в упорядоченном ряду. В частности, постепенное изменение расстояний для случая двух признаков означает в то же время и постепенное нарастание одного и соответственно — постепенное убывание другого признака в говорах, стоящих в ранжированном ряду. Для случаев более двух признаков изменение расстояния между говорами характеризуется колебаниями количественных соотношений признаков, каждый из которых может то возрастать, то убывать.

При отражении на лингвогеографической карте такого сосуществования членов многочленного диалектного соответствия, при котором сосуществование более двух членов характеризуется постепенным нарастанием расстояния между говорами, можно поступить следующим образом. Всю совокупность нас. пп., стоящих в упорядоченном ряду, можно разделить условно на произвольное число равных или неравных интервалов [6] и по вычисленным для каждого интервала средним количественным значениям признаков показать на карте (соответствующими средствами) говоры нас. пп., вошедших в каждый из интервалов. Таким образом можно показать на карте разную степень близости между говорами по нескольким признакам.

Такой анализ следует провести отдельно для каждого типа сосуществования.

2.3. Изложенным методом был проанализирован материал, отражающий сосуществование разновидностей произношения, соответствующих литературному *ш'ш'* в позиции не на стыке морфем. Рассматривался материал, собранный для атласов русских говоров [7].

В комментариях к ряду карт названных атласов высказываются некоторые соображения относительно того, что при определении количественного соотношения примеров с сосуществующими членами междиалектного соответствия по данным материалам неизбежна некоторая условность. Действительно, это так. В то же время есть основания считать, что при решении некоторых вопросов материалы атласов могут быть проанализированы с применением вероятностно-статистических методов [8].

К общей характеристике анализируемых разновидностей произношения необходимо сделать следующие дополнения.

В материал, который анализировался статистическим методом, не включались некоторые категории случаев, в которых по говорам часто отмечается иная разновидность произношения, чем в остальных случаях в тех же говорах. К таким категориям относятся следующие: 1) лексемы, в корневых морфемах которых фонема /щ/ восходит к сочетаниям **tj*, **kt*, **gt*: *общий*, *помощь*, *пещера*, *хищный*, *защищать*, *запрещать*, *сокращать*, *священник* и под.; 2) лексемы *женщина*, *щи*, *еще*; 3) произношение *ч'* (а также обозначенное значками *ч*, *ч̇*, *ч''*, *ч'ш*, *ц'*, *ц̇ч̇*, *цч'*, *ц*, *ц''*), так как оно отмечено главным образом на месте **tj*, **gt*.

При статистическом анализе было произведено объединение примеров с некоторыми разновидностями произношения. Как отдельные разновидности произношения рассматриваются не все отмеченные в говорах соответствия литературному *ш'ш'* в указанной позиции, а лишь звучания, выделенные по признакам, существенным для определения фонологического статуса глухих долгих шипящих и их соответствий в русских говорах. Следовательно, все отмеченные в говорах разновидности произношения относятся к одному из рассматриваемых классов звучаний по следующим признакам: мягкость — твердость, наличие — отсутствие взрывного эле-

[6] Например, можно учесть, где величина расстояния между говорами меняется резко.

[7] Отбор материала для статистического анализа производился с учетом той его характеристики, которая дана в комментариях к следующим картам, посвященным глухим долгим шипящим и их соответствиям не на стыке морфем: № 30 «Атласа русских народных говоров северо-западных областей» (автор И. Б. Кузьмина), № 74 «Атласа русских говоров центральных областей к северу от Москвы» (автор Е. Г. Бурова), № 50 «Атласа русских народных говоров к западу от Москвы» (автор Е. В. Немченко), № 54 «Атласа русских народных говоров к югу от Москвы» (авторы Т. Ю. Строганова и Н. Н. Пшеничнова), № 41 «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (автор Л. П. Жуковская).

[8] Эти основания рассмотрены в работах, указанных в примеч. 5.

мента между шипящими, наличие — отсутствие конечного фрикативного элемента при сохранении взрывного, т. е. рассматриваются разновидности *ш'ш'*, *шш*, *ш'ч'*, *шч'* [9], *шч*, *ш'т'*, *шт'*, *шт*.

Таким образом, некоторые звучания не рассматриваются как особые разновидности произношения. Так, в связи с тем, что в русском языке, как литературном, так и в говорах, нет трехчленного противопоставления мягкость — полумягкость — твердость, полумягкие *йш̇*, *йч̇*, *шч̇* не рассматриваются как особые разновидности произношения. Эти звучания отмечены в говорах как отличающиеся соответственно от *ш'ш'*, *ш'ч'*, *шч'* по признаку мягкость — немягкость, что для системы русского языка означает мягкость — твердость. Следовательно, как бы ни интерпретировать фонологически (одна фонема, две фонемы) полумягкие разновидности *йш̇*, *йч̇*, *шч̇*, в любом случае они должны быть признаны репрезентантами немягкой (немягких), т. е. твердой (твердых) фонемы (фонем). В связи со сказанным примеры на полумягкие *йш̇*, *йч̇*, *шч̇* объединяются с примерами на твердые (соответственно *шш*, *шч*). Не принимается во внимание шепелявый характер мягкого шипящего или произношение свистящего *с'с'* в соответствии с *ш'ш'*, отмеченные в говорах с шепелявыми или свистящими звуками, репрезентирующими краткие шипящие. Эти разновидности приравниваются мягкому долгому шипящему.

Таблица 2

Относительные частоты изучаемых признаков в статистически однородных группах

Группы	Сосуществующие признаки			
	шч' и *шч*		*ш'ч'* и *шш*	
I	0,65	0,35	0,39	0,61
II	0,18	0,72	0,08	0,92

2.4. Статистический анализ [10] наиболее распространенных типов сосуществования разновидностей произношения, соответствующих литературному *ш'ш'*, позволяет выдвинуть следующие гипотезы.

К явлениям первого типа относятся лишь два вида сосуществования: *шч'*, *шч* и *ш'ч'*, *шш*. В каждом из них можно выделить по две статистически однородные группы со средними относительными частотами сосуществующих признаков, приведенными в табл. 2.

Все остальные виды сосуществования можно отнести к явлениям второго типа. В табл. 3 для них приведены значения относительных частот сосуществующих разновидностей для говоров с первым (верхняя строчка) и последним (нижняя строчка) номерами в упорядоченном ряду. Номера типов сосуществования (первая колонка таблицы) даны по степени убывания их распространенности, которая отражена в табл. 4.

Кроме типов сосуществования, указанных в табл. 2 и 3, в говорах отмечены еще и другие комбинации из сосуществующих разновидностей,

[9] Написания *ш'ч'* и *шч'* отражают мягкие разновидности в отличие от твердого *шч* и в связи с этим могли бы, до некоторой степени условно, рассматриваться как одна разновидность, сохраняющая палатальность обоих элементов или с мягким только вторым элементом. (Возможно, что в некоторых случаях написание *шч'* представляет собой определенную манеру транскрипции: один знак мягкости для всего звукового комплекса.) Однако цифры, приведенные в табл. 4, особенно в ее левой части, показывают, что по характеру сосуществования с другими разновидностями произношения разновидность *шч'* существенно отличается от разновидности *ш'ч'* и значительно приближается к твердой разновидности *шч*. Это обстоятельство послужило поводом для раздельного рассмотрения *ш'ч'* и *шч'*. Ср. также: Е. Н. Иваницкая, Некоторые особенности консонантизма вологодских говоров (к вопросу об определении фонемного состава говоров), «Уч. зап. МГПИ им. Ленина», 450 — Статьи и исследования по русскому языку и языкознанию, 1971, стр. 47.

[10] Составление программы для ЭВМ и все вычисления были выполнены в ВЦ АН СССР.

Таблица 3

Относительные частоты изучаемых признаков

Вид сосуществования	Признаки					Вид сосуществования	Признаки				
	ш'ш'	*шш*	*ш'ч'*	*шч'*	*шч*		*ш'ш'*	*шш*	*ш'ч'*	*шч'*	*шч*
1	0,97	0,03				9		0,07		0,86	0,07
	0,03	0,97						0,84		0,05	0,11
2		0,08			0,92	10	0,99			0,01	
		0,96			0,04		0,17			0,83	
3	0,82	0,06			0,12	11		0,18	0,30		0,62
	0,05	0,14			0,81			0,38	0,58		0,04
4	0,11	0,03	0,86			12	0,73	0,04	0,08		0,15
	0,89	0,06	0,05				0,11	0,06	0,80		0,03
5	0,25	0,08		0,67		13	0,92		0,04	0,04	
	0,81	0,13		0,06			0,31		0,23	0,46	
6		0,08		0,92		14	0,79	0,07	0,07	0,07	
		0,95		0,05			0,14	0,29	0,14	0,43	
7	0,09		0,91			15	0,86				0,14
	0,96		0,04				0,11				0,89
8	0,73	0,14		0,04	0,09	16	0,03	0,13	0,37	0,30	0,17
	0,07	0,13		0,07	0,73		0,59	0,20	0,02	0,07	0,12

которые статистически не анализировались ввиду их чрезвычайной редкости (см. табл. 4). Можно отметить, что в 32 из этих типов сосуществования отмечается разновидность *ш'т'*, *шт'* или *шт*, причем в подавляющем большинстве случаев в единичных примерах.

3.1. Глухие долгие шипящие и их соответствия в русских говорах на фонетическом уровне специально рассматривались Р. И. Аванесовым и В. Г. Орловой.

В исследовании Р. И. Аванесова «О долгих шипящих в русском языке», посвященном главным образом фонологической интерпретации долгих шипящих, диалектные соответствия литературному *ш'ш'* (*ш'ч'*) рассматриваются в связи с историческим развитием исходного звукосочетания $\widehat{ш'т'ш'}$. Р. И. Аванесов отмечает, что в говорах мы находим «...весьма разнообразные звуки, явившиеся в результате того, что они сохранили разные стадии имевшего место фонетического процесса, а отчасти потому, что ими были пережиты разные фонетические процессы» [11]. Р. И. Аванесов выделяет в процессе изменения исходных звукосочетаний $\widehat{ш'т'ш'}$ и $\widehat{ж'д'ж'}$ главные и побочные, менее распространенные в говорах, направления. Эти

[11] Р. И. Аванесов, О долгих шипящих в русском языке, стр. 25.

Таблица 4

Распределение числа говоров по разновидностям произношения, соответствующим литературному ш'ш'

Разновидности произношения		,ь,т	,ьт	ьт	,ьт ,ь,т	ьт ,ьт	ьт ,ь,т	ьт / ,ьт ,ь,т	,ш,т	,шт	шт	,ш,т ,ь,т	шт ьт / ,ьт ,ь,т	шт ьт	,ш,т ьт / ,ьт ,ь,т	,шт ,ьт	,ш,т / ,ьт ,ь,т	,ш,т / ьт ,ь,т	шт / ,ш,т ,ь,т	шт ,ш,т	шт / ,ш,т / ьт ,ьт	шт ,шт / ,ьт ,ь,т	шт ,шт / ьт ,ьт	шт / ьт ,ьт	шт ,ь,т	шт / ,шт ,ьт	шт ,ьт	,ш,т / ьт ,ьт	,ш,т ьт
		51	14	95	8	17		3																1					
ш'ш'	934	50	21	13	17	9	2	3	2			2					1		1			1							
шш	1373	22	54	192	8	32	19	7		4	9	2		2	1			1		1	2								6
ш'ш' шш	791	69	67	70	15	33	18	12	2		2	3	1	3	2	1	1	1		2			1	1	1	1	3	1	2

направления для сочетания *ш'т'ш'* Р. И. Аванесов представил в виде схемы:

шч (*штш*) ← *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → *ш'т'*
↓
ш'ш'
↓
шш

Кроме этих, основных разновидностей, Р. И. Аванесов указывает еще произношение *с'ц'* или *с'с'* в говорах, которым свойственно шепелявое произношение шипящих или замена последних свистящими. Схема, предложенная Р. И. Аванесовым, очень убедительна, и такое представление о путях изменения долгих шипящих сейчас заслуженно считается общепризнанным.

Принята точка зрения Р. И. Аванесова и авторами монографии «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров (по материалам лингвистической географии)» (М., 1970) (раздел о рефлексах *ш'т'ш'* и *ж'д'ж'* в русских говорах написан В. Г. Орловой). Названное исследование — единственная работа, в которой дана подробная характеристика звуков, соответствующих литературному *ш'ш'* (не на стыке морфем), по материалам, собранным для атласов русских говоров, т. е. по тем же, по которым проводится анализ и в настоящей статье [12], но полученная другим методом: методом лингвистической географии.

В названной монографии рассматриваются звуковые соответствия литературному *ш'ш'* в связи с характеристикой ареалов их распространения, которые отражены на помещенной в работе карте, а также приводятся примеры возможной фонологической интерпретации некоторых разновидностей произношения. В работе дается также характеристика употребительности отмеченных в говорах разновидностей произношения на различных терри-

[12] В монографии не учитывается лишь 281 нас. пп. на юго-востоке рассматриваемой территории, так как эти нас. пп. находятся за пределами той территории, рассмотрение которой входило в задачи монографии. Учет этих нас. пп. не изменил бы общих выводов исследования: в подавляющем большинстве говоров этих нас. пп. отмечено *ш'ш'* или *шш* или обе разновидности, а кроме того, в 7 нас. пп.— *ш'ч'*, в 2 — *шч'*, в 1 — *шч*.

ториях. Понятие «употребительность» при этом специально не разъясняется, но из того, как характеризуется материал, следует, что под употребительностью автор понимает, с одной стороны, количество нас. пп. (в терминах «много» — «мало») на той или иной территории, в говорах которых отмечена данная разновидность; с другой стороны,— употребление некоторой разновидности как единственной или в сосуществовании с другими. На основании данных лингвистической географии характеристика процесса изменения древнерусского *ш'т'ш'* дополняется некоторыми соображениями относительно неодинаковой по говорам силы действия указанных в схеме Р. И. Аванесова тенденций.

3.2.1. Представляется полезным дополнить данную в названной монографии характеристику таблицей распределения числа нас. пп. изучаемой территории по всем отмеченным в говорах этих нас. пп. типам сосуществования глухих долгих и соответствующих им звуковых сочетаний, а также по разновидностям, употребляемым в качестве единственных (см. табл. 4).

Приведенные в таблице цифры позволяют проиллюстрировать или уточнить некоторые положения монографии, в другие же внести определенные коррективы. К первым относятся следующие: 1) наиболее распространенными разновидностями произношения являются глухие долгие шипящие *ш'ш'* и *шш*; 2) звуковые сочетания *ш'ч'*, *шч'* и *шч* редко встречаются в исключительном употреблении, чаще они сосуществуют с глухими долгими шипящими; 3) наименее распространенными являются варианты *ш'т'*, *шт'*, *шт*.

Коррективы в основном касаются звуковых сочетаний *ш'ч'*, *шч'*, *шч* и сочетаний *ш'т'*, *шт'*, *шт*.

1) Если считать, что *ш'ч'* и *шч'* противопоставлены разновидности *шч* как сохраняющие палатальность, тогда необходимо признать, что твердая разновидность *шч* не является более распространенной, как это утверждается в монографии (стр. 30). По числам, приведенным в таблице, можно подсчитать, что *шч* в общей сложности отмечено в 550 нас. пп., а *ш'ч'* или *шч'* — в 590 нас. пп.

2) Анализируя характер сосуществования звуковых сочетаний *ш'ч'*, *шч'*, *шч* с глухими долгими шипящими, целесообразно рассматривать раздельно, с одной стороны, твердую разновидность *шч*, с другой стороны,— сохраняющие палатальность *ш'ч'* и *шч'*, а не вместе, как это сделано в монографии (ср. там же утверждение о том, что звуковые сочетания чаще сосуществуют с твердым глухим долгим шипящим, чем с мягким). Кроме того, есть основания рассматривать раздельно и разновидности *ш'ч'* и *шч'*.

3) Разновидность *шт* не следует считать более распространенной, чем *ш'т'*, как это указано в монографии на стр. 33. Разновидности *ш'т'* или *шт'* в общей сложности отмечены в 41 нас. пп., *шт* — в 32 нас. пп. Необходимо отметить, что все три разновидности встречаются чрезвычайно редко, их доля в общем числе рассматриваемых нас. пп. (4083) составляет меньше 2%. Очевидно, что доля каждой из трех разновидностей составляет величину, еще меньшую. В случаях таких малых частот при столь малых выборках [13] сравнение их не имеет смысла.

4) Разновидности *ш'ш'* и *шш* в исключительном употреблении встречаются не реже, чем в сосуществовании друг с другом, а даже несколько чаще.

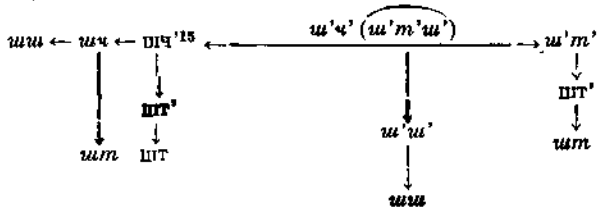
---

[13] В данном случае выборкой является число нас. пп. с разновидностью *ш'т'*, *шт'* или *шт* из совокупности всех рассматриваемых нас. пп., т. е. 4083.

Естественно, что коррективы, внесенные таблицей, касаются главным образом «редких» разновидностей. Так, например, возможно, что утверждение относительно большей распространенности *шч* по сравнению с *ш'ч'* или *шч'* основано на том, что ареалы *шч* являются несколько более компактными, а ареалы *ш'ч'* и *шч'* — более разорванными, часто представляющими собой разрозненные точки. Учет числа всех нас. пп., в говорах которых отмечено *ш'ч'*, *шч'* или *шч*, позволил внести соответствующее уточнение.

Внесенные коррективы представляются имеющими определенное значение для анализа тех тенденций, которые привели к разным по говорам результатам изменения древнерусского *ш'т'ш'* и тех процессов, которые происходят в русских говорах сейчас.

3.2.2. Характер сосуществования разновидностей произношения, отраженный в табл. 4, позволяет несколько детализировать и дополнить (продолжить) схему развития *ш'т'ш'* в русских говорах, предложенную Р. И. Аванесовым [14]. С учетом всех типов сосуществования разновидностей произношения, отмеченных в русских говорах, эта схема может быть представлена в следующем виде:



Данная схема, с одной стороны, отражает несколько больше, чем у Р. И. Аванесова, логических возможностей рассматриваемого процесса и, следовательно, обладает большей предсказуемостью. С другой стороны, сделанные в ней дополнения хорошо согласуются с показаниями лингвистической географии [16]: центральные говоры (Ростово-Суздальская Русь) — утрата смычного элемента, но еще не отвердение (т. е. преобладание *ш'ш'*); западные говоры — в большинстве случаев отвердение (*шш*), здесь же наиболее широко представлено *шч* или сосуществование *шч* и *шш*. На основании этой характеристики естественно было бы предположить, что не во всех русских говорах *шш* развилось через ступень *ш'ш'* и что по крайней мере в говорах западных и северо-западных территорий (Смоленское, Полоцкое и Новгородское княжества) *шш* могло развиться и таким путем: *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → *шч* (*штш*) → *шш* [17].

---

[14] Рассмотрение типов сосуществования разновидностей произношения под таким углом зрения и дальнейшие рассуждения по поводу схемы Р. И. Аванесова с внесенными в нее дополнениями основываются на положении, сформулированном Р. И. Аванесовым, которое мы полностью разделяем: «... синхрония общей фонетической системы языка в целом в его диалектных разновидностях представляет вместе с тем и диахронию его — историю данного языка, так как многообразие диалектных различий — это живая история, распластанная в пространстве, это как бы пространственная проекция пережитых исторических процессов» (Р. И. Аванесов, Вопросы фонетической системы..., стр. 214, примеч.).

[15] Прямым шрифтом даны те разновидности, относительно которых нельзя сказать определенно, являются ли они обязательной ступенью в процессе изменения, изображенного соответствующей ветвью дерева схемы. Так, можно предполагать, что *шч* из *ш'ч'* могло развиваться и через стадию неполного отвердения обоих элементов звукового комплекса, что условно можно обозначить как *шч̇*. То же следует сказать и о процессе *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → *ш'т'* → *шт*.

[16] См.: «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», карта 5.

[17] В подтверждение того, что и *шт* могло развиваться через ступень *шч*, т. е. *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → *шч* (*штш*) → *шт* (равно как и *шт'* — через ступень *шч'*: *ш'ч'*

В связи со сказанным кажется правомерным выделять в процессе развития *ш'т'ш'* в русских говорах не одно главное и два побочных направления, как указывает Р. И. Аванесов, а два главных — *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → → *ш'ш'* → *шш* и *ш'ч'* (*ш'т'ш'*) → *шч* (*штш*) → *шш* и побочные.

На основании сравнения схемы с табл. 4 можно сделать следующее дополнение относительно распространенности различных типов сосуществования: чем больше удалены друг от друга разновидности как некоторые ступени в процессе изменения *ш'т'ш'*, т. е. чем больше расстояние между узлами на ветвях дерева схемы, тем реже сосуществуют такие разновидности. Это обобщение можно представить в виде следующих выводов более частного характера:

1) Чаще всего сосуществуют разновидности, представленные на схеме в виде соседних узлов одной ветви дерева, т. е. разновидности, которые являются самыми близкими между собой (из отмеченных в говорах) ступенями изображенного на схеме процесса. При этом чем больше разновидностей сосуществует, тем реже встречается такой тип сосуществования.

2) Реже сосуществуют разновидности, которым на схеме соответствуют узлы одной ветви дерева, но с пропуском узла между ними. В таких случаях утрата промежуточного звена между сосуществующими разновидностями мотивирована действием тех или иных тенденций развития говоров [18].

3) Наиболее редким типом сосуществования является такой, при котором сосуществующим разновидностям на схеме соответствуют узлы разных ветвей дерева.

4) Исключение представляет собой разновидность *ш'ш'*, которая встречается в сосуществовании со всеми другими разновидностями в различных комбинациях, хотя сама по себе отмечена в меньшем числе говоров, чем *шш*. Представляется естественным объяснить этот факт тем, что *ш'ш'* поддерживается воздействием литературного языка. Это воздействие, с одной стороны, может задержать утрату *ш'ш'* в тех случаях, когда *ш'ш'* является промежуточным звеном при наличии в говоре конечного этапа процесса развития (т. е. *шш*). С другой стороны, влияние литературного языка может обусловить появление нового *ш'ш'* путем замены этой разновидностью произношения закономерно развившихся в говоре рефлексов старого *ш'т'ш'*. Кроме того, *ш'ш'* может развиться как результат действия второй, по сравнению с основной в говоре, тенденции *ш'ч'* → *ш'ш'*, поддерживаемой общерусской тенденцией.

5) Чем дальше от основного, по Р. И. Аванесову, направления (*ш'ч'* → → *ш'ш'* → *шш*) находится разновидность, тем реже она отмечается в говорах.

(*ш'т'ш'*) → *шч'* (*шт'ш'*) → *шт'*), можно привести следующий факт. Как сообщил Л. Л. Касаткин, в говоре д. Селищи Бирюковского района Вологодской области в соответствии с *ш'ш'* в рассматриваемой позиции употребляется разновидность, средняя между *шт* и *шч*, что можно было бы обозначить как *шт͡*, где элемент *т͡* — апикальной артикуляции, в то время как вообще данному говору свойственны фонема /т/ дорсальной язычной артикуляции и мягкое цоканье. Можно думать, что отмеченная в данном говоре разновидность *шт͡* является промежуточной исторической ступенью между *шч* и *шт*.

[18] Например, при сосуществовании *ш'ч'* и *шш* утрата промежуточного *шч* может быть объяснена как результат действия тенденции упрощения — утраты взрывного элемента, причем сохранение более раннего *ш'ч'* может быть обусловлено воздействием литературного языка: *ш'ч'* может осознаваться носителями говора как мягкая разновидность, соответствующая норме литературного языка, в отличие от *шш* как твердой диалектной разновидности. Показательно в этом отношении, например, замечание авторов материала, записанного в д. Макарово Санчурского района Кировской области: «У старшего поколения — *шш*, у младшего — *шч'*».

Кроме перечисленного, можно сделать еще следующие дополнения относительно распространенности некоторых разновидностей произношения:

1) Разновидность *шш* является наиболее распространенной, очевидно, в связи с тем, что она представляет собой конечный этап [19] развития древнерусского *ш'т'ш'* (упрощения его), каким бы из двух основных путей это развитие ни протекало.

2) Чем более редкой является разновидность, тем меньшую долю из всех нас. пп., в говорах которых она отмечена, составляют такие, для говоров которых характерно употребление данной разновидности как единственной. Так *ш'т'*, *шт'*, *шт* (самые редкие) нигде не отмечены как единственные; *ш'ч'*, *шч'*, *шч* (более распространенные) чаще отмечаются в сосуществовании с другими разновидностями, чем в исключительном употреблении; *ш'ш'* и *шш* (наиболее распространенные) несколько чаще употребляются как единственные, чем в сосуществовании.

3.3.1. При анализе звуковых соответствий в русских говорах литературному *ш'ш'* возникает ряд проблем. Назовем две из них.

1) Необходимо выяснить сравнительную степень интенсивности действия тех тенденций, которые определяли изменение древнерусского *ш'т'ш'* (как это дано в схеме Р. И. Аванесова и сейчас считается общепринятым). В монографии эта проблема решается на основании рассмотрения территориального размещения изучаемых разновидностей произношения и употребления той или иной разновидности как единственной или в сосуществовании с другими.

2) Необходимо выяснить соотношение употребительности изучаемых вариантов и характера ареалов их распространения. Эта проблема, с одной стороны, связана с первой, с другой,— рассмотрение ее именно в этой постановке очень важно при лингвогеографическом изучении и других явлений, т. е. названная проблема имеет более общий характер. В монографии она эксплицитно не сформулирована, но практически употребительность разновидностей произношения рассматривается в связи с характеристикой ареалов их распространения.

3.3.2. Результаты статистического анализа материала позволяют внести некоторые дополнения в рассмотрение этих проблем. Статистический анализ материала дает возможность расширить содержание понятия «употребительность» в монографии, а именно ввести еще и понятие употребительности той или иной разновидности в одном говоре, определяемое относительной частотой примеров с данной разновидностью. Статистические характеристики говоров с сосуществованием разновидностей даны в п. 2.4. Эти характеристики показывают, как разная интенсивность тенденций развития древнерусского *ш'т'ш'* отражена также в неодинаковой по говорам употребительности (т. е. относительной частоте) разновидностей произношения, соответствующих литературному *ш'ш'*.

Статистический анализ позволяет также сформулировать несколько иначе и вторую проблему, представив ее в виде следующих двух более частных: 1) определить соотношения статистического типа явления и характера ареала; 2) определить соотношения статистических характеристик говоров с сосуществованием разновидностей произношения и характера ареала.

Характер ареалов распространения изучаемых разновидностей произношения, соответствующих литературному *ш'ш'*, определен процессом

[19] Возможные дальнейшие изменения *шш*, например, упрощение путем сокращения, здесь не рассматриваются.

развития древнерусского *ш'т'ш'*. Кратко охарактеризовать территорию распространения рассматриваемых разновидностей можно следующим образом: в центре — большой ареал преимущественного распространения *ш'ш'*, два несколько менее крупных — к востоку и юго-востоку от него. Вся остальная территория — область распространения разновидности *шш*. Эта территория покрыта сложным «кружевом» ареалов и островков распространения *ш'ч'*, *шч'* и *шч* [20] и вкраплений *ш'ш'* (в северной половине — целиком, в западной части — значительно, в южной и юго-восточной — в меньшей степени). Действовавшие в говорах тенденции, вызвавшие изменение *ш'т'ш'*, определили и статистический тип рассматриваемого явления. В целом это явление относится ко второму типу (постепенное изменение), что отражено в результатах статистического анализа в п. 2.4. Почти все отмеченные виды сосуществования разновидностей произношения характеризуются постепенным изменением количественного соотношения их признаков в говорах нас. пп., стоящих в упорядоченном ряду. При этом сосуществованию двух разновидностей свойственно нарастание признака по мере приближения к более компактным ареалам распространения соответствующей разновидности, т. е. и территориально отмечается постепенное нарастание (убывание) признака. Так, например, при сосуществовании *ш'ш'* и *шш* относительная частота *ш'ш'* возрастает по мере приближения к основному, центральному ареалу распространения *ш'ш'* и понижается по мере удаления от этого ареала, т. е. в направлении к северу, западу и югу от центра. Соответственно понижается или возрастает относительная частота разновидности *шш* по мере удаления или приближения нас. пп. с таким типом сосуществования к основной территории распространения *шш*.

При сосуществовании более двух разновидностей изменение показателя расстояния между говорами (см. п. 2.2) не имеет определенной территориальной направленности. Как правило, при таком сосуществовании доля той или иной разновидности определяется тем, вблизи какого ареала находится данный нас. п.

Полученная статистическая характеристика явления — отнесение явления ко второму типу (постепенное изменение количественных характеристик) — хорошо согласуется с представлением о постепенном фонетическом развитии, разные этапы которого отмечаются в современных говорах.

---

[20] Карта монографии отражает основные ареалы.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

А. И. СОЛОГУБ

ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Одной из основных задач исторической диалектологии является изучение диалектных явлений, относящихся к разным уровням языковых систем, в их историческом развитии. Подобное изучение создает научную основу для истории языка в целом, а также для исследования вопросов, связанных с историей отдельных диалектных объединений. Историческое изучение явлений, относящихся к различным уровням системы русского языка, может успешно проводиться лишь на основе органического сочетания показаний памятников письменности и данных диалектов русского языка. Синтез этих двух источников составляет базу многих исследований, посвященных различным явлениям истории русского языка.

Однако уровень разработки этих источников оставался до начала систематического изучения диалектов весьма неодинаковым. Сведения о диалектных явлениях носили эпизодический характер и представляли собой, как правило, лишь фиксацию той или иной языковой черты, произведенную при общем обследовании того или иного говора. Нерегулярность подобных сообщений была связана с тем, что обследование говоров велось произвольно, по усмотрению того или иного автора, при отсутствии единой программы и единого плана (сетки) обследования говоров. С течением времени исследователями все острее начинает ощущаться потребность в таком диалектном материале, который дал бы возможность представить распространение того или иного языкового явления во всех его структурных разновидностях на основной (с исторической точки зрения) территории распространения русского языка. Необходимость такого материала особенно ощутительна при разработке вопросов исторической диалектологии, поскольку одной из актуальных ее задач является создание такой истории диалектов, которая опиралась бы на историю всего комплекса языковых черт, характерных для того или иного диалектного объединения. В 40-х годах, когда начиналась работа по подготовке диалектологических атласов русского языка, лингвистами-русистами уже подчеркивалось, что атласы, помимо выполнения задачи собственно диалектологического изучения языка, дадут ценные материалы для разработки истории русского языка.

Лингвогеографическому изучению говоров русского языка предшествовало и сопутствовало создание целого ряда монографий, посвященных описанию систем отдельных говоров как в чисто синхронном, так и в историческом плане. Потребность в лингвогеографических данных опережала процесс составления атласов русского языка. В работах целого ряда историков и диалектологов русского языка, начиная с А. А. Шахматова [1], а в дальнейшем особенно развернуто в работах С. П. Обнорского [2], видно

[1] А. А. Шахматов, История русского языка, Пг., 1915 (литограф.).

[2] С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, I, II, Л., 1927—1931; его же, Очерки по морфологии русского глагола, М., 1953, и др.

определенное стремление исследователей учитывать, хотя бы по имеющимся неполным данным, территориальное распространение явлений и строить свои выводы на основе изучения этого распространения. Интересно и плодотворно рассматривается история ряда явлений (в частности, вопрос о происхождении аканья) в работах Р. И. Аванесова, использовавшего имевшиеся к тому времени данные о географическом распространении изучаемых им явлений [3]. Можно считать, что именно в работах Р. И. Аванесова были заложены основы методики интерпретации лингвогеографических данных для изучения истории языковых явлений. Изучение структурных разновидностей диалектных языковых черт и их распространение на территории русского языка представлено и в работах В. Г. Орловой [4], целью которых являлось также создание истории изучаемых явлений. В последующие годы создается целый ряд исследований подобного характера, имеющих источником данные лингвистической географии и посвященных вопросам генезиса отдельных языковых черт [5]. Только после того как были составлены основные диалектологические атласы русского языка, оказалось возможным представить характер распространения важнейших языковых явлений, наблюдаемых на территории русских говоров, и приступить к изучению истории этих явлений.

Создание принципиально нового по своему качеству фонда лингвогеографических данных изменило соотношение показаний памятников письменности и диалектов при разработке истории русского языка. На более раннем этапе диалектные данные преимущественно лишь помогали расшифровывать показания памятников письменности и дополнительно иллюстрировали их. В настоящее время появились качественно новые возможности органического соединения показаний памятников и диалектов, причем в ряде случаев — при ведущем значении диалектного источника. Методика исследования диалектных сведений создавалась при подготовке названных выше работ, а также в ходе работы над монографией «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров» (М., 1970). Поскольку в настоящее время приемы и методы использования диалектных

---

[3] Особенно показательна работа: Р. И. Аванесов, Вопросы образования русского языка в его говорах, «Вестник МГУ», 1947, 9.

[4] См., например: В. Г. Орлова, Губные спиранты в русском языке, «Труды Ин-та русского языка [АН СССР]», II, М.— Л., 1950, стр. 167—210; ее же, История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров, М., 1959.

[5] См., например: Е. С. Скобликова, Географическое распространение диалектных форм личных местоимений, «Уч. зап. [Куйбышевск. пед. ин-та]», 13, 1955; Л. К. Андреева, К истории новых сочетаний согласных с *j* в восточнославянских языках, в кн.: «Вопросы фонетики, словообразования, лексики русского языка и методики его преподавания», Пермь, 1964; ее же, Явление ассимиляции в новых сочетаниях согласных с *j* в говорах северновеликорусского наречия. «Уч. зап. [Пермск. гос. ун-та]», 16, I, 1960; Л. Л. Касаткин, Прогрессивное ассимилятивное смягчение «к» в русских народных говорах, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, III, М., 1962; Т. С. Коготкова, Утрата интервокального *j* и стяжение гласных в русских говорах. АКД, Л., 1953; ее же, Стяжение гласных в русских говорах в его отношении к различным морфологическим категориям, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, II, М., 1961; Е. Г. Бурова, Диалектные изменения и замены *к* при сочетании его с последующими взрывными согласными (в предложно-падежных конструкциях), в кн.: «Очерки по фонетике севернорусских говоров», М., 1967; В. Н. Теплова, Звуки /л/, /l/, /ў/ на месте этимологического *л* твердого и их место в фонологических системах севернорусских говоров, там же; Г. И. Матвеева, Числительные *два*, *три*, *четыре* в русских говорах, «Материалы и исследования по русской диалектологии». Новая серия, I, М., 1959; Н. Н. Пшеничнова, К истории редуцированных *ў* и *ĭ* в восточнославянских языках. АКД, М., 1964; ее же, Гласные на месте редуцированного *i* в говорах восточнославянских языков, в кн.: «Вопросы диалектологии восточнославянских языков», М., 1964, и др.

данных становятся все более многообразными, здесь целесообразно рассмотреть некоторые специфические особенности такого использования.

Особое значение лингвогеографических сведений для указанных целей определяется особенностями диалектологических атласов русского языка. Эти особенности были обусловлены теми исходными установками, которые характеризуют русскую лингвогеографию, требующую системного подхода к картографированию диалектных явлений. В предисловии к вышедшему в свет диалектологическому атласу в свое время было указано, что в нем «наряду с единичными фактами, выходящими за пределы системы языка или не соотносимыми с нею, картографируются языковые явления как цельные звенья, элементы языковой системы. Этим снимается противоречие между лингвистической географией и изучением языка как системы» [6]. Данные составленных к настоящему времени атласов русских говоров, взятые в совокупности, как правило, дают исчерпывающее представление о распространении каждого из языковых явлений во всех его структурных разновидностях на различных территориях русского языка, что открывает возможность систематического сопоставления этих разновидностей. Особенно важно значение данных лингвистической географии, когда явление вообще не зафиксировано в памятниках письменности.

В связи с тем, что в настоящее время мы располагаем диалектологическими данными нового качества, возникла необходимость дальнейшей разработки методики и приемов интерпретации этих данных, а также возможность по-новому синтезировать показания памятников письменности и диалектов.

При изучении диалектных явлений всегда оказывается важным представление об общем характере распространения того или иного явления в плане собственно географическом, т. е. о расположении ареалов на территории русского языка, а также о характере бытования явления в пределах этих ареалов.

В географическом плане языковые черты могут иметь определенную территорию распространения, за пределами которой их почти не отмечают. Известно, например, что в пределах территории южного наречия русского языка представлены различные ареалы типов аканья, на территории Вологодской группы говоров имеют распространение формы инфинитива типа *п'ект'и́*, достаточно определенную территорию распространения, включающую в основном говоры Вологодской группы и северные межзональные говоры, имеют формы сравнительной степени типа *добр'а́йе, скор'а́йе* и т. д. Подобные явления сугубо местного характера распространения составляют и уже составили необходимую основу для описания современного диалектного членения русского языка, для изучения истории различных дилектных объединений русского языка.

В плане исторического изучения подобных черт узко локального распространения важно учитывать, что именно их исследование позволяет устанавливать связь языковых явлений с историей территории, на которой они представлены, а также их соотношение с другими языковыми чертами, представленными на той же территории.

При широком или почти повсеместном распространении явления на изучаемой территории русского языка важным оказывается наличие или отсутствие его структурных разновидностей, дающих очень ценный материал для изучения истории явления. Явления, однородные по своему характеру и имеющие широкое распространение на территории русского языка, интересны для изучения вопросов, касающихся общих закономер-

[6] «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Карты. Вступительные статьи и комментарии», М., 1957, стр. 14.

ностей развития языка и его диалектов или для изучения относительной хронологии этих явлений.

Как показало изучение материала, сравнительно широкое распространение по говорам имеют черты, ставшие архаическими в общем ходе развития русского языка, или, наоборот, черты, поздние по своему происхождению, в том числе развившиеся в говорах вследствие влияния литературного языка или при его поддержке.

В случаях сохранения реликтов какой-либо древней черты или сравнительно ранней инновации можно наблюдать качественное различие в самом распространении подобных черт: в одних случаях явление выступает в рассеянном распространении на изучаемой территории (ср. распространение случаев с гласным *е*, не перешедшим в *о* под ударением перед твердым согласным в корнях слов и суффиксах — *св'éкла*, *кот'éнок* и т. п. или произношение звонких согласных на конце слова — *хл̂'еб*, *гброд* и т. п.), в других случаях явление может быть представлено отдельными, более или менее значительными, ареалами (ср. распространение слов с *р'* мягким — *вер'х*, *ч'ет' в'éр'к*, *цéр'коф'/цéр'ква* и др.). Слабый характер распространения черт первого типа, видимо, связан с более ранней их утратой, что в свою очередь, возможно, было обусловлено интенсивностью новообразований, приводивших к утрате этих черт и развивавшихся в московском говоре, ставшем впоследствии основой литературного языка. Архаические черты, сравнительно дольше сохранившиеся в литературном языке, возможно, благодаря этому имеют до сих пор и в говорах значительные, но не приуроченные к определенным диалектным объединениям ареалы их распространения.

Широкое распространение имеют и сравнительно поздние инновации, появившиеся благодаря наличию общих тенденций развития, характерных для русского языка в целом (ср., например, появление сочетания *-шн-* в соответствии с сочетанием *-чн-*: *кан'ешнъ*, *јайшн'ица* и т. п. или взятую в общем виде унификацию глагольных основ в личных формах и др.).

Показательным для изучения истории языковых явлений может быть также степень интенсивности распространения той или иной разновидности явления на различных территориях русского языка.

Наличие в пределах данного диалектного объединения какой-либо разновидности явления в исключительном или почти исключительном употреблении может свидетельствовать о том, что данная территория говоров является исконной территорией этой разновидности явления (ср., например, неразличение гласных на территории южнорусских говоров и др.). В случаях же сосуществования различных структурных разновидностей явления можно предполагать, что одна из разновидностей является исконной для изучаемых говоров, а другая более поздней по происхождению, появившейся, в частности, в этих говорах в результате междиалектного взаимодействия (ср., например, сосуществование форм типа *н'ес'т'й* и *н'ес'т'* в целом ряде говоров русского языка, сосуществование форм 3-го лица глаголов с конечным *т* и *т'* и др.). Сосуществование разных структурных разновидностей явления может иметь равноправный характер, как в приведенных выше примерах, или различаться по интенсивности употребления этих разновидностей. В последнем случае наблюдается резко преобладающее употребление одной из разновидностей и сравнительно редкое или определенным образом обусловленное употребление другой. Так, например, во многих говорах русского языка известны единичные случаи произношения *е*, не изменившегося в *о*, в корнях слов под ударением перед твердым согласным, круг которых не является, однако, определенным по говорам, что может свидетельствовать о сохранении в этих говорах реликтов древнего явления. При преобладающем произношении в

вологодских говорах *е* или *о* в первом предударном слоге перед твердым согласным (*н'есла́*, *н'осла́* и т. п.) можно наблюдать в единичных рассеянных случаях произношение *и* (*н'исла́* и под.), что, по-видимому, является свидетельством вновь развивающейся тенденции в данных говорах; в более ранних записях этих говоров подобное произношение не наблюдалось. При системе различения гласных в первом предударном слоге после твердых согласных в говорах северного наречия можно наблюдать незакономерное произношение *а* в одном кругу слов (*стака́н*, *парбм*, *крапи́ва* и т. д.) и *о* — в другом кругу слов (*кона́ва*, *копу́ста*, *трова́* и др.), которое обычно не трактуют как нарушение системы различения гласных, а рассматривают как явление, свидетельствующее о забвении внутренней формы данных слов.

Таким образом, различные типы существования структурных разновидностей явления в говорах могут получить различную оценку с генетической точки зрения. Исключительное бытование той или иной языковой черты в говоре чаще отмечается именно на ее исконной территории. Случаи сосуществования разновидностей явления могут быть следствием различных причин: взаимодействия говоров (ср. распространение форм *н'ес'т'* и *н'ес'т'и́* и др.), внутренних процессов развития, характерных для определенных говоров (ср. произношение *и* в 1-м предударном слоге перед твердым согласным в вологодских говорах, незакономерное произношение *о* и *а* в отдельных словах на территории северных говоров, случаи произношения γ фрикативного в отдельных словах и грамматических категориях на территории северного наречия русского языка и др.), а также влияния литературного языка на говоры (ср. распространение форм род.-вин. падежей *м'ен'а́*, *т'еб'а́*, *с'еб'а́*, форм 3-го лица глаголов с твердым *т* в окончании и др.).

Наиболее важный и богатый материал может дать изучение структурных разновидностей языковых явлений с учетом характера их распространения на территории русских говоров. Подобное изучение в некоторых случаях дает возможность выявить первоначальную или более исконную структурную разновидность явления и проследить основные этапы его эволюции.

Исследование диалектных данных показывает, что наиболее характерным для архаического состояния явления можно считать его реализацию на основе определенной закономерности, полностью относящейся к данному уровню языка (фонетике, морфологии и т. д.). Именно такой характер имеют обычно основные, исторически первоначальные, структурные разновидности явлений, которые, как правило, имеют и наиболее последовательный характер распространения на своей исконной территории. По мере своего распространения в инодиалектной среде явление может утрачивать эти основные свойства, приобретать рассеянное или во всяком случае менее последовательное распространение и, главное, утрачивать первоначальную закономерность реализации. В последнем случае трансформация явления может проходить в разных направлениях. В говорах можно наблюдать закрепление его за отдельными позициями или грамматическими категориями, а также сужение лексической сферы реализации явления, с чем связана его лексикализация. В процессе трансформации явления может, наоборот, расширяться сфера его реализации, наблюдаться употребление в тех случаях и положениях, где оно не могло быть в соответствии с той закономерностью, на основе которой оно возникло. В качестве примеров различной эволюции явлений можно привести следующие.

Данные лингвистической географии показывают, что в вологодских говорах широко и последовательно представлено явление изменения *а* в *е*

между мягкими согласными под ударением (*пр'ал*, но *пр'ёл'и*, *п'áтый*, но *п'ет'*, *крич'áл*, но *кр'ич'ёт'* и т. д.). В соответствии с этим чередованием гласных под ударением строится система предударного вокализма вологодских говоров (*п'атáк*, но *п'ет'ú*, *пр'алá*, но *пр'ед'ú* и т. д.).

В смежных с вологодскими костромских говорах представлена такая система вокализма, при которой также возможно произношение *е* в соответствии с *а* после мягких согласных в первом предударном слоге, но в которой потерян главный собственно фонетический признак — соответствие систем ударенного и предударного вокализма. В костромских говорах чередование *а/е* в позиции под ударением отсутствует (*гр'ас'*, *з'ат'* и т. п.). В предударном слоге произношение *е* в соответствии с *а* не ограничено какими-либо определенными условиями, оно здесь наблюдается и перед мягким, и перед твердым согласным (*пр'ед'ú*, *п'етáк*, *п'ет'ú* и т. п.).

Для выводов о характере развития изучаемого явления в данном случае следует признать более сложным процесс реализации изменения *а* в *е*, когда он осуществляется в соответствии с определенными условиями, и менее сложным, если условия его реализации являются неограниченными.

Таким образом, на основании изложенного можно предположить, что первоначальная и наиболее исконная структурная разновидность явления изменения *а* в *е* представлена на территории вологодских говоров. По мере распространения на другие территории данное явление испытывает различные изменения. Так, на территории костромских говоров представлено расширение сферы реализации данного явления, нарушающее систему соотношения ударенного и предударного слогов. Случаи произношения *е* в соответствии с *а* в отдельных единичных, но не повторяющихся из говора в говор словах, отмечаемых в рассеянном распространении по широкой территории русского языка, могут, видимо, свидетельствовать о лексикализации данного явления в современных говорах, развившейся на основе имевшей место в прошлом, но рано заторможенной тенденции к усиленному продвижению *а* между мягкими согласными в более переднее и верхнее положение. Наконец, в целом ряде говоров, не относящихся к территории Вологодской группы, произношение *е* вместо *а* представлено в собственно лексикализованном виде — лишь в слове *опять*.

Структурные разновидности языковых явлений, наблюдаемые в говорах русского языка, нередко могут представлять собой как бы разные стадии эволюции, пережитой тем или иным явлением, благодаря чему всестороннее сравнительное изучение этих разновидностей нередко дает возможность восстановить самый процесс образования и распространения той или иной языковой инновации. Известно, например, что во многих говорах русского языка широко представлены формы инфинитива типа *н'ес'т'*, *в'ес'т'*. Сохранение форм типа *н'ес'т'ú* в исключительном употреблении характерно для говоров северо-восточной диалектной зоны. В говорах же, расположенных на границе распространения форм типа *н'éс'т'*, с одной стороны, и типа *н'ес'т'ú*, с другой, наблюдаются формы, имеющие ударение на основе, но еще не утратившие конечного *и*: *н'éс'т'и*, *в'éс'т'и* и под. Наличие подобных форм позволяет восстановить процесс образования новых форм, который, по-видимому, можно представить следующим образом: *н'ес'т'ú* → *н'éс'т'* *и* → *н'ес'т'*. Лингвогеография дает возможность представить направление процесса распространения форм типа *н'ес'т'*: в говорах можно наблюдать две противопоставленные территории исключительного распространения форм типа *н'ес'т'ú* и форм типа *н'ес'т'*, а между ними полосу говоров, характеризующихся их сосуществованием.

Для говоров Ладого-Тихвинской группы характерно произношение *и* в соответствии с *ё* в положении под ударением и в безударных слогах перед твердыми и мягкими согласными. Однако изучение характера расположе-

ния ареалов произношения *и* под ударением и в безударном положении в соответствии с *ě* дает возможность предположить, что утрата этой архаической черты и замена ее произношением *е* под влиянием более южных говоров началась, видимо, с положения ударенного слога, в то время как произношение *и* в безударном положении удерживается в данных говорах до сих пор.

В говорах северо-восточной диалектной зоны длительное время сохранялись древние формы инфинитива типа *п'ечʼй, б'ер'ечʼй*. В настоящее время подобные формы можно наблюдать только на периферии этой территории. В центре ее, на территории Вологодской группы говоров, развились формы типа *п'екчʼй, б'ер'екчʼй* при наличии обобщения основы в личных формах глаголов данного типа, последовательно представленного в вологодских говорах (*п'екў — п'ек'éш — п'ек'éт* и т. д.). Распространение новых форм типа *п'екчʼй, б'ер'екчʼй*, связанное, видимо, с указанным обобщением основы в формах настоящего времени, шло, как это показывает лингвистическая карта, от центра к периферии и как бы размыло старую территорию форм типа *п'ечʼй*. Аналогичную картину можно наблюдать на территории вологодских говоров при исследовании судьбы смычно-проходных боковых сонорных согласных. Более новое с исторической точки зрения явление чередования *l — ў* в этих говорах также, видимо, получало распространение из среды глубинных говоров и как бы угасало по направлению к их периферии, где еще можно наблюдать до сих пор исконное чередование *л — ў* [7].

В некоторых случаях изучение структурных разновидностей диалектных явлений может дать основание для предположения о том, что определенный круг местных языковых особенностей, противопоставляющих друг другу отдельные диалектные объединения, мог сложиться на основе внутренне единой закономерности. Так, можно думать, что под влиянием литературного языка и говоров северного наречия в говорах южного наречия появилась тенденция к совпадению основ в формах род.-вин. и дат.-предл. падежей местоимения 2-го лица и возвратного. Однако на разных территориях южного наречия действие этой тенденции протекает по-разному: в одних говорах уже представлена общая основа *теб-, себ-* в этих формах, в других, более глубинных говорах можно наблюдать эту тенденцию лишь в общем виде, а самое обобщение происходит на основе форм дат.-предл. падежей, в связи с чем общей основой в формах род.-вин. и дат.-предл. падежей становится *тоб-, соб-*, а не *теб-, себ-*.

При изучении истории языковых явлений по диалектным данным важное значение имеет учет различных связей и соотношений изучаемого явления с другими явлениями. Исследование языковых черт в соотношении с другими, особенно генетически с ними связанными, может представить ценные сведения, необходимые для исторического изучения лингвистического материала, т. е. для воссоздания процесса образования и развития той или иной языковой инновации. Например, изучение твердости — мягкости согласного возвратной частицы в положении после согласных в соотношении с характером распространения и качества этих согласных по говорам русского языка дало возможность предположить, что отвердение *с* в форме возвратной частицы первоначально было связано с позицией после твердого согласного, а по мере распространения этот процесс, как нередко бывает в таких случаях, получил в некоторых говорах расширенную сферу его реализации, т. е. твердый *с* стал произноситься в любом положении, в том числе и после гласного.

[7] См.: В. Н. Теплова, Материалы к изучению исторических связей между западными и северными говорами русского языка, ВЯ, 1973, 4.

В некоторых случаях изучение соотношения различных явлений друг с другом может дать материал для относительной хронологии языковой инновации. Так, например, распространенные в вологодских говорах формы сравнительной степени типа *добр'áйе, скор'áйе* появились, видимо, после того, как закончилось действие в этих говорах процесса изменения *а* в *е* под ударением между мягкими согласными. В тех же говорах представлены формы повелительного наклонения *л'ек, л'éкт'е*, для которых можно предположить более раннее изменение *а* в *е*, до редукции и утраты конечного *и* (*л'áг'и* → *л'éг'и* → *л'ек*).

На основании соотношения территорий распространения форм род. и вин. падежей единственного числа местоимения 3-го лица женского рода можно предположить, что форма род. падежа *йей* (*у йей* и под.) является, видимо, поздним новообразованием, поскольку к моменту развития категории одушевленности этой формы еще не существовало.

Сопоставительное изучение языковых черт друг с другом в ряде случаев позволяет сделать вывод о различном характере распространения явлений в прошлом и в современных говорах. Так, например, данные современных говоров о распространении форм род. и вин. падежей единственного числа местоимения 3-го лица женского рода позволяют предположить широкое распространение по говорам русского языка в прошлом форм род. падежа *йейé* и *йейó*. В современных же говорах эти формы наблюдаются лишь на узко локальных территориях, в то время как обширные ареалы распространения представлены у формы *йей*, более поздней инновации.

Важным условием при изучении вопросов истории русского языка по диалектным данным является систематический учет показаний других восточнославянских языков, особенно в тех случаях, когда речь идет о явлениях, известных одновременно русскому, белорусскому и украинскому языкам. Однако использование данных сравнительной диалектологии восточнославянских языков может быть успешно проведено лишь при условии разработки общей методики изучения материала, а также систематизации типичных случаев расположения ареалов общих для этих языков явлений.

Усиление диалектологической базы исторических исследований уже в настоящее время нередко дает возможность уточнить существующую в науке гипотезу относительно истории того или иного языкового явления, а в ряде случаев — выдвинуть новую гипотезу. По данным древней письменности, например, инфинитивы типа *н'ес'т'* и инфинитив *ит'т'úт'* могли бы рассматриваться как возникшие одновременно. На основании показаний современных говоров русского языка есть основание думать, что формы типа *н'ес'т'* развились несколько раньше, чем инфинитив *ит'т'úт'*. Об этом свидетельствует характер их распространения, отраженный на лингвистических картах: инфинитив *ит'т'úт'* на всей территории его бытования сосуществует с формой *ит'т'ú* или *ит'ú*, тогда как формы типа *н'ес'т'* представлены в исключительном употреблении на значительной территории.

Изучение явления переноса ударения в личных формах глаголов типа *дарúть, тащúть, варúть* и под. по данным лингвистической географии показало, что, в отличие от существовавшего в науке мнения [8], основным и первоначальным очагом процесса переноса ударения в этих формах являются, по-видимому, западные говоры русского языка. Лингвогеографические данные не подтверждают и предположения о том, что очагом возникновения форм с заменой корневого гласного являлись говоры с диссими-

[8] См.: С. П. Обнорский, Очерки по морфологии русского глагола, М., 1953, стр. 94 и сл.

лятивным яканьем. Характер распространения этих форм в современных говорах свидетельствует о том, что первоначальной территорией их распространения была восточная часть южного наречия русского языка.

В целом ряде случаев при существующих в науке разногласиях по вопросам о генезисе отдельных явлений современные диалектные данные представляют различные доводы в пользу обоснования того или иного мнения. Так, в результате исследования лингвогеографических данных можно прийти к выводу о том, что более убедительной представляется точка зрения об исконности окончания *т'* в 3-м лице глаголов в восточнославянских языках и вторичном характере окончания *т*. Подтвердилось также, например, предположение о развитии кратких форм местоимений *т'а*, *с'а* на основе утраты интервокального *j* и последующего стяжения гласных в формах *т'ейá*, *с'ейá*, как и предположение о развитии изменения *г* → γ в исторический период.

Данные лингвистической географии часто выдвигают новые основания для существовавшего уже в науке представления о генезисе тех или иных языковых черт, о языковых закономерностях развития отдельных диалектов и т. д. Так, например, изучение современных говоров подтвердило то мнение, согласно которому предполагалось, что для фонетического строя древненовгородского говора было характерно менее последовательное развитие корреляции согласных по мягкости — твердости. Свидетельством этого может служить наличие в современных новгородских говорах таких черт, как отвердение губных на конце слова, отвердение *т* в 3-м лице глаголов, отвердение *т* в суффиксах инфинитивов, а также фонетическое отвердение парных мягких согласных в разных позициях.

Невозможно переоценить значения данных лингвистических атласов русского языка в тех случаях, когда данные памятников письменности отсутствуют либо по причине отсутствия памятников раннего периода с данной территории, либо из-за невозможности графически отразить явление, либо из затруднений датировки. На основании лингвогеографических данных была изучена, например, история таких явлений, как образование обобщенных форм им. падежа множественного числа местоимения 3-го лица *онú* — *онé* — *оны́* — *йоны́*, форм род. и вин. падежей единственного числа местоимения 3-го лица жен. рода *йейé* — *йейó* — *йей* — *йейý* — *йенý* и т. д., история процесса обобщения основы личных форм у глаголов с основой на задненебный согласный и т. д. и т. п.

В настоящее время ведется работа по составлению сводного диалектологического атласа русского языка. Материалы этого атласа откроют новые возможности для дальнейшего изучения истории различных диалектных объединений русского языка. Несомненно, что в процессе работы над сводным атласом методика изучения диалектных явлений должна развиваться и совершенствоваться.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

С. Н. ИВАНОВ

К ИСТОЛКОВАНИЮ МНОГОЗНАЧНОСТИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

(На материале тюркских языков)

Вопрос о природе многозначности грамматических форм едва ли не главный вопрос грамматики. Эмпирическое многообразие значений той или иной грамматической формы ставит перед исследователем задачу объяснения их как определенной системы на основе убеждения в том, что «россыпь» частных значений не может быть неурегулированной, что в грамматике не может быть «беспорядка». К этому же побуждает и интуитивное недоверие к простому перечислению значений, так как перечисление не может являться целью научного описания определенной группы фактов [1].

Грамматические изыскания в тюркологии только в наши дни и притом весьма трудно расстаются с затянувшимся этапом простой систематизации и регистрации фактов языка. Но именно теперь, когда осуществлена огромная работа по систематизации фактов тюркской грамматики, необходима разработка теоретических и методологических основ грамматического исследования. Выход из тесных оков «перечислительной» грамматики возможен на основе приобщения грамматических исследований в области тюркских языков к тому направлению в грамматике, которое пытается уяснить проблему общих (инвариантных) значений грамматических форм.

Хотя сама идея общих значений имеет многочисленных противников, исследователь, пытающийся приложить к грамматическим изысканиям положения марксистского диалектического метода, не может обойти стороной то утверждение диалектики, согласно которому общее объективно существует и не может не существовать [2]. Следовательно, вопрос о том, что лежит в основе бесконечного варьирования значений отдельных грамматических форм (например, того или иного падежа),— это не вопрос о самом существовании общего (оно бесспорно), а вопрос о том, как понимать то общее, которым объединяется эмпирическое многообразие семантики той или иной грамматической формы.

Проблема общих значений, выдвигавшаяся и раньше [3], теоретически разрабатывалась Пражской школой. Р. Якобсон, например, связывал данную проблему с вопросом об асимметричности структуры языкового знака и о противопоставлении в пределах грамматической категории маркированного и немаркированного членов. Им было сформулировано понятие об общем значении падежа как о «синхроническом общем знаменателе» всех его частных (контекстуальных, комбинаторных) значений [4]. Однако

---

[1] Ср.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Избр. труды по общему языкознанию, II, М., 1963, стр. 52.

[2] См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 160.

[3] См., например: Н. П. Некрасов, О значении форм русского глагола, СПб., 1865, стр. 105—108.

[4] Р. О. Якобсон, Морфологические наблюдения над славянским склонением. «American contributions to the IV. International congress of slavists, Moscow, September 1958», 's-Gravenhage, 1958, стр. 5. См. также: «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II, М., 1962, стр. 47.

это определение находится в некотором противоречии с его же замечанием о том, что интеграция частных значений падежа не должна вести к установлению их «общего наименования» и что такое понимание общего значения является упрощением проблемы [5].

Критики теоретических положений Р. Якобсона отмечали «схематизм и априорность», свойственные попыткам установить общие значения падежей, принципиальную «неназываемость» общих значений [6], их «предельную отвлеченность» [7]. Указывалось также, что разнородные значения того или другого падежа не могут быть сведены к единому общему знаменателю [8].

Оригинальное обоснование общих свойств падежных форм дано Е. Куриловичем, постулировавшим принципиальную двойственность значений и функций каждого падежа, обусловленную различиями между синтаксическими и семантическими характеристиками падежа и между двумя типами позиций падежных форм — центральной и маргинальной [9].

Главным недостатком существующих попыток установления общих значений для грамматических форм является отсутствие надежной методологической основы в исследовании этой проблемы [10] и невыработанность определенной методики выделения общих значений [11]. В науке о языке все чаще высказывается мнение о необходимости определенной методологии как философской основы грамматических исследований [12]. Отсутствие четкой и надежной методологической основы особенно резко ощущается при решении вопросов трудных и запутанных, когда эмпирическая «разрозненность» фактов ставит исследователя перед сложной задачей объединения их в теории, обладающей убедительной объяснительной силой.

Несомненно, что к интересующей нас проблеме прямое отношение имеют диалектические положения о соотношении общего и единичного. Коренная особенность в понимании диалектической логикой категории общего (противостоящая толкованию общего формальной логикой) состоит в том, что диалектически общее не может быть выведено из единичных явлений, предметов и т. д. путем абстрагирования от их конкретных свойств, путем выделения одинакового в них, посредством установления некоего признака, в равной мере свойственного всем видовым единицам данного рода, данного класса предметов или явлений. Диалектическая логика утверждает, что общее по отношению к единичному — это та система связей, в которую включено данное единичное. Именно такое понимание общего ведет к созданию конкретно-общего понятия о нем, тогда как извлечение тождественных признаков из единичных видовых предметов данного родового класса может привести лишь к образованию абстрактно-общего представления, не отражающего сущности общего. Единичное — это явление, общее — это система, в рамках которой существует единичное, это глубинная основа ряда явлений, их сущность [13].

---

[5] R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936, стр. 252.

[6] М. И. Стеблин-Каменский, Грамматика норвежского языка, М.— Л., 1957, стр. 47—48, 153—154.

[7] А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, I, 2-е изд., Братислава, 1965, стр. 95.

[8] Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962, стр. 182—191.

[9] Там же, стр. 175—203.

[10] См. об этом: K. Horálek, Metodologické předpoklady historickosrovnávacího stádia gramatických kategorií, сб. «K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků», Praha, 1958, стр. 20.

[11] См.: «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 106.

[12] См.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 275, 293—294.

[13] См. об этом, например, в кн.: «Диалектика и логика. Формы мышления», М., 1962, стр. 64.

Таким образом, категория общего тесно связана с понятием сущности как скрытой субстанции предмета, проявляющейся вовне, как внутренне необходимой структуры предмета. Гносеологическое следствие такого понимания категорий общего и сущности состоит в том, что диалектическая логика считает единственным реальным содержанием научного понятия теоретическое воспроизведение сущности как общей основы взаимодействия внутри ряда единичных предметов (явлений). Способ конструирования научного понятия о том или ином объекте диалектическая логика видит в восхождении от абстрактного к конкретному; такое восхождение предполагает переход от отдельных абстрактных, т. е. констатируемых еще вне всеобщей связи, определений к конкретному определению, охватывающему собой отдельные частности в их всеобщей связи друг с другом. «Конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного» [14].

Для истолкования характера соотношения общего и единичного существенны также и диалектические категории предмета, свойства и отношения. Диалектический материализм исходит из субстанциального понимания существующего, т. е. рассматривает объективную действительность как совокупность вещей (предметов), являющихся носителями определенных свойств и отношений. Вещь не существует в виде «чистой» субстанции, т. е. отдельно от своих свойств и от отношений к другим вещам. Знание о предмете складывается из знания его свойств и связей с другими предметами. Сущность — глубинная субстанция предмета, проявляющаяся вовне в виде многообразных его отношений, которые возможны благодаря наличию у него определенных свойств. «...свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении...» [15].

Наконец, еще одно понятие диалектической логики, которое должно быть привлечено к объяснению проблемы грамматической многозначности, — понятие о противоречивом характере сущности. Выявление всего многообразия отношений, которыми сущность предмета обращена вовне, приводит к знанию ее свойств как внутренних ее характеристик. Познание внешних отношений предмета ко всему, с чем он связан, ведет к пониманию того единственного, органического отношения, в котором сущность предмета находится к самой себе: отношение ко всему остальному это и есть отношение сущности к самой себе, и отношение это должно быть познано как противоречивое. «В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия *в самой сущности предметов...*» [16].

Каким образом указанные методологические принципы, понятия и категории диалектики и диалектической логики могут быть приложены к анализу интересующей нас проблемы?

Прежде всего следует отметить, что попытки определения общего значения той или иной грамматической формы как общего семантического знаменателя всех ее возможных употреблений (и, соответственно, значений) — это извлечение абстрактно-одинакового, не ведущее к пониманию конкретной сущности данной грамматической формы. Точно так же и простое перечисление отдельных значений грамматической формы — это ряд не связанных друг с другом абстракций, не являющихся научным понятием. Гегель указывал, что характерной особенностью эмпирических наук является отыскание общего в единичных вещах без проникновения в их субстанциальную суть [17]. Если же, в соответствии с диалектической логикой,

[14] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 12, М., 1958, стр. 727.
[15] Там же, т. 23, стр. 67.
[16] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 227.
[17] Гегель, Соч., VI, М., 1939, стр. 18.

от абстрактных упоминаний отдельных свойств предмета «восходить» к конкретному — к системе, к сущности, к взаимодействию, то общее грамматическое значение анализируемой формы следует определить как систему ее значений, скрытую от непосредственного наблюдения сущность, стоящую за явлениями — частными значениями.

Соотношение грамматических понятий формы, значения и функции представляется возможным рассматривать в свете соотношения диалектических категорий предмета (вещи), свойства и отношения. Если грамматическую форму рассматривать как предмет, т. е. как нечто, имеющее отдельное бытие, то она обладает известной субстанцией, сущностью, складывающейся из ее свойств (значений), которые проявляются в ее отношениях, т. е. в ее функционировании. Скрытая субстанция грамматической формы может пониматься как ее отношения (синтаксические функции), «обращенные внутрь», т. е. как значения, заложенные в грамматической форме.

Субстанциальное понимание грамматической формы как носителя определенных свойств-значений, проявляющихся в ее отношениях (синтаксическом употреблении), отражает собой двойственную и противоречивую морфолого-синтаксическую природу грамматических форм: с точки зрения субстанциальности они обладают самостоятельным бытием и «до» своих связей, но вместе с тем их свойства реально проявляются только в единичных связях. Это противоречивое единство грамматических форм есть проявление диалектики общего и единичного, сущности и явления, предмета и его свойств. При таком понимании грамматических форм выявляется внутреннее единство их морфологических и синтаксических качеств: синтаксическая характеристика грамматической формы — это те отношения, в которые она вступает благодаря наличию у нее определенных значений, а морфологическая ее сущность — это ее значения, определяемые особенностями ее синтаксического употребления.

Как понимать систему значений? Какие системные отношения можно усмотреть в р я д е значений той или иной грамматически многозначной формы? Все изложенное ниже не является готовой схемой подхода к проблеме грамматической многозначности. Это — лишь возможное теоретическое осмысление ее с позиций диалектического метода, поиски путей интерпретации многочленных грамматических категорий, каждый член которых обладает полисемантичностью.

Рассмотрим одну, наиболее многозначную, форму, например исходный падеж, с тем, чтобы потом приложить добытые принципы к анализу других падежных форм и категории склонения в целом [18]. Наиболее «очевидным», «ближайшим» значением исходного падежа (с этого значения обычно и начинается описание данного падежа в грамматиках) является значение исходного пункта движения:

(1) *şehirden gitmek* «уйти (уехать) из города», *evden çıkmak* «выйти из дома». Это обстоятельственное значение исх. падежа («пространственное», по обычным определениям) четко противопоставлено обстоятельственным значениям дат.-напр. (*şehre gelmek* «прийти в город», *eve girmek* «войти в дом») и местн. (*şehirde oturmak* «жить в городе», *evde çalışmak* «работать дома») падежей. За пределами этого значения исх. падежа лежит обширный ряд объектных и некоторых других значений, которые не соотнесены с другими падежными формами столь же наглядным образом. Задача анализа этих значений представляется в следующем виде: проследить р я д

[18] Анализ осуществлен на материале турецкого языка, однако все изложенное ниже приложимо и к другим тюркским языкам. См.: С. Н. И в а н о в, «Родословное древо тюрок» Абу-л-гази-хана. Грамматический очерк, Ташкент, 1969.

взаимно связанных значений, их цепь как значений, сводимых друг с другом, уяснить предел сводимости значений и установить тот «остаток» значений, который находится за пределами сводимости; затем надлежит выяснить взаимную связь значений в рамках этого остатка и их отношение к первому ряду. Этот путь должен привести к пониманию данной грамматической формы как определенной структуры ее содержания.

У исх. падежа может быть прослежен следующий ряд связанных между собой, сводимых к идее отложительности значений:

(2) источник изъятия, изымания: *dostumdan kitap aldım* «я взял книгу у моего друга», *kuşu kafesten salıverdi* «он выпустил птицу из клетки», *halktan vergi almak* «взимать с населения налоги», *kitaplardan birini seçtiler* «они отобрали (=выбрали) одну из книг»;

(3) объект отграничения, отстранения (отделительно-привативное значение): *kardeşini ölümden kurtardı* «он спас своего брата от смерти», *aceba karısından boşandı mı?* «неужели он развелся со своей женой?», *uykusundan uyandıramamış* «он не смог очнуться от своего сна»; с этим значением связано употребление послелогов отграничительного значения с исх. падежом (*sonra* «после», *önce/evvel* «до», «прежде», *beri* «с тех пор как», *başka* «кроме»);

(4) объект — источник выделения чего-либо или частичный объект: *doktorlardan birini çağırdım* «я позвал одного из докторов», *meşhur baklava ve çöreklerden bol bol yedi* «он вволю поел знаменитой баклавы и чореков»; ср. аналогичное значение при предикативном употреблении исх. падежа: *o askerlerdendir* «он — из военнослужащих»;

(5) объект — источник осуществления действия или состояния: *yüzünden dargın olduğunu anladi* «по ее лицу он понял, что она обижена», *onu hareketlerinden tanıdım* «я узнал его по его поступкам», *okuduğum kitaplardan çok faydalı malûmat bildim* «из прочитанных мною книг я познал много полезных сведений»;

(6) объект со значением происхождения: *tüccar ailesinden geliyor* «он происходит из семьи торговцев», *bir anadan doğan kardeşler* «братья, рожденные от одной матери»; ср. предикативное употребление исх. падежа: *kendisi orta halli bir ailedendir* «он — из семьи среднего достатка»;

(7) объект — источник возникновения действия или состояния (причинное значение): *ayağından yattı* «он слег из-за (болезни) ног», *yağmurdan mağazaya gitmedim* «из-за дождя я не пошел в магазин»; ср. идиоматизированные значения, в которых оттенок причинного значения сохраняется как бы в «приглушенном» виде: *o, bu işten memnundur* «он доволен этим делом (= из-за этого дела)», *hareketlerimden pişman oldum* «я раскаялся в своих поступках (= из-за своих поступков)», *karısını bacanağından kıskanıyormuş* «оказалось, что он ревнует свою жену к свояку (= из-за свояка)»;

(8) объект со значением содержания: *heyet on kişiden kuruluydu* «комиссия была составлена из десяти человек», *bagajı iki bavuldan ibaretli* «его багаж состоит из двух чемоданов»;

(9) объект со значением материала («источник изготовления»): *duvarı taştan yaptılar* «стену сделали из камня»;

(10) объект — источник сравнения: *taştan ağır* «тяжелее камня», *benden iyi okuyor* «читает лучше, чем я», *sinekten büyücek böcek* «букашка чуть побольше мухи»; связь этого значения с семантикой отграничения [см. (2)] хорошо видна на примерах типа *sizden farklı olarak* «в отличие от вас», «по-иному, нежели вы».

Наряду с указанной цепью отложительных значений, у исх. падежа могут быть отмечены значения, не сводимые к семантике отложительности, но образующие особый ряд значений, в котором отдельные звенья объединены семантикой затрагивания действием, т.е. своеобраз-

ным значением приложительности[19]. Здесь могут быть выделены следующие случаи:

(11) значение орудия, средства осуществления действия, предмета-посредника, предмета, к которому прикладывается действие: *şart olsun seni saçlarından asarım* «клянусь, я повешу тебя за волосы», *kapı deliğinden bir otomobil görünmekte* «через отверстие в двери виднеется какой-то автомобиль», *merdivenlerden iniyor* «он спускается по лестнице», *pencereden soğuk geliyor* «через окно доходит холод», *evin kapısından girerken* «когда он входил через дверь дома»;

(12) значение посредствующего пространства: *üst taraftan, sarayın duvarları dibinden yürüdüler* «они прошли верхним краем, у подножия дворцовых стен», *çamurlu yoldan gidiyorlar* «они идут по грязной дороге», *yüzünden yaşlar akıyor* «по лицу его текут слезы»;

(13) изъяснительное значение («приложительность» при глаголах речи или существительных, имеющих «речевое» значение): *şundan bundan konuşuyorlardı* «они говорили о том, о сем», *yetiştirdiği çiçeklerden bahsetti* «он говорил о цветах, которые он выращивает», *hiçbir şeyden malûmatımız yok* «у нас ни о чем нет сведений», *geçenden hikâye* «рассказ о прошлом»;

(14) касательно-достигательное значение: *jandarmanın biri ayağıyla arkasından dokundu* «один из жандармов прикоснулся ногой к его спине», *göğsünden yaralı* «раненный в грудь», *ayaklarından tutup sürükledi* «он волочил его, схватив за ноги», *bileğinden yakaladı* «он ухватил его за руку», *yanağından öpüyor* «он целует ее в щеку», *arkasından yetişmek* «догнать кого-либо сзади».

Таким образом, подводя итог анализу значений исх. падежа и попыткам усмотреть в них систему, можно сказать, что на поверхности фактов очевидно противопоставление обстоятельственного значения исх. падежа («откуда?») дат. («куда?») и местн. («где?») падежам, а вне этого противопоставления — в сфере главным образом объектных значений данной падежной формы — наблюдается богатое варьирование их, причем самым характерным признаком этого варьирования оказывается расщепление сложной гаммы значений на противоположные группы значений отложительных и «приложительных».

В том, что указанное распределение значений исх. падежа представляет собой не субъективную их интерпретацию, а специфическое свойство грамматически многозначной формы, убеждает рассмотрение совокупности значений другой многозначной падежной формы — дат. (напр.) падежа, у которого соотношение многообразных его значений в принципе такое же, как и у исх. падежа. Обстоятельственное значение дат. падежа («куда?»), противостоящее обстоятельственным значениям исх. и местн. падежей, сосуществует в нем с пространным рядом объектных значений, в котором также можно усматривать две группы противоположно направленных значений. С одной стороны, это ряд «адресатных» значений направления (*lokantaya gittim* «я пошел в столовую»), достигательности (*şehre geldik* «мы пришли в город»), цели (*suya gitti* «он пошел за водой»), предназначения (*oğluna palto aldı* «купил своему сыну пальто») и некоторые другие; с другой стороны, это ряд значений, объединяемых семантикой объекта, вызывающего ответную реакцию в виде действия или свойства, проявляемых по отношению к объекту (1), или объекта, предполагающего предметную компенсацию, замену, эквивалент, подобие (2).

[19] Факт наличия у исх. падежа приложительных значений отмечен А. Н. Кононовым (см. его «Грамматику современного турецкого литературного языка», М.— Л., 1956, стр. 90—91).

(1) *haline acıdım* «я сочувствовал его положению», *doğru lafa «hayır» diyen yok* «никто не скажет „нет" справедливым словам», *ne dersin bu akla?* «что ты скажешь на этот совет?», *hele delikanlılar amerikan cıgarasına bayılıyor* «в особенности обмирают по американским сигаретам юноши», *uyduruk söze kandın* «ты поверил вздорным словам», *bu işlere inancım artıyor* «мое доверие к этим делам увеличивается», *var mı buna bir diyeceğiniz?* «имеете ли вы что-либо сказать на это?», *bu sevinç buhranına tutuldular* «они поддались этому порыву радости», *yaptığıma birdenbire pişman oldum* «я внезапно раскаялся в содеянном мною», *suallerime soğuk cevaplar veriyordu* «на мои вопросы она давала холодные ответы», *insan olduğuna utanırsın* «ты устыдишься того, что ты зовешься человеком»;

(2) *arabalar beş kuruşa* «(детские) тележки по пять курушей», *bu malı bana yüz liraya satar mısın?* «продашь ли ты мне этот товар за сто лир?», *gayretle çalışacağına gezip tozuyor!* «вместо того, чтобы старательно работать, он разгуливает!», *köylü verdiğine mukabil ne alır?* «что крестьянин получает взамен того, что он отдает?».

Совокупность значений исх. и дат. падежей показывает, что в своих конкретных пространственных значениях эти падежи вместе с местн. падежом образуют специфический ряд падежных форм с обстоятельственными значениями, противостоящими в пределах этого ряда. Отвлеченные же значения дополнения у обоих этих падежей выходят за пределы их соотношения между собой [20] и с местн. падежом и оказываются соотнесенными с объектными значениями других падежей — основн. и вин. (ср., например, противопоставление значений частичного объекта у исх. падежа: *fındıklardan verdi* «дал орехов» и объекта, полностью охватываемого действием, у вин. падежа: *fındıkları verdi* «дал орехи»). Все падежи, способные выражать объектные значения, противостоят основн. падежу как падежу субъекта, подлежащего.

Рассмотрение всей совокупности значений и функций других падежных форм убеждает, что противоречивая двойственность значений характерна для каждой падежной формы. При этом двойственность значений у каждого падежа связана с двояким противопоставлением падежей — в пределах «своего», м а л о г о ряда падежных форм и в рамках всей падежной системы в целом, т. е. в пределах б о л ь ш о г о ряда. В м а л о м ряду падежных форм выявляется внешняя противопоставленность одного падежа другим — ближайшим его коррелятам, в б о л ь ш о м ряду область противопоставления шире и грамматичнее, а собственные значения падежа проявляют большое разнообразие, доходящее в крайних своих звеньях до полной противоположности значений у каждого падежа — противоположности не внешней, а в н у т р е н н е й. Эта особенность падежей в тюркском склонении выглядит следующим образом.

О с н о в н о й падеж в «своем», м а л о м ряду форм противостоит своим ближайшим коррелятам — род. и вин. падежам. Противопоставление основн. и род. падежей имеет место в изафетных сочетаниях с прилегающим определением: основн. падеж здесь является формой отвлеченно-предметного определения (*çocuk uykusu* «детский сон»), противостоящей род. падежу как форме конкретно-предметного определения (*çocuğun uykusu* «сон ребенка»). Противопоставление основн. и вин. падежей имеет место в позиции прилегающего прямого дополнения: основн. падеж здесь является формой отвлеченно-предметного дополнения (*kitap okuyor* «читает книгу/книги»), противостоящей вин. падежу как форме прямого до-

[20] В этом плане чрезвычайно показательна нейтрализация различий в значениях исх. и дат. падежей в тех случаях, когда они не имеют пространственного значения: *yaptığımdan pişman oldum*=*yaptığıma pişman oldum* «я раскаялся в содеянном мною».

полнения с конкретно-предметным значением (*bu kitabı okuyor* «читает эту книгу»). Вне этого ряда противопоставлений, т. е. в позиции подлежащего, основн. падеж сам может иметь и конкретно-предметное (*bu at iyidir* «этот конь хорош») и отвлеченно-предметное (*at hayvandır* «конь — животное») значения, т. е. сочетает в себе противоположные значения.

Винительный падеж в прилегающей к глаголу позиции является формой конкретно-предметного дополнения, противостоящей основн. падежу как форме отвлеченно-предметного дополнения, а в отстоящей от глагола позиции он — единственная форма прямого дополнения, противостоящая основн. падежу не как падежу дополнения, а как падежу подлежащего, и соотнесенная с другими падежами управляемого дополнения (дат., исх., местн.). При этом в отстоящей позиции, т. е. вне непосредственного противопоставления основн. падежу, вин. падеж может иметь и конкретно-предметное и отвлеченно-предметное значения [21].

Родительный падеж в позиции прилегающего определения в изафете противостоит основн. падежу как форма конкретно-предметного определения форме отвлеченно-предметного определения. Вне этого внешнего противопоставления род. падеж является единственной формой определения в изафете с разомкнутыми членами, причем его значения могут доходить до полной противоположности реальному значению принадлежности (ср.: *evin sahibi* «хозяин дома»).

Дательный падеж в пространственном, конкретном значении противопоставлен в пределах «своего» ряда исх. и местн. падежам, а своими объектными значениями входит в ряд всех падежей, способных обозначать дополнение, причем объектные значения сочетают в себе семантику объекта направленности действия (действие → объект) с противоположным значением объекта, вызывающего ответную реакцию (объект → действие).

Исходный падеж в пространственном, конкретном значении противостоит дат. и местн. падежам, а в объектных своих значениях, соотнесенных с другими объектными падежами, выявляет противоположные значения отложительности (объект → действие) и «приложительности» (действие → объект).

Местный падеж в обстоятельственных своих значениях противопоставлен в пределах «своего» ряда дат. и исх. падежам, а объектные его значения выходят за пределы этого противопоставления и обнаруживают внутри себя сложное разнообразие (значения среды, сферы действия, средоточия чего-либо; «габаритные» значения: размер, возраст, вид, форма, цвет, вес, цена и т. п.).

В свете изложенных выше методологических принципов эта двойственность значений многозначной формы (в данном случае падежа) может пониматься как инвариантное общее значение. Можно полагать также, что два типа соотношения многозначной формы с другими — внешняя противопоставленность ближайшим коррелятам в пределах «своего», малого ряда форм и противопоставление всему ряду форм данной категории с расщепленностью значений на противоположные внутри каждой формы — представляют собой дифференциальные признаки данной формы. Понятие о грамматически многозначной форме как содержащей в себе противоречивое единство значений отвечает требованиям, предъявляемым к научному понятию: «... вообще *всякое* понятие есть единство противоположных моментов ...» [22].

---

[21] В позиции отстоящего прямого дополнения форму вин. падежа получают и такие типы слов, которые в прилегающей к глаголу позиции имеют форму основн. падежа (см.: А. Н. Кононов, указ. соч., стр. 400).

[22] Гегель, Соч., V, М., 1937, стр. 205.

Анализ других грамматических категорий — как с многочленным противопоставлением форм (например, категория времени), так и с двучленным противопоставлением форм (например, категория числа) — позволяет думать, что изложенные выше принципы приложимы и к ним. Так, например, простые глагольные времена с неразложимыми показателями времени в турецком глаголе (*-dı, -yor, -ar, -acak, -mış*) выявляют свою двойственную природу посредством двоякого противопоставления их — в рамках «своего» ряда и по отношению к системе сложных прошедших времен (*-yordu, -ardı, -acaktı, -mişti*). Прошедшее время с формантом *-dı* в ряду других прошедших времен обозначает особый тип прошлого действия («компактное», нерасчлененное действие), тогда как безотносительно к этому противопоставлению, за пределами ряда прошедших времен, обозначает прошедшее время вообще, т. е. имеет значение прошедшего времени без указания его оттенков. Временная форма с показателем *-yor* в ряду простых форм обозначает настоящее время данного момента, а по отношению к сложным прошедшим временем имеет значение длительности. Форма времени с аффиксом *-mış* в «своем» ряду имеет перфектные оттенки значения, а в ряду сложных форм времени выступает как форма давнопрошедшего времени. Аналогичное соотношение значений можно усмотреть и в других формах времени.

В категории числа простейшее, в н е ш н е е соотношение форм с нулевым окончанием и с показателем *-lar/-ler* выглядит как противопоставление значений единицы и множественности, но вне этого соотношения форма ед. числа по-иному противостоит форме мн. числа — она имеет значение собирательной множественности (т. е. значение, противоположное значению единичности), противопоставленное значению расчлененности у формы мн. числа. Иначе говоря, каждая форма в двучленной категории числа внутренне противоречива, и оба члена противопоставления выявляют свою противоречивость посредством соотнесенности их двойственных значений.

Предложенное выше понимание противоречивой двойственности каждой грамматической формы, хотя и основано на понятии внутрикатегориальных оппозиций, несколько отлично от теории бинарных оппозиций: последняя обращает внимание на внешнее противопоставление отдельных форм, тогда как понятие о вхождении каждой формы в два ряда оппозиций подчеркивает обязательную внутреннюю противоречивость каждой формы, определяющую ее вхождение в два ряда противопоставлений и определяющуюся этими противопоставлениями. Такое понимание соотношения значений у каждой многозначной формы отлично и от теории маркированности одного из членов оппозиции: теория маркированного члена положительно определяет только один из членов противопоставления, а другой член определяет отрицательно, тогда как положение о противоречивой двойственности каждой формы положительно определяет каждый из членов оппозиции как носителя своеобразного, только ему присущего сочетания противоречивых значений, т. е. квалифицирует каждый член субстанциально.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО СИНТАКСИСУ И ТЕМЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ СОЧИНЕНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ АКАД. А. А. ШАХМАТОВЫМ [1]

Гениальный исследователь, языковед и литературовед, историк и филолог А. А. Шахматов блестящую и славную деятельность в Академии наук соединял с занятиями прирожденного педагога.

Преподавательская деятельность А. А. Шахматова началась в Московском университете, но продолжалась там недолго: всего с марта по ноябрь 1890 г. В 1908 г. А. А. Шахматов был приглашен историко-филологическим факультетом С.-Петербургского университета читать лекции по русскому языку. С 1908 по 1920 г. А. А. Шахматов читал курсы истории русского языка, старославянского языка, исторической диалектологии, белорусского языка, сравнительной грамматики славянских языков, современного русского литературного языка.

О состоянии отечественного языкознания в начале века, очень высоком, но объединяющем синхронный и диахронический аспекты изучения и преподавания языка, свидетельствуют рекомендованные в Петроградском университете А. А. Шахматовым пособия и предлагаемые им темы для рефератов в семинариях.

Во вступительных лекциях по синтаксису, писанных в июне — августе 1916 г., А. А. Шахматов рекомендует студентам пособия, кратко характеризуя каждое из них. Ниже приводится полностью одна из таких лекций (Архив АН СССР, фонд 134, опись 1, № 83/8, л. 300—302).

*

Скажу несколько слов о тех пособиях, которые могли бы помочь в усвоении оснований русского синтаксиса и подвинуть некоторых из вас на дальнейшую его разработку.

К числу старших, но до сих пор не устаревших пособий относится вторая часть «Исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева (первое издание под заглавием «Опыт исторической грамматики русского языка. [ч. 1. Этимология, ч. 2. Синтаксис]»[2] вышло в 1858 г. в Москве); труд этот содержит хороший материал, извлеченный из памятников и из современных писателей; кроме учения о значении и употреблении грамматических форм, синтаксис Ф. И. Буслаева заключает в себе обширные отделы, посвященные составу предложений, определению членов предложений, а также анализу сцепления предложений.

Между 1868 и 1874 гг. выходил выпусками сравнительный синтаксис славянских языков Франца Миклошича [Fr. Miklosich] («Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen», Wien, 1868—1874) как IV том его сравнительной грамматики. Здесь мы не найдем анализа предложений. Ф. Миклошич задачу синтаксиса ограничил изучением грамматических классов слов и грамматических форм, а также употреблением последних; тем не менее богатейший материал, собранный в обширном труде Ф. Миклошича

---

[1] Публикация осуществлена Э. И. Коротаевой; ей принадлежит предисловие комментарий и заключение.

[2] При подготовке рукописи к печати были добавлены некоторые библиографические данные (они заключены в квадратные скобки). — *Ред.*

как из других славянских языков, так и из русского, может быть использован и для тех отделов науки о языке, которые составляют самую суть синтаксиса; так, падежные формы определяются между прочим и как члены предложения; вслед за именительным падежом как обычным выражением подлежащего предложения Ф. Миклошич рассматривает в особой главе безподлежащные предложения (subjektlose Sätze); определяя значение и употребление творительного падежа, Ф. Миклошич подробно рассматривает употребление этого падежа при сказуемом и т. д.

В самый год окончания труда Ф. Миклошича, т. е. в 1874 г., появилось у нас в России исследование А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике» [ч. 1, Воронеж]; этим исследованием по справедливости гордится русская филологическая наука. Отличная подготовка и способность к глубокому анализу привели А. А. Потебню к созданию самостоятельной системы в изложении синтаксиса; она противоположна системе Ф. Миклошича и полагает в основание исследования не изучение значений и употреблений грамматических категорий, а изучение строения и состава предложения. Дальнейшие успехи синтаксических изучений в России всецело обязаны А. А. Потебне; лучшие исследователи пошли по его стопам. Труд А. А. Потебни состоит из двух частей: первая, озаглавленная «Введение», представляется и теперь ценнейшим и, быть может, важнейшим пособием, в особенности в X его главе, посвященной изучению членов предложения и отношения к ним частей речи; вторая часть, озаглавленная «Составные члены предложения и их замены в русском языке» [Харьков, 1874], дает углубленное в историю исследование из русского синтаксиса, распадаясь на следующие отделы: «Составное сказуемое и приложение», «Вторые косвенные падежи», «Неопределенное наклонение» и «Творительный падеж». Обе части в 1888 г. [Харьков] вышли во втором исправленном и дополненном издании. В 1899 г. [Харьков] появилась в посмертном издании третья часть «Из записок по русской грамматике»; содержание этого труда не покрывается вторым его заглавием «Об исследовании значения и заменах существительного», ибо оно заключает не только исследование о значении грамматических классов существительного, но также ряд отделов, относящихся к анализу предложения: «Несогласованность приложения в падеже», «Союз между словами, соединенными атрибутивно», «Переход приложений в предложения», «Место придаточных предложений с относительным словом по отношению к главным», «Предикативность существительного», «Устранение подлежащего». Полезным пособием при изучении синтаксических трудов А. А. Потебни является их конспект, который под заглавием «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни» составлен и издан И. Белоруссовым (Орел, 1901), допустившим, впрочем, местами в свое изложение неточности и недосмотры.

К 70-м годам, когда появились первые синтаксические исследования А. А. Потебни, относится весьма содержательная и построенная на широких основаниях докторская диссертация Ф. Е. Корша «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса» (М., 1877). В 1881 г. [Воронеж] вышел другой русский труд, посвященный сравнительному синтаксису: это «Синтаксические исследования» А. В. Попова, ученика А. А. Потебни; рядом с приведенным общим заглавием имеется другое, частное, ближе определяющее содержание 1 выпуска исследования, оставшегося, впрочем, и единственным вследствие ранней смерти автора: «Именительный, звательный и винительный в связи с историей развития заложных значений и безличных оборотов в санскрите, зенде, греческом, латинском, немецком, литовском, латышском и славянском наречиях» (отдельный оттиск из «Филологических записок» вышел в Воронеже, причем на заглавном листе отмечен редактором день смерти автора: 26 сентяб-

ря 1880 г. — и указано, что исследование, названное им первым, является и последним). Высказанные в этой книге взгляды на сущность «одночленных» (безглагольных) предложений встретили, как увидим, критику в лице самого А. А. Потебни (во втором издании «Из записок по русской грамматике»), а все вообще сочинение подверглось суровой, но справедливой оценке Ф. Ф. Фортунатова, тогда еще доцента Московского университета (см. «Отчет о 26-м присуждении наград гр. Уварова» [«Зап. имп. Акад. наук», XLIX, 1884). Ф. Ф. Фортунатов упрекнул А. В. Попова в методологической ошибке, состоявшей в том, что последний делал отправными положениями своего исторического исследования некоторые гадательные предположения об образовании и первоначальном значении падежей в эпоху доисторическую, предшествующую распадению индоевропейского праязыка. Разбор Фортунатова интересен между прочим потому, что в нем он впервые коснулся печатно синтаксических вопросов.

Синтаксис издавна интересовал Ф. Ф. Фортунатова, но печатных трудов в этой области он оставил немного; синтаксическим вопросам уделялось им значительное внимание в общих трудах по языковедению, можно надеяться, что литографированные издания этих курсов появятся вскоре в печати: тогда наступит возможность оценить, что нового внес в изучение синтаксиса Ф. Ф. Фортунатов. Некоторые свои взгляды на предложение и на члены предложения Ф. Ф. Фортунатов изложил в лекции «О преподавании грамматики русского языка в средней школе», напечатанной в «Трудах 1-го съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях», появившихся в 1904 г. [СПб.] (перепечатана в РФВ, LIII, 1905). Мысли Ф. Ф. Фортунатова нашли себе изложение и в трудах некоторых из его учеников, например в VIII главе «Введения в языковедение» В. Поржезинского (4-е изд., М., 1916). Много ценного дали исследования Ф. Ф. Фортунатова для определения значений и употребления грамматических, а именно глагольных категорий в славянских и балтийских языках; в числе их назову статью Ф. Ф. Фортунатова «О залогах русского глагола» (ИОРЯС за 1899 год), а в особенности его разбор двух диссертаций Г. К. Ульянова «Основы настоящего времени в старославянском и литовском языках» и «Значения глагольных основ в литовско-славянском языке» (разбор Ф. Ф. Фортунатова был напечатан в 64 т. Сборника ОРЯС). Оба труда Г. К. Ульянова представляются ценными приобретениями для русской науки, как и в свое время весьма известный труд Н. П. Некрасова «О видах русского глагола» ([СПб.], 1865). Смерть помешала Ф. Ф. Фортунатову обнародовать свои мысли о безличных предложениях, которым он посвящал последние свои трудовые часы.

В 1893 г. как часть «Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen» появилось начало труда Б. Г. Дельбрюка [B. Delbrück], известного исследователя древнеиндийского и греческого синтаксиса, под заглавием «Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen» (продолжение его появилось в 1897 и 1900 гг.). Для исследователя русского синтаксиса представляет интерес не только общая постановка вопросов в названном труде выдающегося лингвиста, но также и предлагаемое им освещение славянских, в частности русских явлений. В первых двух частях Б. Дельбрюк излагает учение о значениях и употреблении грамматических форм: сначала об имени существительном, прилагательном, местоимениях, числительных, наречиях и предлогах, затем о глаголе и частицах; в третьей части дается учение о предложении.

К 1899 г. относится содержательное и подводящее итог некоторым предшествующим работам других ученых исследование И. В. Ягича [V. Jagić] под заглавием «Beiträge zur slavischen Syntax» (Wien, 1899); в своих основных взглядах на задачи синтаксиса И. В. Ягич, как он об

этом сам заявляет, сходится с А. А. Потебней и расходится с Ф. Миклошичем, оставившим без внимания учение о предложении, так и с Б. Дельбрюком, отступившим в только что названном его труде от того изложения синтаксических явлений, которого он держался в синтаксисе древнеиндийского языка («Altindische Syntax», Halle, 1888), где на первом месте стояло учение о предложении. И. В. Ягич в своем «Beiträge» рассматривает сначала простейшие виды предложений, переходит затем к безличным предложениям и дает обозрение способов выражения подлежащего и сказуемого.

Работы Д. Н. Овсянико-Куликовского по синтаксису восходят к 1896 г., когда он напечатал в «Русской Мысли» [кн. 12] статью «Очерки науки о языке». В 1897 и 1898 гг. появились в «Журнале Министерства Народного Просвещения» его «Синтаксические наблюдения», где он рассматривал составное сказуемое. В 1900 г. в «Известиях Отделения русского языка и словесности» [V, кн. 4] он напечатал статью «Из синтаксических наблюдений. К вопросу о классификации безсубъектных предложений». В 1902 г. [СПб.] появилось первое издание его «Синтаксиса русского языка»; свой труд автор определял как попытку общедоступного изложения научного синтаксиса русского языка; в значительно исправленном и дополненном виде вышел этот «Синтаксис» во втором издании (СПб., 1912). В предисловии к своему труду автор говорит, что в основу изложения им положена система А. А. Потебни, причем автор разделяет точку зрения, научные принципы и большую часть выводов этого ученого. Указав на труды других ученых, проводивших и развивавших взгляды А. А. Потебни, на различие метода А. А. Потебни от метода Ф. Миклошича, Д. Н. Овсянико-Куликовский предлагает прочувствованную характеристику своего учителя: «Потебня,— говорит он,— был глубокий мыслитель, творческий и обобщающий ум,— из числа тех, в которых дарование наблюдателя гармонически сочетается с интуицией созерцателя, предвосхищающего гениальной догадкой тайну явлений, чтобы потом раскрыть ее средствами методического индуктивного исследования». «В общем и существенном,— повторяет автор „Синтаксиса русского языка",— я иду за Потебней,— по торной дороге, им проложенной». Тем не менее в двух принципиальных вопросах Д. Н. Овсянико-Куликовский отмечает свое расхождение с А. А. Потебней, а именно в вопросе об отношении грамматического мышления к логическому, где, как мне кажется, справедливо указание автора «Синтаксиса»[3]. Д. Н. Овсянико-Куликовский именно утверждает, что исследования в области истории развития синтаксических форм имеют ближайшее отношение не только к психологии мышления, но и к логике, а также в вопросе о том, можно ли считать слово, отдельно взятое, единицею речи или нельзя, а таковою единицею следует признавать предложение, как именно полагал Потебня. Несмотря на все значение, которое «Синтаксис» Д. Н. Овсянико-Куликовского имеет для нас в качестве почти единственного руководства, я не отвлеку здесь вашего внимания к оценке этого труда и к спорным вопросам, им вызываемым.

Прежде чем назвать несколько ценных русских работ, посвященных синтаксису и появившихся в последние два десятилетия, укажу как на полезные пособия и руководства еще на следующие иностранные сочинения. К. Бругман, один из двух редакторов названного выше «Grundriss der vergleichende Grammatik...», предоставил составление сравнительного синтаксиса Б. Дельбрюку. В 1904 г. К. Бругман издал сокращенное изло-

[3] Начиная со слов «где...» до слов «автора „Синтаксиса"» включительно в рукописи зачеркнуто.— *Э. К.*

жение всей грамматики в одном объемистом томе [K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, Strassburg, 1904]. Но изложение преследовало цель не только повторить сжато то, что появилось в пяти томах большой сравнительной грамматики, но и подвергнуть вообще все вопросы пересмотру. Вместе с тем для полноты изложения из краткого очерка нельзя было исключить и синтаксис, обработка которого в большой грамматике принадлежит не Бругману, а Дельбрюку.

К. Бругман вышел из затруднения, решив включить все учение о значениях и употреблении грамматических форм в «Морфологию», которая таким образом расширена в соответствующих местах отделами, относящимися по обычно принятому распорядку к синтаксису; вся морфология названа учением о формах слов и их употреблении; за морфологическим рассмотрением производимых имен следует исследование их со стороны их значения; за морфологическим рассмотрением падежных образований и образований числа сначала имен, потом местоимений, предложено учение о значении форм числа существительных и местоимений и падежных форм; за рассмотрением глагольных образований помещены главы, посвященные их употреблению. Как видно из «Предисловия», К. Бругман руководствовался при этом практическими соображениями, вытекающими из определения задач синтаксиса. «От вопроса о том, какое значение имеют в языке синтаксические явления,— замечает К. Бругман,— должен быть отделен вопрос, как изложить наиболее целесообразно в составе одного цельного грамматического труда то, что относится в языке к синтаксису». Таким образом первые две задачи труда Б. Дельбрюка включены К. Бругманом в сокращенной грамматике в отдел «Морфологии»; что до третьей части, содержащей учение о предложении, то ей соответствует последний отдел сокращенной грамматики (стр. 623—705), названный учением о формах предложения. Появление этого сокращенного труда Бругмана повлияло на обработку появившихся за ним томов второго издания большой грамматики ...[4] здесь рассмотрены числительные, существительные, местоимения, далее значение форм числа и падежей в именах и местоимениях, прилагательное, наречия в отношении к их формам и употреблению, предлоги в отношении к их формам и употреблению. В 1913 г. вышел первый выпуск третьей части того же второго тома, где рассмотрены глагольные образования, во втором выпуске будет предложено учение о значении этих грамматических форм, а также рассмотрены союзы и их употребление.

В 1908 г. [Göttingen] вышел II том труда В. Вондрака [W. Vondrak] «Vergleichende slavische Grammatik», содержащий морфологию (стр. 1—259) и синтаксис (стр. 260—541); поскольку профессору Венского университета принадлежит заслуга использования обширного материала, извлеченного из всех славянских языков, а также предшествующей грамматической литературы, изложение синтаксиса в некоторых частях, в особенности в одной из последних, где говорится о сцеплении предложений, весьма удовлетворительно и для исследователя русского синтаксиса очень поучительно.

Много ценного для того же русского синтаксиса дал парижский лингвист А. Мейе (A. Meillet): в 1897 г. [Paris] появилась его работа «Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux slave», где автор старается выяснить причину и начало замены старой формы винительного падежа единственного числа имен одушевленных формой родительного падежа; в 1902 г. [Paris] он издал первую часть своих «Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave», на первых 100 страницах которой он поместил исследование о видах совершенном и несовершенном в славянском пере-

[4] Нами опущено здесь прежнее название грамматики и ее название во втором издании.— *Э. К.*

воде евангелия, причем сначала предлагается морфологическое определение соответствующих образований, а потом рассматривается их грамматическое употребление.

Тесно примыкают к этому прекрасному и в методологическом отношении образцовому труду две работы ученика профессора А. Мейе, успевшего приобрести уже славное имя как исследователя русской литературы, А. Мазона (A. Mazon); работы эти прямо посвящены русской грамматике. Первая работа содержит морфологию русских глагольных форм совершенного и несовершенного вида: «Morphologie des aspects du verbe russe» (Paris, [1908]); вторая посвящена их грамматическому употреблению: «Emplois des aspects du verbe russe» (Paris, 1914).

В 1900 г. появился труд знаменитого психолога В. Вундта [W. Wundt], задавшегося целью выяснить психологические основания языка, человеческих языков вообще. Его заглавие: «Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte von Wilhelm Wundt». Bd. I — Die Sprache [Leipzig, 1900]. Языку предоставлено два тома. Второе издание вышло в 1904 г. Третье — в 1911 и 1912 гг. Отделы, относящиеся к синтаксису, помещены во втором томе, а именно первые его главы: шестая по общему счету, озаглавленная «Die Wortformen», и седьмая — «Die Satzfügung».

В. Вундта можно упрекнуть вслед за его критиками в недостаточной лингвистической подготовке и в том также, что он мало считался с историей языка, предпочитая основывать свои заключения на языках так называемых первобытных народов и упуская при этом из виду, что отличием их от языков культурных народов является прежде всего не отсутствие у них в прошлом исторического развития, а отсутствие памятников, данных этого развития. Но чрезвычайно важна та широта, с которою Вундт развернул картину психологических процессов, вызвавших появление языка и дальнейшего его развития. В каждом отделе указанных двух глав исследователь синтаксиса найдет много тонких наблюдений и широких обобщений; в одной из ближайших лекций мне придется указать на заслуги В. Вундта в освещении основного для синтаксиса вопроса о природе и значении предложения. Русский читатель найдет интересный отзыв о труде Вундта в статье проф. Д. Н. Кудрявского «Психология и языкознание», помещенной в «Известиях Отделения русского языка и словесности» за 1904 г. (IX, кн. 2), а также в статье проф. Е. Ф. Будде «Учение Вундта и Пауля о предложении как основа учения о синтаксисе» (ИОРЯС за 1910 г., XV, кн. 4).

Имя Г. Пауля, названное в приведенном заглавии, дает мне повод рекомендовать вашему особенному вниманию весьма известный в Германии труд последнего, посвященный освещению теоретических вопросов языкознания и подробно останавливающийся на значении психических факторов в развитии языка; в противоположность В. Вундту, Г. Пауль основывается на данных таких языков, как греческий и латинский, обращая свое преимущественное внимание на немецкий; труд этот озаглавлен «Principien der Sprachgeschichte von Hermann Paul» (4. Aufl., Halle a. S., 1909). В VI главе предлагается учение о синтаксических отношениях, в VII — об изменениях значений в области синтаксиса, в XV рассмотрен вопрос о психологических и грамматических категориях, в XVI — нарушение синтаксического расчленения, в XVIII — согласование.

Мне остается сказать о русских исследованиях по синтаксису, явившихся за последние два десятилетия. Многие из них представляются весьма ценными руководствами в особенности для приступающих к работе. Упомянутый выше проф. Д. Н. Кудрявский дал несколько статей, посвященных синтаксическим вопросам. Укажу на его разбор синтаксиса Д. Н.

Овсянико-Куликовского (ИОРЯС за 1902 год, т. VII), «К истории русского прошедшего времени» (РФВ за 1911), «Древнерусские причастия настоящего времени действительного залога на *-а*» (РФВ за 1912), в особенности же на весьма содержательный отдел, касающийся синтаксиса, в его «Введении в языкознание» (Юрьев, 1912).

Проф. А. И. Томсон дал несколько интересных статей относительно значения и употребления падежей. Сюда относятся: «Винительный падеж прямого дополнения в отрицательных предложениях в русском языке» [Варшава, 1902; отд. отт. из РФВ], «Родительный-винительный падеж при названиях живых существ в славянских языках» (ИОРЯС за 1908, т. XIII, кн. 2), «К вопросу о возникновении род.-вин. падежа в славянских языках. Приглагольный род. падеж в праславянском языке» (там же, т. XIII, кн. 3), «К вопросу о возникновении род.-вин. падежа в славянских языках. Сходные явления в других языках» (там же, т. XIV, кн. 1). В труде «Общее языкознание» (2-е изд., Одесса, 1910) проф. А. И. Томсон рассматривает в VII главе основные вопросы синтаксиса, и в IX касается исследований языка в формах синтаксических словосочетаний.

Проф. В. А. Богородицкому принадлежит весьма основательное освещение синтаксических вопросов в его «Общем курсе русской грамматики»; в четвертом издании (Казань, 1913) синтаксису посвящены XIII и XIV главы. Проф. Е. Ф. Будде предложил несколько статей и заметок по синтаксису, но не все они одинаковой ценности. Еще в 1894 г. им была напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» статья «О синтаксисе простого предложения»; в 1913 г. в Сборнике, посвященном Д. А. Корсакову, появилась его статья «Основы синтаксиса русского языка» (Казань), под тем же заглавием им были напечатаны в «Русском Филологическом Вестнике» за 1910 и 1913 гг. три главы, из которых первая содержит «Основные понятия», вторая озаглавлена «Изменения в языке, как процессы его жизни. Виды этих изменений», третья — «Тип простого и сложного предложения в его исторической судьбе». Много возражений вызывает изданный им учебник синтаксиса, а также напечатанное в 1917 г. в Казани пособие для преподавателей и самообразования, озаглавленное «Вопросы методологии русского языкознания».

Совершенно особое место среди исследований по русскому синтаксису принадлежит замечательной книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» (М., 1914). Автор назвал свой труд популярным очерком. Но я обращаю на него ваше внимание как на ценнейшее научное пособие; автор с удивительным талантом развил основные положения, добытые предшествующими исследователями, и прежде всего А. А. Потебней, но вместе с тем он внес в науку много нового и самостоятельного.

Содержательный обзор работ, появившихся в области русского синтаксиса, дал проф. Н. К. Грунский в «Очерках по истории разработки синтаксиса славянских языков» (т. I, вып. 1—3, т. 2, Юрьев, 1910—1911), причем 3-й вып. 1 тома посвящен всецело выяснению значения А. А. Потебни в истории изучения синтаксиса.

Синтаксис белорусского языка разработан в обстоятельном очерке и представлен в историческом освещении Е. Ф. Карским в 3-м вып. 2 тома его «Белорусы» (Варшава, 1908). По синтаксису малорусского языка отмечу соответствующий отдел в труде. Э. Огоновского (E. Ogonowski, Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache, [Lemberg, 1880]), далее у С. Смаль-Стоцкого и Т. Гартнера (St. V. Smal-Stockyj — T. Gartner, Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprache, Wien, 1913). Недавно вышел синтаксис Ивана Нечуя-Левицкого как третья часть учебника, озаглавленного «Граммaтика української мови» (Кіев, 1914). Кроме того, ряд данных по малорусскому языку сообщен в трудах Потебни.

На этом лекция А. А. Шахматова о пособиях по синтаксису заканчивается.

С изящной простотой, неторопливо, в хронологическом порядке, с указанием основных выходных данных, Шахматов перечисляет русские и иностранные труды по синтаксису Ф. И. Буслаева, Фр. Миклошича, А. А. Потебни, Ф. Е. Корша, А. В. Попова, Ф. Ф. Фортунатова, Г. К. Ульянова, Б. Дельбрюка, И. В. Ягича, Д. Н. Овсянико-Куликовского, К. Бругмана, В. Вондрака, А. Мейе, А. Мазона, В. Вундта, Г. Пауля, В. К. Поржезинского, Д. Н. Кудрявского, А. И. Томсона, В. А. Богородицкого, Е. Ф. Будде, А. М. Пешковского и др. В этом перечне — исследования по общим вопросам языкознания, касающиеся проблем синтаксиса, труды по грамматике, монографии и отдельные статьи. Современному читателю в этом обзоре литературы может быть все интересно: прозрачная ясность мыслей автора, лаконичность изложения, оценка трудов выдающихся языковедов прошлого, широта охвата рекомендуемых пособий. Профессор Петроградского университета 50 лет назад не боялся перегрузить студента специальной литературой и называл ее на русском, немецком, французском и других языках. В указанных Шахматовым пособиях, «которые могли бы помочь... в усвоении оснований русского синтаксиса», работ по синтаксису живого языка очень мало, преобладают исследования по историческому и сравнительному синтаксису. Синхронное изучение русского синтаксиса еще только создавалось.

Не меньший интерес представляют и рекомендуемые А. А. Шахматовым темы для рефератов в семинариях. В личном архиве А. А. Шахматова имеется несколько листков с темами для сочинений, на одном из них написана 21 тема (фонд. 134, опись 1, № 280, л. 21—22). Специального наименования у семинара нет, очевидно, это были темы для семинара по русскому языку и его истории. Вот эти темы:

1. Русские особенности Остромирова евангелия. Выяснение того, что внесено в текст этого памятника русским переписчиком; распределение этих особенностей по категориям. Пособия: Остромирово евангелие в издании А. Х. Востокова (СПб., 1843); «Исследование о языке Остромирова евангелия» М. М. Козловского (в I томе исследований по русскому языку); «[Введение в] старославянскую грамматику» Лескина в русском переводе [М., 1909]; «Состав Остромирова евангелия» Ф. Ф. Фортунатова [СПб., 1908].

2. Русские особенности в Служебной минее 1097 года за ноябрь. Пособие: «Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь» в издании И. В. Ягича [СПб., 1886].

3. Русские особенности Галицкого евангелия 1144 года. Пособия: издание арх. Амфилохия (М., 1882 в двух томах); Г. Воскресенский, Евангелие от Марка [5]; «Отчет о присуждении Ломоносовской премии за 1883 г. с прилож.» [СПб., 1884] (Сб. ОРЯС, XXIII, 2); Г. Воскресенский, Заметки об издании арх. Амфилохия (Сб. ОРЯС, т. XI).

4. Особенности склонения и спряжения в тексте Московских духовных и договорных грамот XIV и первой половины XV в. Пособие: I том Собрания Госуд. Грамот и Договоров. Необходимо иметь в виду и последующие поправки к этому изданию.

5. Звуковые особенности грамот северо-западной Руси XIII и XIV столетий, писанных в Риге и Полоцке. Пособия: Русско-Литовские Акты, издание Археографической Комиссии под редакцией А. А. Куника; Сборники литографированных снимков с некоторых из этих грамот, под редакцией Э. Я. Напиерского; Сборники СПб. Археологического института под редакцией А. И. Соболевского и С. Л. Пташицкого.

6. Особенности склонения и спряжения Повести временных лет по Ипатьевскому списку в сопоставлении их с особенностями Лаврентьевского списка. Пособия: Светописное издание Ипатьевской Летописи Археографической Комиссии; Печатное издание той же Комиссии (II, П.С.Р.А);

---

[5] [См.: Г. А. Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI—XVI вв. М., 1896.]

Н. П. Некрасов, Заметки о языке «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку летописи (ИОРЯС за 1896 и 1897 гг., I и II).

7. Особенности языка (звуки и формы) Коншинского списка Домостроя XVI в. Пособие: «Домострой по Коншинскому списку и подобным», издал А. С. Орлов, М., кн. 1, 1908 [кн. 2, 1910].

8. Звуковые и формальные особенности сборника XVII в. Московского Главного Архива Министерства иностранных дел, в котором помещены «Повести или пословицы всенароднейшие по алфавиту». Пособие: «Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий». Собрал и приготовил к печати Павел Симони, СПб., 1899.

9. Звуковые и формальные особенности архангельских былин, записанных А. Д. Григорьевым в 1889—1901 гг.— Пособие: А. Д. Григорьев, Архангельские былины и исторические песни, т. 1, [ч. 1—2], М., 1904.

10. Отличие южных рязанских говоров от северных и приблизительные между ними границы. Пособия: Е. Ф. Будде, К истории великорусских говоров. Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии, Казань, 1896 ; его же, К диалектологии великорусских наречий, Варшава, 1892; Извлечения из ответов на программы, печатавшиеся в ИОРЯС и в Сборнике ОРЯС; А. И. Соболевский, Опыт русской диалектологии, [вып. 1. — Наречия великорусское и белорусское, СПб., 1897].

11. Судьба звуков *а*, *о*, *е* в слоге, непосредственно предшествующем ударному в записях белорусских текстов, помещенных в первых двух томах и в шестом томе Белорусского сборника Е. Р. Романова. Пособия: Е. Ф. Карский, Белорусы, т. 2, [Варшава, 1908]; Л. Л. Васильев, Гласные в слоге под ударением в момент возникновения аканья в обоянском говоре, ИОРЯС, 1904, IX, кн. 1, стр. 336—355.

12. Анализ того белорусского языка, который содержится в газете «Наша Ніва»; особенности в звуках, склонении и спряжении сравнительно с другим известным или другими известными белорусскими говорами. Пособия: Е. Ф. Карский, Обзор звуков и форм белорусский речи, [М., 1885]; его же, Белорусы, т. 2.

13. Краткая характеристика всех зарубежных русских говоров, представленных в записях, напечатанных в «Етнографічном Збірнике», издаваемом Товариством імени Шевченко во Львове.

14. Выяснение того, что сделано различными исследователями для характеристики малорусского говора Гродненской и Седлецкой губернии, какие ими описаны говоры и какие в этих говорах отмечены характерные особенности.

15. Просмотр всех трудов по малорусской диалектологии и извлечение из них в подлинных выписках всего, что служит к физиологическому описанию звуков в различных говорах. Труды Брока — «Угрорусское наречие с. Убли (Земпливского комитета)», [СПб., 1900] и другие — рекомендуются как пособие, но не как материал для извлечений. Другие пособия: «Опыт русской диалектологии» А. И. Соболевского (III. Малорусское наречие); издания Товариства імени Шевченко; Труды Этногр. статист. экспедиции в Югозап. край, т. VII; А. А. Потебня, Заметки о малорусском наречии [Воронеж, 1871], и др.

16. Физиологическое определение звуков собственной речи и фонетическая транскрипция более или менее обширного текста. Пособия: А. И. Томсон, Общее языкознание, [2-е изд., Одесса, 1910]; В. А. Богородицкий, Курс грамматики русского языка. Фонетика, Варшава, 1887; его же, Очерки по языковедению и русскому языку, Казань, 1901; E. Sievers, Grundzüge der Phonetik [zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indo-

germanischen Sprachen, 4. Aufl., Leipzig, 1893]; Kr. Nyrop, Manuel phonétique du français parle', [Copenhague, 1934]; Victor, Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen.

17. Употребление падежей в Новгородской 1-й летописи по Синодальному списку. Пособия: Светописное издание этой летописи Археографической Комиссией; Печатное издание ее же, принадлежащее той же Комиссии; Fr. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, Bd. IV — Vergleichende Syntax, [Wien, 1868—1874]; Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, II, [М., 1863]; А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, [ч. 1—3, Харьков, 1888—1889]; Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис русского языка, [2-е изд., СПб., 1912].

18. Соединение числительных с именами в актовом великорусском языке XVI в. Пособия: Акты юридические; Акты, относящиеся до юридического быта древней России, собранные Калачовым, и др.

19. Выборка из басен Крылова всех особенностей, чуждых современному нашему разговорному языку, и распределение их по определенным категориям.

20. Выборка из Стихотворений в прозе Тургенева всех слов и форм нерусского происхождения и притом как западноевропейских, так и церковнославянских. Установление на основании этого и других однородных материалов категорий слов, занесенных из церковнославянского в наш литературный язык. Пособия: Е. Будде, Очерк истории современного литературного русского языка, [СПб., 1908]; С. Булич, Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, [СПб., 1893].

21. Выборка из сочинений Шевченко всех особенностей, чуждых современному украинскому литературному языку и распределение их по категориям. Пособия: Т. Шевченко, Кобзарь, видания Общества имени Т. Г. Шевченко та Благотворительного Общества изданія общеполезных и дішевых книг, СПб., 1907; статьи В. Доманицкого «Критичний розслід над текстом „Кобзаря“ Шевченко» в IX—XII кн. «Киевской Старины» за 1906 год; Е. Ф. Карский, Замітка до поправнійшого видания поэзий Т. Шевченко, «Записки Товариства імени Шевченко», V; его же, «Наймычка» Шевченка, РФВ, 1907, 1.

Общее пособие: А. И. Соболевский, Лекции по истории русского языка, [3-е изд.— М., 1903, 4-е изд.— М., 1907]. Кроме того, в качестве реферата принимается обработка и всякой другой темы по русскому языку. Рефераты должны быть изложены письменно и до доклада их сообщены мне.

В этом перечне тем — вопросы фонетики и лексики, морфологии и синтаксиса, анализ старославянского текста (русизмы в тексте Остромирова евангелия и в Служебных минеях), морфология древнерусского текста (особенности склонения и спряжения в Повести временных лет), диалектология (южные рязанские говоры), физиологическая классификация звуков собственной речи и ее транскрипция, иноязычные элементы в баснях Крылова и в «Стихотворениях в прозе» Тургенева, анализ явлений не только русского, но и белорусского и украинского языков. Темы сочинений для рефератов разнообразные, широта занятий семинара — захватывающая.

Э. И. Коротаева

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

О. В. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

ЗАМЕТКИ ОБ ОМОНИМАХ И ИХ ПОДАЧЕ В СЛОВАРЕ

Известная статья В. И. Абаева [1] положила начало дискуссии по вопросам омонимии и полисемии [2]. Важным результатом дискуссии по омонимии в 1957 г. явилось положение о том, что единственным критерием определения омонимии следует признать семантический критерий [3]. Собственно говоря, на дискуссии были подтверждены выводы О. С. Ахмановой [4]. Многие исследователи за последнее время направляли свои усилия в основном в сторону изыскания словообразовательного, морфологического, синтаксического и орфографического критериев разграничения полисемии и омонимии.

Так, например, М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева и А. П. Хазанович считают, что при ясно выраженных различиях в способности слова вступать в синтаксические и лексические сочетания, даже небольшое различие в значении ведет к разрыву тождества слова [5]. Авторы считают, что для слов, совпадающих как по принадлежности к одной части речи, так и по морфологической характеристике, решающей является сумма «дистрибуций» слова [6]. Этот метод не нов. Еще в 1948 г. Р. Годель усматривал омонимию там, где два значения слова вступают в разные словообразовательные и парадигматические ряды [7]. Словообразовательный критерий (помимо семантического) рекомендует также и М. М. Фалькович [8].

В тех случаях, когда орфографический и грамматический критерии не оправдывают себя, Р. Клаппенбах рекомендует подыскать к существительным-омонимам однокорневой глагол. Если такой глагол можно найти,— перед нами два значения, если же такого глагола нет,— перед нами омонимы [9]. Но ведь расходятся не только значения существительных, но и других частей речи, и, наконец, связующего глагола может и не существовать как, например, в существительном *конь* «животное» и *конь* «шахматная фигура». Можно ли сказать, что это омонимы, потому что нет однокорневого глагола?

---

[1] В. И. Абаев, О подаче омонимов в словаре, ВЯ, 1957, 3.

[2] Дискуссия по вопросам омонимии, «Лексикографический сборник», 4, М., 1960.

[3] Там же, стр. 60.

[4] См.: О. С. Ахманова, О фонетических и морфологических вариантах слова, сб. «Акад. В. В. Виноградову к его 60-летию», М., 1956, стр. 42; ее же, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 164.

[5] М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева, А. П. Хазанович. Многозначность и омонимия, Л., 1966, стр. 22.

[6] Там же, стр. 26.

[7] R. Godel, Homonymie et identité, CFS, 1948, стр. 12.

[8] М. М. Фалькович, К вопросу об омонимии и полисемии, ВЯ, 1960, 5.

[9] R. Klappenbach, Homonyme oder polysemes Wort?, «Deutsch als Fremdsprache», 1971, 2, стр. 103.

Принимая во внимание, что и при определении частей речи (морфологической категории) прибегают к синтаксическому (члены предложения) и лексическому (название предмета, качества и т. д.) критериям, казалось бы уместным и при определении лексических категорий полисемии и омонимии привлекать другие уровни языка.

Другие исследователи пошли по намеченному дискуссией семантическому пути. Так, например, румынский лингвист П. Диаконеску приходит к заключению, что лексико-грамматические различия являются показателями распада полисемии, но лишь при изменениях в лексическом значении слова [10].

В. Порциг предлагает критерий семантического поля. Например, он считает, что немецкое *ziehen* «тянуть» и *ziehen* «направляться» являются омонимами, так как у первого значения мы находим полевое окружение *schleppen*, *schieben*, *tragen*, а у второго — *marschieren*, *wandern* [11].

Этот критерий очень близок к критерию «синонимического ряда», предложенному еще в 1954 г. Е. М. Галкиной-Федорук [12]. Критерий семантического поля был подвергнут критике В. Виссманном в неопубликованной работе «Единство слова», где он утверждает, что одно и то же слово может принадлежать разным полям [13].

Г. Фрей предлагает для распознавания омонимов метод замены существительного местоимением. Если такая замена возможна, мы имеем дело с разными значениями, если же замена приводит к игре слов, перед нами два омонима. Он приводит следующий пример: *mouton* имеет два значения: «овца» и «баранина». В предложении: *On n'élève pas seulement le mouton pour en manger* «Овцу не выращивают лишь для того, чтобы ее есть», существительное *mouton*, говорит он, означает «овца», а местоимение *en* замещает существительное *mouton* «баранина», значит *mouton* «овца» и *mouton* «баранина» еще не омонимы [14].

Все эти семантические и несемантические критерии чреваты одним и тем же недостатком: авторы иллюстрируют их несколькими удачно подобранными примерами, а лексикограф, пытающийся применить их в своей работе, сталкивается с большим количеством исключений, ставящим под вопрос сам критерий [15].

Казалось бы, что решение задачи заключено в том, что значения полисемантического слова образуют систему, которая отсутствует у омонимов [16]. В действительности же, семантические омонимы характеризуются не бессистемностью, а сильно разошедшимися значениями. Разница между полисемантизмами и семантическими омонимами не качественная, а скорее количественная (у семантических омонимов длиннее и извилистее пути между значениями).

Остается еще разобрать критерий языкового чутья. В. И. Абаев проиллюстрировал его разговором между составителем словаря и редактором [17]. Недоверие к «языковому сознанию» выразил и О. Духачек [18]. В пред-

---

[10] См.: P. Diaconescu, Omonimie şi polisemie, сб. «Probleme de lingvistică generală», I, Bucureşti, 1959, стр. 142.

[11] W. Porzig, Die Einheit des Wortes, Ein Beitrag zur Diskussion, сб. «Sprache—Schlüssel zur Welt. Festschrift für L. Weisgerber», Düsseldorf, 1959, стр. 162.

[12] Е. М. Галкина-Федорук, К вопросу об омонимии в русском языке, «Р. яз. в шк.», 1954, 3, стр. 16.

[13] Цит. по кн.: R. Klappenbach, указ. соч., стр. 100.

[14] H. Frei, Désaccords, CFS, 1961, стр. 43.

[15] Ср.: R. Klappenbach, указ. соч., стр. 103.

[16] И. В. Арнольд, Лексикология английского языка, М., 1959, стр. 288.

[17] В. И. Абаев, указ. соч., стр. 38.

[18] O. Ducháček, L'homonymie et la polysémie, «Vox romanica», 21, 1962. стр. 52.

ставленном на дискуссии реферате Л. Л. Кутина указала, что историческая преемственность значений в языке художественной литературы сильнее, чем в разговорном языке [19]. Но даже в разговорном языке чутье говорящих далеко не одинаково. Этимологическая связь между семантическими омонимами чувствуется сильнее не только лингвистами, но и теми, кто лишь изучает данный язык. Услышав выражение *сесть на своего конька*, изучающий русский язык непременно подумает сначала о «небольшом коне», потом о «приспособлении для бега по льду», и потом уже о «хобби», в то время как человек, владеющий русским языком, может и не заметить связи между этими тремя значениями, поскольку у него происходит семантизация всего фразеологизма. Означает ли это, что нужно со-

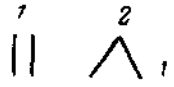


Рис. 1

Рис. 2

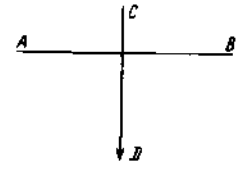


Рис. 3

ставлять словари отдельно для языковедов и изучающих язык и отдельно для широких масс, говорящих на данном языке? По-видимому, нет. Но и масса говорящих очень разнородна. М. Г. Арсеньева, М. В. Строева и А. П. Хазанович провели эксперимент, опросив десять человек, которым был задан вопрос: почему *ключ* «предмет для открывания» и *ключ* «источник» называются одинаково? Все опрашиваемые старались найти логическую связь между значениями этих этимологических омонимов [20].

В своей статье В. И. Абаев изобразил схематически омонимию двумя параллельными линиями, а полисемию — двумя линиями, вышедшими из одной точки (рис. 1); в связи с этим Я. Г. Биренбаум считает, что В. И. Абаев путает живое языковое развитие с абстрактной эвклидовой геометрией [21]. Такое обвинение совершенно незаслуженно. Во-первых, эвклидова геометрия не была ниспослана людям богами, а является абстрактизацией окружающей действительности. Во-вторых, развитие языка действительно живое (и многогранное, добавим мы) явление, но это не означает, что оно не может быть изображено с успехом математическими элементами. Явления физики тоже очень сложны, но, несмотря на это, привлечение математики существенно облегчает их понимание.

Р. А. Будагов задал правомерный вопрос: нельзя ли омонимы, образованные в результате распада полисемии, изобразить, как на рис. 2? [22].

А. А. Неёлов спрашивает: «... почему же омонимия представлена как две параллельных — разве то, что мы сейчас считаем омонимами, всегда было омонимами?» [23].

На эти вопросы можно ответить, изобразив омонимию и полисемию в определенной системе координат, например, в системе прямоугольных координат, намеченной де Соссюром [24] (рис. 3), где AB — ось одновременности, а CD—ось времени. Мы предлагаем изобразить эти два явления, по-

---

[19] Дискуссия..., стр. 46.
[20] М. Г. Арсеньева, М. В. Строева, А. П. Хазанович, указ. соч., стр. 5.
[21] «К обсуждению вопроса об омонимах», ВЯ, 1969, 2, стр. 46.
[22] Р. А. Будагов, Введение в науку о языке, М., 1958, стр. 45.
[23] «К обсуждению...», стр. 46.
[24] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1960, стр. 115.

вернув на 90° соссюровскую систему координат, и отложить поочередно на оси одновременности содержание и выражение слова (рис. 4, 5, 6, 7).

На всех рисунках 0 изображает момент появления слова в языке.

Ахиллесовой пятой защитников распада полисемантизма на омонимы является смешение положительного (полисемия) с отрицательным (омонимия). В. И. Абаев пишет: «За полисемией всегда скрываются усилия человеческой мысли в поисках новых и новых средств познания, выражения,

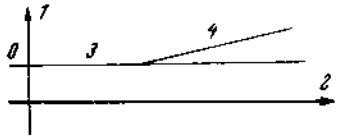


Рис. 4

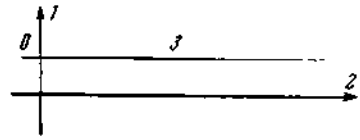


Рис. 5

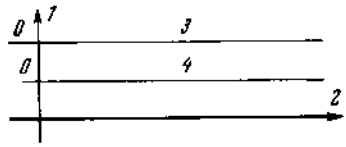


Рис. 6

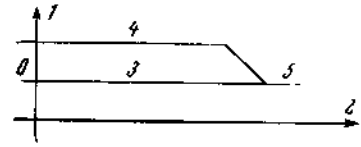


Рис. 7

экспрессии. За омонимией же ничего не скрывается, кроме игры случая»[25]. Среди ученых распространено мнение, будто омонимия, если и не положительное, то во всяком случае не отрицательное явление, так как она «снимается» контекстом. Среди других авторов, это мнение разделяет и Н. М. Шанский[26]. Трудно поверить, что не производят путаницы такие омофоны, как нем. *Beeren* «ягоды » и *Bären* «медведи», появившиеся в результате нейтрализации оппозиции /e/ : /ɛ/[27], или же англ. *aural* «ушной» и *oral* «устный». Автору настоящей статьи пришлось испытать «коммуникативные помехи»: когда он сказал по-немецки *sie sollen es machen* «они должны это сделать», его поняли *Sie sollen es machen* «Вы должны это сделать». Но это, конечно, изолированные случаи. Чаще всего омонимия лишь затрудняет понимание, так что приходится перечитывать предложение, как, например, в выражении *свéдения о характере свéдения мышц*. Р. Якобсон считает, что омонимия представляет затруднения лишь для слушателя[28]. Но это не совсем правильно. Как указала румынский психолингвист Т. Слама-Казаку, омонимия затрудняет не только слушателя, но и говорящего, так как,не желая быть неправильно понятым, он должен «лавировать» среди омонимов, на что, разумеется, теряет время[29]. Совершенно прав Ш. Балли, писавший, что «омонимия смешивает то, что должно быть различимо»[30].

---

[25] В. И. Абаев, указ. соч., стр. 40.

[26] Н. М. Шанский, Лексикология современного русского языка, М., 1964, стр. 43.

[27] См.: J. Klare, Zum Problem der Differenzierung von Homonymie und Polysemie, сб. «Omagiu Al. Rosetti», București, 1965, стр. 446.

[28] R. Jacobson, Linguistics and communication theory, «Proceedings of symposia in applied mathematics», 12, New York, 1961, стр. 249.

[29] T. Slama-Cazacu, Despre studiul omonimiei în lanțul discursiv, сб. «Omagiu Al. Rosetti», стр. 843.

[30] Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 204.

Н. М. Шанский считает, что омонимия не является отрицательным явлением ввиду того, что в языке наблюдаются не только факты исчезновения омонимов, но и факты появления новых омонимов [31]. Но ведь не следует смешивать новое с положительным.

Проанализируем некоторые лексические категории и попытаемся установить тенденции, намечающиеся на этом уровне (см. рис. 8).

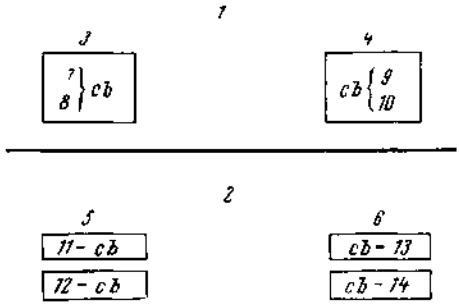


Рис. 8

Остановимся сначала на процессах, протекающих в рамках одного слова (1): а) в плане содержания, состоящем первоначально из одного значения (7 — *конь*), со временем появляется второе значение (8 — *конь*). Это и есть полисемия (3); б) но и в плане выражения может наблюдаться двоякое выражение, как в слове *библиотéка* (9)/*библиóтека* (10). Здесь мы имеем дело с алломорфией (4). Перейдем теперь к разным словам (2), которые могут сблизиться в плане содержания или в плане выражения. Здесь встречаем опять два явления: а) разные слова приобретают одно и то же выражение [например, *лук* «растение» (11) и *лук* «оружие» (12)], сохраняя разные значения. Такое явление и есть омонимия (5); б) в разных словах наблюдается тождество в плане содержания при дифференциации в плане выражения. Здесь мы имеем дело со стилистической синонимией (6) [32], например, *конец* (13)/*предел* (14).

Полисемия — явление положительное, факт, не требующий лишних доказательств; алломорфия — явление отрицательное; омонимия — явление отрицательное, что мы и попытались доказать выше. Стилистическая синонимия — явление положительное, позволяющее выразить тонкие оттенки действительности и отношения говорящего к ней.

Все сказанное позволяет установить две тенденции, бытующие в языке: 1) в рамках одного слова существует тенденция сохранить единое выражение и расщепить содержание; 2) между разными словами проявляется тенденция к сохранению слов с разным выражением и одним содержанием, и к элиминации слов с одним выражением, но с разными значениями.

Взглянув на рис. 8, мы увидим, что по одну сторону черты действует тенденция 1, а по другую — тенденция 2. На упомянутой дискуссии В. М. Жирмунский говорил: «... в языке нет метафизических граней» [33]. Это верно, но не нужно заключать, что в языке вообще нет никаких граней. Несомненно, что в данном случае грань существует, раз по одну ее сторону действует одна тенденция, а по другую — тенденция противоположная.

---

[31] Н. М. Шанский, указ. соч., стр. 43.

[32] В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, 1, стр. 69.

[33] Дискуссия..., стр. 67.

Много возражений вызвало утверждение В. И. Абаева: «Между омонимией и полисемией нет ничего общего ...» [34]. Почти все работы по семантике приводят примеры мнимой «дезомонимизации», т. е. объединения омонимов в полисемантизм [35].

Э. Бюиссанс называет это явление многовалентностью (plurivalence) [36]. К. Гегер приводит пример слова, объединяющего, по его мнению, характеристики омонима и многозначного слова. Это франц. *importer*, которое было заимствовано в XVI в. из итальянского со значением «иметь значение» и в XVII в. из английского со значением «импортировать». Он считает, что здесь два омонима, так как эти слова были заимствованы в разное время из разных языков, но, в то же время, это— полисемантизм, потому что оба значения восходят к одному и тому же латинскому этимону *importare* «ввозить, причинять» [37]. В действительности, в латинском языке перед нами здесь одно слово, а во французском — два слова.

Синхронный подход может дать очень много по линии познания такого сложного явления, как язык, но только не нужно его абсолютизировать и сводить все к соссюровской «шахматной доске». Поэтому прав В. И. Максимов, считающий, что «применение принципа синхронизма, рассматривая его в конкретно-практическом плане, предполагает... обращение к истории» [38].

Против традиционной точки зрения на омонимию, защищаемой В. И. Абаевым, может возникнуть следующее возражение: распад многозначного слова на омонимы вследствие расхождения значений — явление, очень близкое к деэтимологизации, наличие которой в языке не подлежит сомнению. Действительно, родство между словами *мех* и *мешок* совершенно не ощутимо в современном русском языке. Но если допускать разрыв семантических связей между родственными словами, почему бы не допустить его и между значениями одного и того же слова? Разве словообразовательный процесс не отражает «усилий человеческой мысли»? В приведенном примере *mtxъ* + *ьkъ* > *мешок* центр тяжести приходится на материальный элемент — уменьшительный суффикс, в то время как в слове *славный* перенос значения от «достойный славы» к «симпатичный» является творческим процессом, отражающим мировоззрение несметного числа создателей языка.

В. И. Абаев писал: «Полисемия никогда не может стать омонимией и обратно» [39]. Если это было бы действительно так, то бесцельна была бы вся эта полемика. К сожалению, вышеуказанное высказывание должно быть уточнено. Полисемия никогда не может стать омонимией сама по себе, но это может случиться, если вмешаются языковеды и десятилетиями будут внушать при помощи словарей, что, например, *белок* яйца и *белок* как органическое вещество — разные слова. Здесь сказываются два различных подхода к языку:

1. При первом подходе считается, что язык — аморфная материя, которую лексикограф может комбинировать, как ему угодно. При таком подходе он может подавать в отдельной словарной статье одно из значений

[34] В. И. Абаев, указ. соч., стр. 40.

[35] Л. А. Новиков, К проблеме омонимии, «Лексикографический сборник», 4, стр. 93; E. Buyssens, Le signe linguistique, «Revue belge de philologie et d'histoire». Bruxelles, 1960, стр. 716; H. Frei, указ. соч., стр. 45.

[36] E. Buyssens, указ. соч., стр. 717.

[37] K. Heger, Homographie, Homonymie und Polysemie, ZfromPh, 1963, стр. 482.

[38] В. И. Максимов, О соотношении морфологического анализа в современном и этимологическом плане, ИАН ОЛЯ, 1972, 5, стр. 428—429.

[39] В. И. Абаев, указ. соч., стр. 40.

слова только потому, что оно стало термином [40]. Такой же точки зрения придерживаются и авторы двуязычных словарей, которые разделяют, скажем, значения русского слова в зависимости от существования эквивалента во втором языке [41]. Понятно, что в таком случае русский язык будет подаваться под немецким соусом в русско-немецком словаре под французским соусом в русско-французском словаре и т. д., и только настоящий облик русского языка останется недоступным иностранцу.

2. Второй подход к языку напоминает бережное отношение филолога к литературному наследию. Именно такой подход характеризует русскую классическую лексикографию, а также и выступления В. И. Абаева, о которых создался неверный миф, как о крайней позиции. Так, например, Р. Клаппенбах говорит о «твердой исторической точке зрения» В. И. Абаева (starre historische Einstellung) [42]. В действительности же, В. И. Абаев занял в дискуссии об омонимах скорее среднее место (И. Е. Аничков высказал мнение более радикальное, не признавая даже словообразовательных омонимов [43]), а истина, как известно, кроется всегда посредине.

---

[40] Ср.: Л. Л. Кутина, Омонимы в толковых словарях русского языка, «Лексикографический сборник», 2, 1957, стр. 54.

[41] Ср.: Л. Н. Смирнов, Сборник докладов чехословацких лексикографов, сб. «Современная русская лексикология», М., 1966, стр. 161.

[42] См.: R. Klappenbach, указ. соч., стр. 100.

[43] Дискуссия..., стр. 69.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1973

РЕЦЕНЗИИ

В. Ф. Шишмарев. **Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка.** — Л., «Наука», 1972. 358 стр.

Рецензируемая книга акад. В. Ф. Шишмарева (1875—1957) вышла в свет много лет спустя после смерти ее автора. Работа подготовлена комиссией по изданию наследия умершего ученого. Редактор тома, А. А. Касаткин, ученик В. Ф. Шишмарева, проделал большую работу для того, чтобы подготовить к печати ряд статей и исследований, которые по разным причинам остались в рукописях ученого незавершенными. Наряду с ранее изданными статьями [1], данная публикация является новой большой книгой из наследия замечательного ученого [2].

Центральное место в рецензируемом томе занимает «Очерк истории итальянского языка» (стр. 36—181), к которому примыкают такие этюды, как «У истоков итальянской литературы», «Латинская литература и народная поэзия Италии», «Итальянская литература второй половины XIV века» и «„Декамерон" Боккаччо». Лишь первый и последний из перечисленных этюдов публиковались раньше, все остальные, включая и центральное исследование по истории итальянского языка, увидели свет впервые. В виде приложения даны очерки, ранее уже известные читателям, но, как мы сейчас увидим, развивающие идеи, представленные в «итальянской» части книги. Таких очерков три: о провансальском поэте Фредери Мистрале, о русском филологе А. Н. Веселовском и о грузинском поэте Шота Руставели.

«Очерк истории итальянского языка», написанный свыше тридцати лет тому назад, до сих пор сохраняет свое значение. К сожалению, он доведен лишь до эпохи национального объединения Италии, т. е. до 1861 г. В «Очерке» анализируются многие проблемы литературного языка, весьма существенные не только для Италии, но и для общей теории и истории литературных языков вообще. Обратим внимание на некоторые из этих проблем.

В Италии деловые документы на родном языке появляются раньше, чем аналогичные памятники на родном языке во Франции и Испании. Что же касается собственно литературных памятников, то Франция и Испания опережали в этом отношении Италию. В начале XII столетия во Франции уже бытует «Песнь о Роланде», к 1140 г. относится и крупнейшее художественное произведение средневековой Испании — «Песнь о моем Сиде». Между тем в Италии до эпохи Данте (1265—1321) трудно обнаружить художественные произведения вообще, тем более произведения, равные только что названным шедеврам Франции и Испании. Возникает множество вопросов. Что считать началом литературного языка? Что считать первым, собственно художественно-литературным памятником той или иной страны? К какому языку относить документы, написанные по латыни, но содержащие в себе многочисленные «вкрапления», сделанные на родном («вульгарном») языке? Как быть с текстами, созданными на диалекте, который в ту отдаленную эпоху рассматривался как язык (диалект отождествлялся с языком)?

Все эти вопросы широко освещаются в книге В. Ф. Шишмарева. Итальянский материал дает много нового для понимания сложных взаимоотношений между языками и диалектами в эпоху средних веков и Возрождения. Уже А. Гаспари в своей старой «Истории итальянской литературы» настаивал на таком тезисе: как только диалектом начинают пользоваться для литературных целей, он приобретает совсем иной характер и начинает стремиться к идеалу правильности, не знакомому диалекту, на котором лишь говорят, но не пишут [3]. Диалект оказывается как бы

[1] В. Ф. Шишмарев, Избранные статьи. Французская литература, М.—Л., 1965.

[2] См. также: «Рукописное наследие В. Ф. Шишмарева в архиве Академии наук СССР», М.— Л., 1965 (описание и публикации).

[3] Ср.: А. Гаспари, История итальянской литературы, I, перевод К. Бальмонта, М., 1895, стр. 57 и ярко написанную книгу: Ф. Монье, Опыт литературной истории Италии XV века, СПб., 1904, особенно стр. 429—555. См.

над диалектами, но вместе с тем он еще не становится общелитературным языком. Проблема сублимации диалекта, как и проблема «письменного» диалекта и диалектов, на которых много сочиняли в Италии не только в средние века и в эпоху Возрождения, но и значительно позднее, приобретают большое значение для общей теории литературных языков в их взаимоотношениях с народной речью.

На пути развития литературного языка в Италии оказалось много препятствий. Эпоха Возрождения вновь усилила позиции латинского языка. На латинском языке создавали, как известно, не только научные, но и художественные произведения. При этом латинский язык не казался здесь чужим. Италия — родина латинского языка. Эпоха Возрождения вновь напомнила эту истину. Итальянский язык, только что, казалось бы, получивший права гражданства, вновь оттесняется на задний план. Вновь возникает разрыв между языком повседневного общения и языком науки и литературы. Вновь сталкиваются два языка, из которых один («вульгарный язык»), лишенный единства, представленный в виде множества локальных вариантов, с трудом противостоит единому в своей основе латинскому языку. XV в. в Италии, весьма богатый в литературном отношении, вместе с тем осложнен необычной лингвистической ситуацией, сложившейся исторически. И все же на стороне итальянского языка оказалась правда истории: в XVI столетии он побеждает латынь, которая оттесняется на второй план, уступая дорогу языку, родному для всех итальянцев. Лингвистический дуализм начинает уходить в прошлое. Но ему на смену сейчас же приходит дуализм другого типа: идеал единого общелитературного языка, о котором всегда мечтали писатели и ученые, сталкивается с лингвистической реальностью, весьма далекой от подобного идеала (не только пестрота диалектов, но и сложные, не вполне ясные взаимоотношения между ними).

Не случайно, что именно в Италии возникает острая контроверза о судьбе родного языка. Как сформировался итальянский язык? Из какого диалекта (употребляя более поздний термин) он вырос [4]? В книге В. Ф. Шишмарева подробно анализируется эта контроверза от эпохи Данте до 1861 г. Вокруг этих вопросов ведутся жаркие дебаты вплоть до наших дней, как это явствует, в частности, из специальной новой монографии Тулио де Мауро [5].

Проблема контроверзы освещается в книге В. Ф. Шишмарева очень интересно. Страстная борьба за единство литературного языка, которая наблюдалась в Италии на протяжении многих столетий, как бы компенсировала недостающее стране экономическое и политическое единство (стр. 30—40). Как было только что отмечено, политическое объединение страны произошло лишь в 1861 г. Экономика полуострова развивалась по областям, изолированно друг от друга. Тем сильнее лучшим представителям народа хотелось добиться «хотя бы» языкового единства. Этим был обусловлен государственный резонанс, который получила сама постановка лингвистической проблемы. Выдающимся итальянским писателям казалось, что добиться языкового единства страны легче, чем создать единство в экономике и политике. В действительности многое оказалось сложнее: само единство языка требовало политического объединения страны. Недаром итальянские лингвисты ведут историю общенационального итальянского языка только с 1861 г., т. е. с уже известной нам эпохи политического объединения страны [6].

О лингвистической контроверзе в Италии существует огромная научная литература. На протяжении веков ученые и писатели спорили и спорят о том, какой диалект оказался в основе итальянского литературного языка, какую роль в становлении последнего сыграли те или иные писатели, чем объяснить позицию Данте, который, создав уже «всем понятный литературный язык», вместе с тем не смог устранить дальнейших горячих споров о судьбе литературного языка в его взаимоотношениях с многочисленными вариантами итальянской народной речи. Чем объяснить, наконец, «диалектную вспышку» в Италии наших дней, приведшую к тому, что многие современные писатели часто предпочитают вновь писать на том или ином диалекте [7]?

В книге В. Ф. Шишмарева анализируются интересные материалы, помогающие осмыслить важную для Италии проблему формирования литературного языка, своеобразие его нормы, динамичность его взаимоотношений с диалектами. Особого внимания заслуживает та точ-

---

также сборник статей итальянских лингвистов «Современное итальянское языкознание», М., 1971.

[4] Термин «диалект» стал употребляться в большинстве романских стран, начиная лишь с XVI и первой половины XVII столетия.

[5] Tullio de Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, 2 ed., Bari, 1970.

[6] G. Devoto, B. Migliorini, A. Schiaffini, Cento anni di lingua italiana (1861—1961), Milano, 1962.

[7] См. об этом, в частности: Л. Г. Степанова, О «диалектной вспышке» в современном литературном языке Италии, сб. «Лингвистические исследования», Л., 1970.

ка зрения, согласно которой итальянский литературный язык слагался не на основе одного какого-либо диалекта, а как бы «поверх диалектов», впитывая в себя особенности разных диалектов и одновременно вырабатывая в себе новые качества, ранее неизвестные отдельным диалектам (стр. 127 и сл.). Но и эта концепция не преодолевает всех трудностей. Она, в частности, не дает возможности вразумительно объяснить роль великих «трех венцов» (tre corone) итальянской литературы — Данте, Петрарки и Боккаччо, которые опирались на флорентийский диалект и вместе с тем так много сделали для создания общелитературного языка в Италии.

Как я уже отметил, книгу В. Ф. Шишмарева объединяет несколько общих идей, позволяющих говорить о ее единстве, несмотря на многоплановость ее содержания. К такой центральной идее относится положение о роли языка в формировании культуры каждого народа. Казалось бы, что общего между отношением Данте к итальянскому языку, отношением к своему родному языку грузинского поэта XII столетия Шота Руставели и отношением к провансальскому языку Фредери Мистраля, писавшему в конце минувшего и в начале нынешнего века? Между тем общее между ними имеется. Оно может быть сформулировано кратко: активно-сознательное отношение к тому языку, на котором они писали. Я говорю здесь только об общности лингвистической позиции, не затрагивая других проблем, относящихся к компетенции других наук. Но и первая проблема очень важна. Она дает возможность показать, когда, где и как возникает активное отношение пишущего к своему родному языку. В. Ф. Шишмарев не случайно начинает свою статью о знаменитом грузинском поэте со слов самого поэта: «я нуждаюсь для создания своей песни в языке, сердце и искусстве» (9-я вступительная строфа к «Витязю в тигровой шкуре»). Здесь язык оказывается на первом плане. На таком же месте он был и у Данте в его раздумиях о судьбах родной литературы и у Мистраля в его опытах «возрождения» провансальского как языка художественной литературы.

Существует широко распространенное мнение, согласно которому сознательное отношение к языку возникает у писателей очень поздно. Исследователи, например, считают, что впервые сознательное отношение к языку «вспыхивает» во Франции лишь в середине XV столетия и «закрепляется» в следующем веке. Итальянские историки, выделяя «три венца» итальянской литературы, констатируют затем длительный период безразличия к языку. Иногда обособляют отдельных авторов, небезразличных к форме выражения своих мыслей и чувств (например, Кретьена де Труа в XII в. во Франции), с тем, чтобы затем описать длительный период лингвистического индифферентизма [8].

Схема эта давно нуждается в пересмотре. И материалы, в частности, книги В. Ф. Шишмарева еще раз убеждают в необходимости подобного пересмотра. Разумеется, типы небезразличного отношения к языку своих собственных сочинений у разных авторов и в разные эпохи могут быть совсем неодинаковыми, совсем несхожими. Одно дело работа Флобера над языком, совсем другое — размышления Данте на эту же тему. Вопрос здесь не сводится к различию только писательских индивидуальностей. Он обусловлен прежде всего эпохой, состоянием литературного языка, уровнем развития культуры и литературы. Только в пределах одной эпохи и одного языка проблема может решаться прежде всего в индивидуальном плане (Тургенев и Лев Толстой весьма несходно понимали работу писателя над текстом своих сочинений). В. Ф. Шишмарев убедительно показывает, как постепенно вырабатывалось активное отношение к родному языку в Италии и какое значение оно имело для практики функционирования самого языка в различные эпохи [9].

Итак, сколь бы ни было несходным отношение к языку своих сочинений

[8] История этого вопроса дана в моей книге: «Литературные языки и языковые стили», М., 1967, гл. 4 и 5.

[9] Любопытно, что сознательное отношение к языку в определенные исторические периоды могло выступать и со знаком минус. Так, например, когда писатель шестого века нашей эры Григорий Турский просил своих читателей простить его за неумение правильно употреблять падежи и предлоги (стр. 187), то и в этом обнаруживалось небезразличное отношение автора к характеру повествования. Другой вопрос, как и почему Григорий Турский оправдывал свое неумение. О сознательном отношении к языку в эпоху испанского Возрождения и позднее см. монографию В. Банера: W. Bahner, Beitrag zum Sprachbewusstsein in der spanischen Literatur des 16 und 17 Jahrhunderts, Berlin, 1956. Роль писателей в развитии сознательного отношения к языку нисколько не умаляет и не может умалять роли народа в формировании самого языка (см. об этом, в частности, в только что цитированной моей книге, главы 1 и 10). Между тем некоторые итальянские лингвисты наших дней неправомерно противопоставляют эти два понятия. См.: «Материалы советско-итальянской писательской встречи» («Иностранная литература», 1973, 1 стр. 207).

у Данте, у Руставели, у Мистраля, писателей столь разных эпох и национальностей объединяет сознание важности того, ка́к они передают свои мысли и чувства на родном языке. В истории нашей отечественной филологии этим вопросом интересовался, в частности, и академик А. Н. Веселовский, прекрасный этюд о котором содержится в книге В. Ф. Шишмарева [10].

Публикация «Избранных статей» В. Ф. Шишмарева обогатила нашу филологию. Огромная эрудиция, широкая постановка различных вопросов, простота и изящество изложения — все эти особенности творчества автора делают его книгу весьма интересной для многих читателей. Особо хотелось бы отметить филологический характер самого исследования, в котором органически сочетаются проблемы языка, литературы и культуры. Вместе с тем нельзя не сожалеть, что у нас так мало теперь занимаются собственно филологией, которая некогда блестяще разрабатывалась целой плеядой замечательных отечественных ученых.

Р. А. Будагов

[10] См.: П. К. Симони, Библиографический список учено-литературных трудов А. Н. Веселовского с указанием их содержания и рецензий на них (1859—1906 гг.), Пг., 1922.

Р. И. Аванесов. **Русское литературное произношение,** изд. пятое, перераб. и дополн. — М., «Просвещение», 1972. 415 стр.

Вышло в свет пятое издание книги Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение». Эта книга — наиболее авторитетное руководство для всех, кто интересуется русской фонетикой в любом ее аспекте. Она несколько раз издавалась за границей. Пятое издание «Русского литературного произношения» существенно отличается от предшествующих изданий во многих отношениях. В состав книги введены подробные таблицы, в которых даются правила «перехода» от звука к букве и от буквы к звуку. Новым является также включение звукового иллюстративного материала в виде пластинок с записями отдельных звуков и звукосочетаний и связных текстов. К сожалению, эти звуковые иллюстрации сопровождают лишь часть тиража. Хотя рецензируемая книга, как пишет сам Р. И. Аванесов, «не есть русская фонетика» (стр. 3), в ней тем не менее содержится краткий очерк звуковой системы и даны некоторые артикуляционные характеристики звуков (схематические «профили» артикуляций, полученные на основании рентгенографических съемок и приведенные в «Альбоме артикуляций звуков русского языка» М. И. Матусевич и Н. А. Любимовой — М., 1963). В книге содержится в виде описаний и рекомендаций обширный фактический материал. Очевидно, что это оптимальный вариант книги такого рода.

Книга предназначена для студентов педагогических институтов, но на деле сфера ее использования и теоретическое значение много шире и важнее. По существу это подробное и обстоятельное изложение современной литературной нормы в ее орфоэпической части. Сопоставляя нынешнее, пятое издание с предыдущими, легко обнаружить пристальный интерес автора к постоянному изменению нормы, которое возникает в связи со сложными взаимодействиями различных сфер современной устной речи. От издания к изданию Р. И. Аванесов производит ряд уточнений и изменений в рекомендациях по норме. Если в первых изданиях, например, допускалось старомосковское произношение типа *ве* [р'х], *пé*[р'в]*ый*, то теперь единственным вариантом признается новое произношение типа *ве*[рх], *пé*[рв]*ый*. По сравнению с предыдущим изданием 1968 г. отмечаются некоторые уточнения: теперь специально оговаривается, что вариант *звóнк*[къ], восходящий к старомосковским нормам, стилистически маркирован (стр. 155) и не может рекомендоваться в качестве нормы обычной речи (в предыдущем издании он рассматривается как равноценный форме *звóн*[к'н]).

Ориентация на обычную речь, на узус, постоянно изменяющий норму,— важная особенность книги. По существу, на протяжении четверти века произошел заметный отход литературной нормы от ряда специфических черт старого московского эталона (отраженного полнее всего в известной монографии Р. Кошутича, от описательной части которой во многом зависели рекомендации Р. И. Аванесова в его первом издании) — и этот отход можно проследить на сравнении пяти изданий книги. Даже в пятом издании автор постоянно оговаривает исключения из обычной нормы, некоторые отклонения от принятого произношения, устанавливая варианты допустимых колебаний (например, в части ассимилятивной мягкости согласных, в произношении возвратной частицы *ся*(*сь*), в произношении безударных гласных первого предударного слога после шипящих и т. д.),

что позволяет шаг за шагом представить картину современного этапа изменения нормы. Р. И. Аванесов осторожен в своих рекомендациях, он тщательно взвешивает все возможности произношения в его отношении к фонологической системе современного русского языка и в связи с грамматической его системой. Идею сложного взаимодействия разных сфер современного говорения еще более обогащают частые отсылки к просторечному, диалектному, наконец, к «акцентному» в устах иностранца произношению.

В стилистической разработке вопросов произношения автор оперирует двумя маркированными стилистически сферами говорения, выделяя три стиля произношения. Конечно, неподготовленному читателю удобнее ориентироваться в высоком стиле архаически-книжного варианта (к которому в практических рекомендациях относится и язык современной сцены), отличая его от разговорного стиля обыденной речи. Однако с теоретической точки зрения такое разграничение встречает возражения. В самом деле, в противопоставлении к нейтральному (т. е. единственно нормативному) произношению всякая маркировка стилистического плана однозначна, независимо от того, связана она с более высоким или с более низким по отношению к нейтральному стилю вариантом. Стилистическая оппозиция не может не быть бинарной: возможные внутри маркированной сферы реализации определяются уже на иных основаниях, не связанных с фонетической системой языка. Разговорный стиль проявляется в словах разговорного стиля, высокий стиль — в словах высокого стиля; [з'и]*тёк* с иканьем более свойственно слову разговорного плана (еканье дало бы диалектную вариацию), [д'е^и^] *рáть* с еканьем более свойственно слову высокого плана (иканье придало бы произношению слова разговорную окраску). По существу, в этом выражено авторское отношение к характеру нормативности: орфоэпическая норма не ограничена узкими сферами собственно фонетики. Однако в этом же кроются и некоторые сложности теоретического характера. Если даже слова нейтрального стиля «в соответствии со стилем высказывания в целом могут оформляться либо по нормам нейтрального стиля, либо по нормам одного из окрашенных стилей» (стр. 19), в классификацию включается вторая точка отсчета: необходимо разграничивать стиль речи и стиль произношения. Трехчастность в делении на стили произношения идет со стороны грамматики и лексики, в самой фонетической системе противопоставления стилистического характера обычно попарны. В нашем случае выбор между еканьем и (литературно условным) иканьем в произношении двух слов разных стилистических сфер на нейтральном уровне нейтрализуется не в третьем возможном варианте, а в одном из представленных здесь: в произношении высокого стиля. Мы можем сказать, что противопоставления высокого стиля разговорному нет, такое противопоставление не выражается фонетическими средствами — оно передается сознательным выбором одного из двух возможных вариантов, так или иначе связанных с нейтральным стилем. Выделение в этом последнем строгого и свободного произношения (стр. 21) фактически устанавливает связь между строгим нейтральным и высоким, с одной стороны, и свободным нейтральным и разговорным, с другой. Двойственность самого понятия «нейтральный стиль» в некоторых случаях влечет за собою сложность и в практических рекомендациях. Кстати, в этих рекомендациях намечена действительная противопоставленность нейтрального стиля всем прочим возможностям стилистически окрашенного произношения: как только тот или иной вариант произношения уходит из сферы общеобязательного нейтрального, он одинаково свободно может начать употребляться и в высоком, и в разговорном, и даже в просторечном — крайности сходятся (см. стр. 155), поскольку утрачивается собственно фонетическая основа противопоставления. В тенденциях развития русской нормы хорошо показано совпадение обоих маркированных стилей именно на основе их стилистической маркировки, в их общем противопоставлении нейтральной норме.

Хотя Р. И. Аванесов подчеркивает практическую направленность книги, читатель, интересующийся фонологическими проблемами, найдет в ней богатый материал для размышлений. Изменение произносительных норм во многом обусловлено системными отношениями. Так, позиция согласных перед [е], которая ранее рассматривалась как позиция неразличения по твердости — мягкости, теперь может интерпретироваться иначе: «если ранее перед [е] мягкие — твердые согласные не различались..., то после приобретения многими заимствованными словами с твердым парным согласным перед [е] общенародного характера твердые и мягкие парные согласные в этом положении стали различаться» (стр. 186). Это определяется общефонологическим статусом противопоставления твердых и мягких согласных, охватывающего практически все возможные сочетания согласных с гласными. Приводимые Р. И. Аванесовым факты изменения старых норм, как и сама оценка этих изменений, свидетельствуют о том, что в борьбе между традиционным произношением некоторых слов и форм слов и нормами, определяемыми фонетическими закономерностями современного русского языка, побеждают, как правило, последние. Именно этим может быть объяснена и

несомненно наблюдающаяся сейчас унификация, стандартизация местных разновидностей литературного произношения: речь идет не только о большом сближении (иногда даже просто совпадении) московского и ленинградского вариантов русской орфоэпической нормы, но и о широком распространении достаточно единообразного литературного произношения, не являющегося ни «московским», ни «ленинградским» в их чистом виде.

Говоря о роли системных, лингвистических факторов в образовании литературной нормы, Р. И. Аванесов не забывает и об источниках ее засорения: глубокое знание диалектных явлений дает возможность не только описать происхождение тех или иных нормативных явлений, но и предупреждать об опасности диалектного произношения в конкретных случаях.

В связи с этим аспектом книги встает и другой общелингвистический вопрос — о возможности предсказания, экстраполяции тех фонетических явлений, которые, быть может, в недалеком будущем станут нормативными, хотя с современной точки зрения, безусловно, должны оцениваться как диалектные или просторечные. Можно привести пример произношения безударного гласного в начале слов типа *эвенк*, *эгоизм*, *экономика*, *эксперимент* и т. д. В этих случаях Р. И. Аванесов рекомендует произносить звук [е], но не *и́* [и] (стр. 175) — [е]*гои́зм*, а не [и]*гои́зм*. Однако наблюдения показывают, что в этих случаях очень часто произносится гласный [ы]: такое произношение подкрепляется сильно выраженной тенденцией не произносить вообще в безударных слогах гласный [е], с другой стороны — невозможностью для говорящего употребить в этой позиции самый передний гласный [и]. Не можем ли мы предсказать, что произношение такого рода со временем будет признано нормативным? Кто в настоящее время должен и может считаться носителем литературной нормы? В какой мере речь, которую мы слышим в театре, по радио и телевидению, удовлетворяет орфоэпическим требованиям? Какие диалектные явления наиболее интенсивно — через городское просторечие — проникают в литературную норму? Ответы на эти вопросы требуют не только тщательного статистического анализа фонетических фактов, но и специального психолингвистического исследования существующих у носителей современного русского языка представлений о «правильности» речи. Книга Р. И. Аванесова является тем основанием, на котором может быть построено исследование такого рода.

В пятое издание книги включена новая часть под названием «Справочный отдел». Этот новый отдел весьма обширен: он занимает 162 стр. текста книги. Новый отдел включает в себя вводные замечания о буквах и звуках, краткий очерк русской графики и орфографии и две таблицы: 1) Правила чтения. Таблица «От буквы к звуку» и 2) Правила написания. Таблица «От звука к букве».

Обстоятельные таблицы правил чтения и написания с четким подразделением «от буквы к звуку» и «от звука к букве» — значительное явление в теории и практике русской орфоэпии и письма. Такие таблицы в 1938 г. были созданы Л. В. Щербой для французского языка в кн. «Фонетика французского языка». Для русского же языка подобные таблицы сделаны впервые: таблицы Д. Н. Ушакова (в кн. «Русское правописание», 1911) и А. Н. Гвоздева (в кн. «Основы русской орфографии», 1947) о звуковых значениях русских букв, а также таблица «Правила чтения букв и буквенных сочетаний», составленная Л. В. Щербой (в кн. «Грамматика русского языка», I, 1952) представляют только один аспект вопроса и могут считаться лишь известным прообразом таблиц, предложенных Р. И. Аванесовым.

Таблица «От буквы к звуку» составлена в алфавитном порядке — указания, как читается буква, сделаны с точным описанием положения буквы в слове; звуки, произносимые на месте той или иной буквы, характеризуются очень детально: оттенки гласных, например, описываются и в безударном и в ударном положении (с дифференциацией окружения их определенными согласными). В таблице «От звука к букве» звуки расположены в следующем порядке: гласные, сонорные, зубные, губные, зубные шумные, задненебные, шипящие и [ц], [j] — [i]. Звуки перечисляются с большой детализацией оттенков их произношения.

Пропуски в таблицах носят частный характер. Ни в таблице, ни в тексте книги не указано чтение буквы *о* после *ц* в безударном слоге на конце слов, например, *пала́ццо*, а также в первом предударном слоге: *цокóчет*, *цокóчут*. В таблице не раскрыто чтение буквы *о* после *ц* и во втором предударном слоге, хотя оно указано в тексте книги, причем с рекомендуемым произношением трудно согласиться. Указано, что в словах *цокота́ть*, *цокоту́ха* произносится такой же звук, какой произносится на месте буквы *а* в словах типа *царедво́рец* (стр. 64). Нам кажется, что случаи эти все же разные.

Обе таблицы выполнены на звуковом, фонетическом уровне. В предисловии к пятому изданию Р. И. Аванесов пишет, что справочный отдел «много выиграл бы, если бы соотношения между произношением и правописанием строились, исходя из фонологической системы русского языка. Однако практический

характер книги не позволил автору этого сделать» (стр. 3—4). Возможна и другая точка зрения, в соответствии с которой единственно соответствующим общему содержанию книги, освещающей русское литературное произношение, является выполнение таблиц именно на звуковом, фонетическом уровне. Это и выигрышно, и правильно, и очень нужно. Но, действительно, более уместен был бы фонологический подход при описании системы русской графики и русской орфографии, которые мы находим в кратком очерке, предшествующем рассмотренным таблицам. Впрочем автор книги, используя понятие сильных фонем (с их заместителями в слабых позициях), в известной степени этот подход провел.

В кратком очерке русской графики и орфографии компактно изложены теоретические основы русского письма. Объяснение особенностей русской графики, в частности ее слогового принципа, сопровождается удачными обобщающими схемами (стр. 198—203). Положение о слоговом (силлабическом) принципе русской графики в настоящее время является общепризнанным. Существуют частные расхождения во взглядах на звуковые значения русских букв. Так, В. А. Богородицкий, И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. Н. Гвоздев считали, что слоги типа *са*, *су*, с одной стороны, и слоги типа *ся*, *сю*, с другой, одинаковы в отношении своей неразложимости, «силлабемности»: чтение любой буквы парного по твердости — мягкости согласного «проясняется» только в сочетании с последующей буквой гласного, буквы согласных сами по себе не обозначают ни мягкости, ни твердости согласного (или, точнее, обозначают либо тот, либо другой), о значении, в частности, твердого согласного у букв, парных по твердости — мягкости согласных, сигнализируют последующие буквы типа *а*, *у* либо пробел. Р. И. Аванесов постулирует другое положение: «Будем исходить из того,—пишет автор,— что каждая из этих букв (*п*, *б*, *в*, *ф* и т. п.— *авт.*) сама по себе обозначает соответствующий твердый согласный» (стр. 197). Эта исходная позиция не позволила автору дать внутренне непротиворечивое объяснение системы русской графики. Противоречивой оказалась прежде всего трактовка маркированности — немаркированности букв *и* и *ы*, а также «несиллабемности» слогов типа *са*, *су*, *сы*.

Исходный постулат привел еще к одному особенно существенному противоречию: противоречиво определяется звуковое значение букв, парных по твердости — мягкости согласных. Так, например, значение [в] у буквы *в* названо первичным значением (стр. 208), значение же [в'] наряду с [ф] и [ф']— вторичным, хотя, по определению («Первичное значение — это то, которому соответствует произношение данного звука в сильной позиции»— стр. 208), значение [в'] должно было бы также оказаться первичным: звук [в'] так же, как и [в], может быть в сильной позиции (ср. *вал* и *вял*).

Как большую удачу автора хотелось бы отметить четкость терминологии, позволяющую все время различать два плана описания — буквы и звуки. Автор не употребляет широко принятых названий букв: «гласные буквы», «согласные буквы», а называет их «буквы гласных», «буквы согласных» (с детализацией: буквы звонких согласных, буквы глухих и т. д.). Впрочем полностью избежать терминологического смешения этих двух планов не удалось (см. стр. 198—199, 213, 214, 228—231).

Основы русского правописания изложены автором на фонемной основе: «Одна и та же буква обозначает как сильную фонему, которая выступает в сильной позиции, так и ее заместителей в слабых позициях... В связи с единством написания морфемы при фонемном письме последнее нередко называют морфологическим» (стр. 207).

Раскрывая основы русского правописания, автор исходит из понятия фонемы, как она трактуется в московской фонологической школе (в книге представлен один из вариантов этой теории). Признавая право автора на такую трактовку, отметим только, что нам трудно согласиться с замечанием автора на стр. 190: «Русское правописание... строится во всех своих основных чертах на принципе, который обычно принято не совсем точно называть морфологическим». Если исходить из других теоретических оснований в трактовке фонемы, в частности из того понимания фонемы, которое представлено в щербовском фонологическом направлении, то для называния основного принципа русской орфографии подходит термин «морфологический». Русское же письмо в целом (как «тип письма»), безусловно, письмо фонемное и в этом качестве противопоставлено письму пиктографическому и идеографическому.

В «кратких вступительных замечаниях к таблицам» (как на стр. 210 называет сам автор свой очерк о русской графике и орфографии) Р. И. Аванесов не только изложил основы русского письма, но и высказал критические замечания по поводу отдельных недостатков нашего правописания, подчеркнув, что его замечания, отражающие его личное мнение, «направлены на то, чтобы читатель сам (а может быть, и по-своему) осмыслил сложные отношения между устной речью и письмом»: практических выводов, указывает автор, из этого делать не следует (стр. 210). Пользуясь предоставленным читателю правом, изложим иной взгляд на употребление буквы ь после букв шипящих.

Р. И. Аванесов считает, что буква ь после букв шипящих пишется по традиции и в настоящее время не имеет не только фонетического значения, но и морфологических функций. Автор полемизирует с теми, кто утверждает, что буква ь различает *дочь* и *врач* как слова женского и мужского рода, *плачь* и *плач* как повелительную форму глагола и существительное и т. д. Р. И. Аванесов считает, что грамматическое различие существует независимо от наличия или отсутствия буквы ь. С последним нельзя не согласиться. Но можно не согласиться с оценкой бесполезности и ненужности буквы ь после букв шипящих.

Представляется, что буква ь, фонетически отнюдь не необходимая, употребляется прежде всего не как сигнал различия, а как специфически письменный графический уравнитель однозначных морфологических категорий: она обеспечивает единство написания некоторых форм, способствующее быстроте зрительного восприятия (в настоящее время не без основания говорят о «зрительной модальности») и более удобному аналогическому написанию ряда форм (*ночь*, как *ель*,— так как *ели*, *елью*... *ночи*, *ночью*; но *врач*, как *стол*,— так как *стола*, *столом*... *врача*, *врачом*; *стричь*, как *пилить*, *речьми*, как *дверьми*, *плачь*, как *кинь*, *плачьте*, как *кинь-те*). Благодаря активному отвердению губных в случаях типа *готовьтесь*, *экономьте* написание буквы ь на наших глазах также превращается здесь из фонетического в аналогическое.

Грамматическое различение является следствием графического уравнивания морфологических категорий. Еще в 1887 г. в «Курсе грамматики русского языка» В. А. Богородицкий указывал именно на графически уравнивающую функцию буквы ь после букв шипящих. Д. Н. Ушаков в своем «Русском правописании» выдвинул на первый план результат этого уравнивания, назвав употребление буквы ь грамматическим сигналом (хотя и подчеркивал, что различительная функция буквы ь предназначена «только для глаза и никак не для уха»). Очевидно, неплохо было бы «оживить» толкование В. А. Богородицкого, сопроводив его новым термином для названия функции буквы ь после букв шипящих. Принцип ее употребления в этом случае можно было бы назвать, например, принципом грамматико-графических аналогий.

Особого внимания заслуживает «Озвученное приложение к учебному пособию». К книге приложено 12 пластинок, из которых 1—6 пластинки посвящены произношению отдельных звуков и их сочетаний — как изолированных, так и в составе слов; 7—9 пластинки содержат тексты, помещенные в самой книге (эти тексты приведены в транскрипции и с подробными комментариями); 10—12 пластинки — эти тексты, состоящие из стихотворных и прозаических отрывков русских поэтов и писателей (от А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до Л. И. Мартынова и А. А. Ахматовой). Тексты приводятся в исполнении дикторов О. С. Высоцкой и Ю. С. Ярцева. Значение этих текстов для практического обучения русскому произношению трудно переоценить — можно только выразить сожаление по поводу того, что озвученным приложением снабжена лишь часть тиража, предназначенная для зарубежных стран (эта часть тиража вышла в издательстве Brücken-Verlag, Düsseldorf, 1972). Потребность в таком приложении и в пределах нашей страны очень велика — речь идет не только о проблемах обучения русскому произношению в республиках и краях Советского Союза, но и о стандартизирующей роли таких записей в занятиях по орфоэпии, проводимых со студентами — будущими учителями русского языка.

Конечно, в такой большой книге имеются высказывания, вызывающие возражения или желание уточнить некоторые исходные положения. Когда речь идет об иканье как о недопустимом способе произношения безударных гласных на месте орфографического *е*, у читателя может возникнуть предположение, будто бы икающее произношение — это произношение в безударном слоге такого же [и], какое произносится в ударном. На самом деле, в случае соблюдения законов редукции, в безударном слоге на месте орфографических *и* и *е* произносится гласный, фонетически значительно отличающийся и от того, и от другого в ударных слогах. Некоторые рекомендации в транскрипционной записи противоречивы, с некоторыми вообще трудно согласиться (например, *ц'в'ет*).

Однако такого рода частные и даже общие спорные места неизбежны в научной и описательной работе любого жанра. Введение новых разделов книги, а также и принципиально объективный подход к описываемым изменениям орфоэпической нормы сделали пятое издание качественно новой и превосходной работой, не имеющей пока аналогии в отечественной описательной фонетике.

Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, В. Ф. Иванова, В. В. Колесов

J. B. Pride. **The social meaning of language — London, Oxford University Press, 1971. 124 стр.**

Рецензируемая книга преследует двоякую цель. Прежде всего, это критический обзор взглядов и концепций лингвистов, представляющих так называемое «социолингвистическое направление» в современном языкознании. Одновременно автор намечает некоторые новые направления теоретических и прикладных исследований в этой области (например, социолингвистический анализ психологической мотивации изучения родного и второго языков).

Автор книги сосредоточивает свое внимание главным образом на трудах английских и американских исследователей. В работе, посвященной не анализу работ той или иной социолингвистической школы, а более широкой цели — рассмотрению основных социолингвистических проблем, такое ограничение следовало бы отразить в самом заглавии. За последние годы американские и английские ученые значительно активизировали свои усилия по изучению социальных аспектов языка и речевой деятельности [1]. Однако картина современного состояния разработки этих проблем становится явно односторонней без учета достижений лингвистов других стран и, в частности, советских ученых.

Дж. Прайд справедливо обращает внимание на широту круга вопросов, рассматриваемых в социолингвистике. В понятие социолингвистики вкладывается различное содержание, а рассматриваемые в социолингвистических исследованиях проблемы отличаются чрезвычайной пестротой. Об этом, в частности, свидетельствует список тем, указанных в названиях разделов рецензируемой книги: «Язык как социальное явление», «Социальные ценности языка», «Переключение кода», «Функции стандартных и местных языков», «Речевые функции», «Речевой акт», «Проблема достоверности анализа», «Междисциплинарный подход», «Изучение родного языка», «Изучение второго языка», «Порождающая грамматика и социолингвистика».

И все же автора можно упрекнуть в том, что некоторые важные вопросы не получили в работе должного отражения или вовсе оказались вне поля зрения. Так, например, нельзя не отметить отсутствие в работе специального раздела, посвященного такой ведущей проблеме социолингвистики, как социальная дифференциация языка. Весьма неполно освещаются в книге вопросы, связанные с языковой политикой или «языковым планированием».

Трактуя социолингвистические проблемы, автор опирается на труды Б. Малиновского, Дж. Фёрса и М. К. Халлидея, взгляды которых он развивает в своей работе. В понимании Дж. Прайда социолингвистика — междисциплинарное направление, ориентирующееся как на языкознание, так и на широкий круг «социальных наук» (таких, как психология, социальная психология, социология, антропология и социальная антропология).

Известно, что исследования социальной природы и социальной детерминации языковых явлений могут иметь выход как в лингвистику, так и в социологию и смежные дисциплины. Иногда указанное различие в целевых установках находит отражение и в используемой терминологии (ср. термины «социолингвистика», применяемый к области исследований, ориентированной на языкознание, и «социология языка», часто используемый по отношению к работам, ориентированным на социологию). Вместе с тем, как правильно подчеркивает Дж. Прайд, тот факт, что та или иная работа ориентирована преимущественно на одну из дисциплин, взаимодействующих в рамках междисциплинарного направления, еще не означает, что она не представляет интереса для другой дисциплины. В качестве примера автор ссылается на работы Дж. Рубин и П. Фридриха [2]. Первая посвящена изучению билингвизма в Парагвае, вторая — исследованию закономерностей употребления личных местоимений в русском языке XIX в. Обе работы, строго говоря, следовало бы отнести к области «социологии языка», поскольку их авторы исходят из определенной суммы лингвистических данных и пытаются выявить их социально-психологические корреляты. Однако направленность «от лингвистики к социологии» отнюдь не снижает лингвистической значимости этих работ. Продолжая мысль, высказанную Дж. Прайдом, можно было бы указать, что решение вопроса о том, является ли данная работа преимущественно лингвистической или социологической, зависит не столько от того, что является ее отправным пунктом и конечным результатом, сколько от ее содержания.

Вместе с тем нельзя не согласиться с автором, когда он указывает на то, что любая социолингвистическая работа, независимо от ее направленности, должна строиться с учетом достижений современного языкознания. Чрезвычайно пока-

[1] См., например: А. Д. Швейцер, Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике, Л., 1971.

[2] J. Rubin, Bilingualism in Paraguay, «Anthropological linguistics». IV, 1, 1962; P. Friedrich, Structural implications of Russian pronominal use, «Sociolinguistics», The Hague, 1966.

зателен в этом отношении критический разбор работы Р. Брауна и М. Форд, посвященной проблеме социальной обусловленности форм обращения в американском варианте английского языка [3]. Авторы ограничиваются анализом одного бинарного контраста (имя/титул + + фамилия типа *John/Mr. Smith*), игнорируя при этом один из основных принципов современного лингвистического анализа — его системность. Указанная оппозиция рассматривается в работе атомистически, а не в контексте системы языковых средств, используемых в качестве форм обращения. Авторы не учитывают и другого принципиального положения современного языкознания, имеющего особое значение для социолингвистических исследований, а именно — взгляда на язык как на «систему систем», отличающуюся вариативностью и гетерогенностью. Исходя из ничем не доказываемого предположения о том, что формы обращения отличаются единообразием для всего американского варианта английского языка, Р. Форд и М. Браун предают забвению известный совет Э. Сепира использовать гипотезу о единообразии лишь в самую последнюю очередь.

В первом разделе рецензируемой работы автор уделяет внимание понятийному аппарату современной социолингвистической теории. Для любой дисциплины, а в особенности для дисциплины, находящейся на стадии становления, чрезвычайно важно выработать четкую систему исходных понятий и определить, в каком отношении они находятся друг к другу. Удалось ли Дж. Прайду в полной мере осуществить эту задачу? Пожалуй, нет. В его работе мы так и не находим однозначных и достаточно ясных определений многих ключевых понятий, которыми оперируют в своих работах американские и английские социолингвисты, хотя автору удалось показать известную противоречивость этих категорий и выявить, что именно в них нуждается в уточнении и дальнейшей разработке.

Одним из центральных понятий социолингвистики является, как известно, понятие «языковая или речевая общность» (linguistic or speech community), частично совпадающее с используемыми в советском языкознании понятиями речевого и языкового коллектива. Однако именно это понятие определено с наименьшей четкостью. Не выяснен сам его объем. Так, например, для Г. Клосса оно равнозначно понятию государства, для Ч. Фергюсона и У. Стюарта — понятию нации, а Дж. Гамперц дает ему следующее определение: «социальная группа, цементируемая частотой социального взаимодействия и выделяемая из окружающего ареала в силу слабости (внешних.— *А. Ш.*) связей» [4].

Разумеется, сведение понятия языковой общности или языкового коллектива лишь к одной социальной единице едва ли правомерно. В самом деле, для социолингвистики важно изучение и национальных языков, и социальных диалектов, и профессиональных жаргонов. Поэтому понятие языковой общности должно быть в достаточной мере универсальным и всеобъемлющим, охватывающим и большие и малые социальные общности [5]. Многое в приведенной формулировке нуждается в уточнении. Как следует понимать такие критерии, как «частота социального взаимодействия» или «слабость внешних связей»? Поскольку речь идет об относительных и не вполне четко определяемых признаках, указанное определение едва ли можно считать достаточно строгим. Построенное на основе широко используемой западными социологами интеракционистской модели социальной структуры, оно носит явно односторонний характер, учитывая лишь коммуникативные признаки социальной общности. Более того, как справедливо отмечает Дж. Прайд, приведенная формулировка обнаруживает резкий крен в сторону социологии, игнорируя лингвистические признаки языкового коллектива. Вместе с тем понятие языковой или речевой общности должно, разумеется, распространяться не на любую социальную группу, а лишь на такую, которая может быть охарактеризована с помощью определенного комплекса языковых признаков.

В зарубежной социолингвистической литературе термин «языковая общность» (linguistic community) и «речевая общность» (speech community) часто применяются недифференцированно. Рецензируемая работа в этом отношении не является исключением. В то же время материалы социолингвистических исследований свидетельствуют о необходимости разграничения таких понятий, как «языковая общность» или «языковой коллектив», с одной стороны, и «речевая общность» или «речевой коллектив» — с другой. Иными словами, следует различать, с одной стороны, социальные общности, отличающиеся друг от друга инвентарем используемых ими языковых единиц, а с другой стороны, те, которые обнаруживают различия в речевом использовании одних и тех же единиц.

Используемый для изучения речевых

[3] R. Brown, M. Ford, Address in American English, «Language in culture and society». New York, 1966.

[4] J. Gumperz, Types of linguistic communities, «Antropological linguistics», IV, 1.

[5] См.: А. Д. Швейцер, О микросоциологии и макросоциологии языка. М., 1970.

коллективов понятийный аппарат включает и такую категорию, как сфера использования (domain). Сферы использования языка — это, по существу, те ситуации, в которых тот или иной язык (вариант, диалект или стиль) регулярно предпочитается другому. Известно, что выбор того или иного языка (в многоязычном обществе), диалекта (при диглоссии) или стиля (в одноязычном обществе) зависит во многом от традиционного социально детерминированного распределения сфер использования сосуществующих в рамках данного общества языковых систем. Таким образом, языковая ситуация в том или ином ареале может быть описана с помощью так называемой модели «конфигурации сфер преимущественного использования» (dominance configuration; термин впервые предложен У. Вайнрайхом). Эта модель может быть реализована в виде координатной сетки, в которой по горизонтали наносятся сферы использования, а по вертикали — другие виды вариативности (письменная/устная речь, официальный/ /неофициальный стиль, воспроизведение/ /восприятие речи) и на каждой точке пересечения горизонтальных и вертикальных линий отмечается выбор той или иной из конкурирующих языковых систем.

Сферы использования самым непосредственным образом связаны с лингвистически релевантными ролевыми отношениями (термин заимствован из понятийного аппарата современной социологии). В отличие от статуса, т. е. постоянного положения индивида в той или иной социокультурной системе, роли представляют собой переменную величину и варьируются в зависимости от конкретной социальной ситуации (social occasion), в которой происходит данный коммуникативный акт (ср., например, такие ролевые отношения, как, например, судья — проситель, продавец — покупатель, муж — жена). Известно, что один и тот же индивид, вступая в различные ролевые отношения, соответственно меняет используемый им «код» (т. е. определенный набор языковых средств). Вместе с тем его социальное положение или статус находит соответствующее отражение в некоторых постоянных (например, диалектных) характеристиках его речи.

Остается нерешенным вопрос о том, исчислимы ли социальные ситуации и ролевые отношения. Дж. Гамперц, на которого вновь ссылается Дж. Прайд, полагает, что в любом данном обществе их число конечно [6]. Однако вопрос этот требует более обоснованного ответа, поскольку от этого во многом зависит успешная разработка теоретической модели, которая должна лечь в основу социолингвистического анализа. Читатель убеждается в этом, в частности, познакомившись с материалами, изложенными в разделе, посвященном проблеме достоверности социолингвистического анализа.

В этом разделе автор ссылается на цитированную выше работу П. Фридриха, в которой делается попытка построить десятикомпонентную модель использования русских местоимений *ты* и *вы*. В связи с этим возникает вопрос: не следует ли свести эти компоненты, отражающие различные социальные ситуации и ролевые отношения, к более широким категориям? Дж. Прайд отвечает на этот вопрос следующим образом: если некоторые из компонентов действуют одинаково (т. е. имеют одну и ту же языковую реализацию), то они могут быть объединены в рамках более широких понятий; в противном случае требуется большая степень детализации. Например, если такие компоненты, как «возраст» и «власть», одинаковым образом влияют на выбор *ты* или *вы*, то эти компоненты могут быть сведены к одному с большей степенью генерализации (например, «старшинство»). Отсюда следует, на наш взгляд, один из важнейших принципов социолингвистического анализа, согласно которому лингвистическая релевантность определяет как саму номенклатуру используемых исследователем социологических категорий, так и степень их абстракции.

В разделе, посвященном социальным ценностям языка, автор касается пользующихся популярностью у западных социолингвистов работ английского социопсихолога Б. Бернстайна [7], в которых постулируется наличие двух речевых кодов — ограниченного (restricted code), характеризуемого высокой степенью предсказуемости и используемого чаще всего в ритуальных формах коммуникаций, и развернутого (elaborated code), обладающего более низкой предсказуемостью и используемого в тех социальных ситуациях, которые стимулируют индивидуальное самовыражение.

Тот факт, что определенные социальные ситуации влекут за собой преимущественное использование в речи готовых, предсказуемых формул, речевых штампов и т. п., тогда как другие характеризуются более «творческим» использованием языка, едва ли подлежит сомнению. Однако Б. Бернстайн пытается связать выделяемые им «коды» не только

[6] J. Gumperz, Linguistic repertoires, grammars and second language instruction, «Monograph series on languages and linguistics», Georgetown University, 18, 1965.

[7] B. Bernstein, Elaborated and restricted codes: An outline. Explorations in sociolinguistics, IJAL, 33, 4, 1967. См. также: А. Д. Швейцер, Вопросы социологии языка, стр. 21.

с ситуацией, но и с социальным статусом. Дж. Прайд справедливо обращает внимание на то, что гипотезы Б. Бернстайна не подтверждаются данными социолингвистических исследований (У. Стюарта, Дж. Гамперца и др.). Наиболее решительные возражения вызывает, на наш взгляд, утверждение Б. Бернстайна о том, что речь представителей рабочего класса и представителей среднего класса отличается преимущественным использованием в первом случае ограниченного кода, а во втором — развернутого.

Социолингвистические исследования требуют тщательного и строгого анализа, аргументированности и документированности выводов. В противном случае излишне прямолинейные корреляции лингвистических и социальных фактов могут носить вульгаризаторский характер, как это часто имело место в прошлом. Об этом свидетельствует, в частности, попытка Б. Бернстайна установить прямую связь между использованием указанных кодов и лойяльностью по отношению к группе, с одной стороны, и «индивидуальным самовыражением», с другой.

Известные сомнения вызывают некоторые положения рецензируемой книги относительно связи между социолингвистикой и порождающей моделью Н. Хомского. Автор усматривает эту связь в том, что социолингвистике близка «менталистская» антибихевиористская ориентация школы Хомского. Думается, что гораздо ближе к истине известный американский социолингвист Д. Хаймс, который, оценивая порождающую модель с позиций социальной лингвистики, отмечает, что с точки зрения учета социальной природы языка эта модель в формулировке Хомского «ни в чем не отходит от структуралистского прецедента. Скорее это шаг назад, поскольку она полностью исключает из рассмотрения гетерогенность речевой общности, различные роли говорящих, а также стилистические и социальные компоненты значения» [8].

В настоящей рецензии нет возможности остановиться на всех вопросах, которых касается в своей книге Дж. Прайд. Необходимо лишь отметить, что большинство рассматриваемых им социолингвистических проблем относятся к числу наиболее интересных и наиболее актуальных. Автор далеко не всегда дает ответы на поднимаемые им вопросы, но сама постановка их стимулирует их дальнейшую теоретическую разработку.

А. Д. Швейцер

[8] D. Hymes, Editorial introduction, «Language in society». I, 1, 1972.

***F. Buffa*. Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry.** K histórii slovenského odborného slovníka. Bratislava, Vyd. Slovenskej akadémie vied, 1972. 427 стр.

Фердинанд Буффа известен русскому читателю как исследователь словацкой ботанической терминологии. Ему принадлежит целый ряд работ, связанных с этой сферой национального словаря как в плане изучения народной номенклатуры растений и ее структурно-семантических свойств (мотивированность номенклатурных названий) [1], так и в плане исследования научной ботанической терминологии и методов ее рационального построения. Серия работ Ф. Буффы связана непосредственно с деятельностью Словацкой АН по нормализации ботанической терминологии в 50-е годы нашего века. Проблемы нормализации и рациональной организации национальной терминологии естественно и закономерно привели исследователя к вопросу об истории ее формирования, поскольку учет научной традиции при нормализаторской деятельности играет первостепенную роль.

Рецензируемая книга Ф. Буффы представляет собой обобщающий труд по истории формирования научной ботанической номенклатуры в Словакии, построенный на анализе материалов письменных источников, начиная от рукописного лечебника XVII в. и вплоть до номенклатурных списков Словацкой АН (SBN) 50-х годов нашего века.

С точки зрения лингвистического «жанра» книга Ф. Буффы принадлежит к разряду исследований по истории терминологии со специфической для этого жанра методикой включения в план описания историко-культурного и историко-лингвистического фона, постановкой вопроса о развитии знания, состояния письменности, о языке науки (и шире — литературном языке), вопроса о культурных и языковых взаимодействиях и языковой политике.

Исследование построено как серия очерков о ботанических книгах в Словакии и используемой в них терминологии.

[1] F. Buffa, Z nárečových názvov rastlín v Dlhej Lúke, «Jazykovedné štúdie», II, 1957; его же, Nazvy rastlín motivované vnútornou vlastnosťou rastliny, «Slovenské odborné názvoslovie», IV, 1956; его же, Mená zvierat v slovenskom názvosloví rastlín, «Slovenské odborné názvoslovie», V, 1957, и др.

Автор ввел в научный обиход значительное число текстов, доселе не бывших в поле зрения лингвистов-терминологов. Достаточно сказать, что в известной книге чешского исследователя В. Махека «Česká a slovenská jména rostlin» (Praha, 1954) использованы в качестве источника материалы двух словацких авторов XIX в. (Г. Реусса и И. Голубы). В книге Ф. Буффы рассматриваются 15 источников XIX в.; использованы материалы «дословацкой» письменности XVIII в. (латинские, немецкие, венгерские книги по ботанике со словацкими вокабулами в них, написанные и изданные в Словакии), привлечены рукописные книги и словари, в том числе «Slovenský lekársky rukopis» XVII в. Вопрос о письменной традиции получает здесь, таким образом, глубокую историческую перспективу.

Источники сгруппированы относительно нескольких исторических периодов, представляющих известную общность с точки зрения истории культуры и языка. Бегло остановясь на общеславянских элементах ботанического словаря словаков, восходящих к периоду славянского единства, автор выделяет ранний период фиксации собственно словацкой ботанической номенклатуры в книгах и рукописях XVII — начала XIX в. Это предыстория научной номенклатуры, связанная с книгами по прикладной ботанике (лечебниками, травниками) и естественной истории, словарями специальными и общими (гл. II). Второй период — первая половина XIX в.— создание первого систематического описания словацкой флоры — «Května slovenska» Г. Реусса (1853 г.) (гл. III). Третий период — национальный подъем второй половины XIX в., формирование словацкого письменного языка и деятельность сторонников Л. Штура, книги Д. Лихарда, А. Кмета, И. Голубы (гл. IV); четвертый период — образование ЧССР, создание учебников по ботанике, начало нормализаторской деятельности переводчиков и исследователей-лингвистов (гл. V); пятый период — создание современной нормализованной научной терминологии: «Května ČSR» Й. Достала и словацкая номенклатура Й. Новацкого в ней, словацкая ботаническая номенклатура Словацкой АН (гл. VI). Каждому разделу предпослано краткое описание основных культурно-исторических черт периода и значимых факторов языковых течений и языковой политики.

В план собственно языкового описания прежде всего выдвинут вопрос об источниках терминологии: чешские и словацкие названия, общие и локальные; названия, идущие из других славянских языков — прямо или опосредованно через чехов; латинские названия и весь набор вариантов их формы при адаптации в чешском и словацком языках; европеизмы, попадающие прямо в словацкий язык или проходящие через «чешский фильтр»; кальки с латинских и европейских слов; кальки с чешских наименований и т. п. Языковая ситуация в Словакии весьма сложна и в смысле обилия и разнообразия живых взаимодействий с инославянскими и европейскими языками (немецкий, венгерский, чешский, польский, украинский, русский, сербскохорватский и т. д.), и в том смысле, что собственный письменно-литературный язык Словакии формировался лишь в половине XIX в., а до тех пор функции литературно-письменного языка выполнял чешский язык, который и позднее — после деятельности Л. Штура и его последователей — многими словаками признавался преимущественным «культурным языком».

Автор принадлежит к горячим сторонникам самобытного словацкого литературного языка, построенного на обработке народно-разговорной речи словаков. Поэтому особое внимание он уделяет народным истокам литературного языка в интересующей его сфере и проблемам национализации и демократизации ботанического словаря.

Книги первого периода для автора примечательны тем, что уже в них отражены языковые коллизии, которые определили развитие ботанической терминологии в течение почти двух столетий. Уже для медицинской рукописи XVII в. характерна вариантность форм слов, отличающая чешский и словацкий разговорный язык: ст. чеш. *dětel* — чеш., слов. (диалектн.) *detelina* — слов. *d'atelina*, *d'atel* (клевер); чеш. *pelyněk* — слов. *palinek*, *palina* (полынь). В памятниках половины XVIII в. (ср. рукоп. «Syllabus dictionarii latino-slavonicus») местную словацкую форму получают и те слова, которые в более ранних памятниках имели чешскую форму (ср. *jačmeň* вместо *ječmen*; *vtáčy mléko* вместо *ptačy mléko*; *medvedi noha* вместо *nedvedi noha*). При калькировании иноязычных названий наряду с чешскими кальками уже в книгах XVIII в. встречаются кальки собственно словацкие (ср. *tisovy strom*, *nešpulovy strom*— J. Lyczei, «Iter oecon.», 1707). Книги конца XVIII в. широко вводят собственно словацкую народную номенклатуру растений, иногда в фонетической записи: *čučoritka* «черника», *pôlka* «крыжовник», *hloch* «боярышник» и т. п.

Одновременно с тенденцией к демократизации и национализации словаря автор прослеживает изменения, вызванные временным фактором (исторические варианты), которые отчетливо проявились уже у Ю. Фандлы (1793) и в Словаре А. Бернолака (1825) (ср. *slnečnik* вместо прежнего *slunečnik*).

Обилие разногенетических источников (разные языки, разные диалекты) и разных приемов передачи иноязычных слов уже в этом, первом периоде привели к появлению значительного числа фор-

мальных вариантов и лексических дублетов в ботанической номенклатуре. В связи с этим уже в Словаре Бернолака делается попытка противопоставить названия узуальные и народные. Систематически прослеживает автор традиционную преемственность терминологии от книги к книге и то новое, что вносит каждый автор в формирующийся словарь.

Третий постоянный план наблюдений — словообразовательная и семантическая структура терминов (удельный вес непроизводных имен, продуктивные суффиксальные модели, двусловные наименования, мотивированные и немотивированные номенклатурные знаки). Последние данные были бы особенно интересны, если бы автор обобщил их хотя бы для выделяемых периодов, отграничив таким образом типовое, узуальное от индивидуального и окказионального.

Выявленные уже на первом этапе языковые особенности (вариантность, дублетность, удельный вес народно-разговорных элементов словаря, тенденция к словакизации чешских названий и т. п.) прослеживаются автором на всех последующих этапах. Так, рассматривая деятельность Г. Реусса, автор, высоко оценивая общекультурное значение этой работы, с точки зрения языковой считает ее чрезмерно зависимой от чешских образцов (первой чешской систематики — книги И. Пресла «Flora čechica», 1819) в той ее части, которая является «официальной» (научная номенклатура в чехизированной форме). Очень ценными считает автор народные словацкие (часто диалектные) параллели к официальным названиям, приводимые Реуссом и ставшие источником дальнейших национальных преобразований ботанической номенклатуры.

Следующий период (вторая половина XIX в.), ознаменовавшийся деятельностью Л. Штура, его соратников и продолжателей, в области лингво-ботанических штудий означал усиление интереса к народным названиям словацкой флоры, собиранию их и систематической публикации списков ботанических названий в периодической печати того времени. Разыскания в области народной словацкой номенклатуры растений и широкое привлечение народных названий для нужд научного описания остро поставили вопрос о нормализации номенклатуры, обремененной дублетами и отличающейся необычайно высокой вариативностью (фонетической, орфографической, словообразовательной).

В двух последних главах описана нормализаторская работа в области ботанической номенклатуры в Словакии. Исторически это этап, связанный с образованием Чехословацкой республики, в которой словацкий язык получил статус государственного языка (хотя положение о едином «культурном» языке имеет и в это время много сторонников). Первый этап нормализации связан с созданием учебной ботанической литературы на словацком языке (перевод чешских учебников, медицинских книг); второй — с деятельностью профессора Й. Новацкого и Словацкой Академии наук. С точки зрения нормализаторских положений следует отметить следующие: 1) выбор диалектной базы при использовании народных названий (среднесловацкий диалект); 2) согласование фонетической и словообразовательной формы названий с современным этапом развития языка; 3) решение вопроса о введении в нормализованный словарь традиционных для Словакии латинских и чешских наименований; 4) тенденция к употреблению имен с «прозрачностью значения», внутренней мотивировкой.

Исследование завершается словарем ботанических названий, составленным на основании 20 000 выборок из словацких ботанических книг XVII—XX вв. и представляющим, несомненно, большую лингвистическую ценность для славистов-лексикологов. Словарь построен по принципу алфавитного расположения лексем. Варианты слова (фонетические и орфографические) собраны под одну репрезентативную форму, нормативную в современной ботанической номенклатуре или наиболее употребительную. Все варианты документированы и опосредованно (через датировку источника) датированы. Ср.: *kŭkol'* (Agrostemma), вар. *konkol'*, *kaukol'*, *kankol'*, *kunkol'*; *paprad'* (Dryopteris), вар. *paproc*, *paprud'*, *paprut'*; *agât* (Robinia), вар. *agač*, *agac*, *akač*, *akac*.

«Несистематические» фонетические варианты и словообразовательные модификации даются как отдельные слова. Например: *Jelša* (Alnus), вар. *jalš*, *jalša*, *jelše*, *jelcha*, *olša*, *olše*, *olcha*; *Olša* (Alnus), вар. *volše*, *olcha*, *ol'cha*. Значения слов указаны с помощью введения латинских ботанических терминов-идентификаторов. При соотнесенности названия с несколькими идентификаторами они обозначаются в пределах одной статьи.

Если говорить о структуре данного словаря, то понятие отдельного «слова» в нем достаточно условно: в вариантный ряд включены как исторические варианты (результаты временных изменений), так и синхронные, как пространственные (локальные модификации), так и локально не дифференцируемые, как индивидуально-авторские, так и общенародные. Обилие идентификаторов, особенно синхронно не соположенных, также с достаточной условностью может восприниматься как показатель многозначности слова. Однако подобный способ подачи материала оказался чрезвычайно выразительным для демонстрации центральной идеи книги — для представления о ходе

нормализации, об отборе, осуществленном из многочисленных серий орфографических, фонетических и словообразовательных вариантов. Однако, имея в виду эту же центральную идею, кажется малооправданным то, что представление о лексическом варьировании, столь характерном для каждой «становящейся» терминологии, тем более такой, как ботаническая, хотя имплицитно и содержится в словаре, совершенно скрыто для читателя (исключение, естественно, составляет словообразовательный ряд — в алфавитном словаре суффиксальные производные оказываются в непосредственной близости от слов производящих).

В словаре никак не соотнесены равнозначные разнокорненые образования. Русский читатель, встречая, например, в словаре наименования *belena*, *beladona banan*, *ananas*, при которых нет сигнатуры, фиксирующей их принадлежность к научной терминологии, может узнать нормативное обозначение этих растений, лишь прочтя весь словарь. Увидев в словаре, что в состав научной терминологии вошло слово *valeriana* и что в словацком языке это новация (с 40-х гг. XX в.), читатель не может установить историческую перспективу, так как не найдет при этом слове указаний на то, что растение Valeriana давно и широко известно в Словакии под названием *baldrian* и *odolen* и что нормализаторы предпочли международное название. Тем более не «выйдет» читатель на такие интересные ряды, как *klinček — klinec — hrebiček — hvozdík* (Dianthus cariofillum, гвоздика) или *egreš*, *angreš — chlupačky — mochnanka — šminky — gygadze* (крыжовник), обильный диалектными словами. Ведь словарь не соотнесен с текстом самой книги и не служит указателем к нему, это словарь к источникам.

Было бы очень желательно дать читателю «инструмент» для восстановления синонимических рядов: отбор из ряда — важный момент нормализации, базирующийся на ориентации нормализаторов. Это можно было бы сделать путем соотносительных указаний (как при «несистематических» фонетических вариантах) или включением словарика латинских терминов — идентификаторов, с указанием при них тех страниц словаря, на которых они встречаются.

С точки зрения демонстрации хода и этапов нормализации, проводимой на широком материале словаря, было бы очень желательно видеть указания на официальную терминологию первого систематизатора Реусса, а, может быть, и узуальные термины Бернолака. В словаре указания на Реусса не дифференцированы, а среди них есть и названия неофициальные. Что было официальным у Реусса: *baldryan* или *odolen*, *borievča*, *borovec* или современное нормативное *borievka*? Этапы нормализации выступили бы отчетливее, если бы официальные термины Реусса снабжались хотя бы астериском.

Словацкие книги зафиксировали очень много народных (в том числе диалектных) названий. В богатейшей по материалу книге В. Махека мы не найдем целого ряда имеющихся там обозначений (ср. словообразовательный ряд *povoj*, *povoja*, *povojnik*, *povojka*, корреспондирующий с названиями *svlak*, *svlačec*, *svlaček*; оба ряда известны и в русской народной номенклатуре; или *ovsiak*, *ovsiar*, *ovsienka*). Это лишний раз свидетельствует о ценности письменных источников для изучения исторической диалектологии. Указание на локализмы представляло бы (в той мере, в какой это сейчас возможно) очень большой интерес и с точки зрения втягивания их в сферу общенародных (и даже научных) обозначений, и с точки зрения отказа от них.

Вводя в круг исследования книги (в основном иноязычные) XVII—XVIII вв., автор сознает трудность установления значений упоминаемых там терминов. Даже наличие латинских параллелей (в словарях) не облегчает дела. В свое время В. Махек замечал: «Имея в виду, что средневековые знания по ботанике были невелики, а также то, что латинский язык не был родным для славянских авторов, не следует слишком полагаться на средневековые латинские термины» («Česká a slovenská jména rostlin», стр. 6). Имея это в виду, автор оговаривает, что его латинские термины при словах из старых книг — не научные идентификаторы в подлинном смысле слова. Но в словаре различное качество латинских соответствий никак не обозначено, что вносит известную дезориентацию. Думается, что богатый и очень интересный словарь к исследованию Ф. Буффы мог бы быть значительно более информативным.

Материалы этого словаря, равно как и само исследование, несомненно будут использованы многими славистами: терминологами, изучающими научные и народные номенклатуры растений, историками языка, диалектологами, специалистами по сравнительному славяноведению.

Л. Л. Кутина

А. Н. Стеценко. **Исторический синтаксис русского языка.** — М., «Высшая школа», 1972. 360 стр.

Книга А. Н. Стеценко написана более в жанре очерка, нежели учебного пособия для студентов. В ней собран богатейший материал из памятников различных жанров древнерусского и старорусского периодов, который систематизирован в соответствии с установившимися принципами изучения истории русского синтаксиса. В то же время структура книги приближена к построению практического курса современного русского синтаксиса, что облегчает восприятие исторической перспективы. Правда, в ряде случаев эту перспективу можно было бы дать более четко и конкретно.

Автор часто пользуется определениями типа «первоначально», «в дальнейшем», «со временем» и т. п., давая читателю весьма приблизительное, а иногда и хронологически смещенное представление о конкретных языковых явлениях. Например, на стр. 103 написано: «Предлог *для* с родительным падежом первоначально употреблялся для обозначения причины ... и цели...». Иллюстрации приведены из сочинений Аввакума и Котошихина, что, безусловно, не является «началом» языкового факта. На стр. 39—40 говорится о том, что в древнерусских памятниках именные действительные причастия настоящего и прошедшего времени употреблялись в роли именной части составного сказуемого. Даются примеры из «Повести временных лет», «Моления Даниила Заточника», «Жития Бориса и Глеба», «Новгородской I летописи». Вслед за этим на стр. 40 читаем: «В дальнейшем развитии русского языка именные действительные причастия, выступавшие в функции предикативного члена, исчезли». Но когда? Значит ли это, что они исчезли в XV в., если их употребление иллюстрируется материалами XII—XIV вв.? Ведь это не так.

Наиболее полно автор раскрывает историю сложного предложения, которому посвящена вторая часть книги, основная по занимаемому объему и значимости содержания. Раздел «Сложное предложение» открывается краткими вводными замечаниями, в которых автор излагает общие особенности, свойственные древнерусским конструкциям сложного предложения, и определяет свою точку зрения на некоторые вопросы генетической соотнесенности отдельных структурных разновидностей друг с другом.

Читателя привлекает детальная характеристика структурных особенностей бессоюзных сложных предложений и тщательное рассмотрение возможных смысловых отношений между их частями. Сомнение здесь вызывает лишь безоговорочное распределение автором всего материала бессоюзных предложений по типам смысловых отношений даже там, где возможно двоякое толкование их характера и не исключен факт нейтрализации двух различных отношений. См., например, материал раздела «Бессоюзные сложные предложения со значением следствия» или последний пример из приведенного на стр. 140 материала по бессоюзным сложным предложениям времени («И мне неможется, так меня подымает...»), где налицо не меньшая возможность интерпретировать вторую часть в качестве поясняющей (ср. материал соответствующей рубрики на стр. 131).

В главе, посвященной сложносочиненным предложениям, особого внимания (кроме факта тщательной систематизации обширного материала по принципу употребления того или иного союза) заслуживает подход автора к выяснению функций союзов *а* и *и* в их взаимоотношениях, показ всего объема их функционального употребления в памятниках, что не оставляет сомнения в их семантической различимости.

Бесспорным достоинством рецензируемого историко-синтаксического обзора является особое выделение и детальное рассмотрение сложных конструкций с разнотипными частями, связанными сочинительными союзами, а также конструкций, снабженных одновременно подчинительным и сочинительным средствами связи. Это не только момент композиции книги, но и определенной теоретической позиции ее автора. Наблюдения над этими структурами изложены в специальных разделах (стр. 119—224) и интерпретируются как синтаксические явления, отражающие определенные этапы формирования союзного подчинения. Характеристика природы предложений с наличием подчинительных и сочинительных союзов (стр. 203) представляется более удачной, чем это было сделано в специальной литературе до сих пор. Кажется правомерным и определение статуса предложений как сложноподчиненных, и определение в них союзов *и*, *а* как союзов присоединительных.

В первой части книги («Простое предложение») автор, к сожалению, часто опускает подобного рода комментарии, обходит общие, иногда проблемные, вопросы, которые стоят за инвентарем языковых фактов. Так, богатый материал по функциям косвенных падежей и по употреблению предлогов, на наш взгляд, недостаточно интерпретирован. Он не вошел органической частью в проблематику истории второстепенных членов предложения, что ожидалось бы в работе по синтаксису.

Автор обходит молчанием трудность и проблемность вопроса обособления в древнерусском языке. Так, рубрика

«Обособленные обстоятельства» содержит только следующее замечание: «Как известно, при наличии в предложении двух обстоятельств одного разряда второе обстоятельство обособляется, если оно уточняет первое» (стр. 120). Заметим, что это — далеко не аксиома даже для современного языка, а тем более для языка древних периодов. Автор предупреждает в предисловии к книге, что «для облегчения понимания синтаксической структуры древнего текста» он расставляет знаки препинания в большинстве случаев в соответствии с современными правилами. Однако облегчению при этом неизбежно сопутствует предписывание. На той же стр. 120 видим: «И во вторникъ, вечеръ суморокъ, пояхъ съ собою 2 брата» («Повесть временных лет», 148). Но почему не допустить иное прочтение: «И во вторникъ вечеръ, в суморокъ ...»? (не говоря уже о сложности понятия обособления для древнего периода).

Опущение в изложении определенных моментов, помогающих читателю уяснить сущность явлений и их связь друг с другом, приглушает голос автора и переносит центр тяжести в ряде глав этой книги на показ текстового материала. Далеко не всегда при этом автор учитывает различие имеющихся в литературе точек зрения по тому или иному вопросу (как это случилось, например, с вопросом о порядке расположения определения в атрибутивном словосочетании). В связи с этим приходится высказать сожаление об отсутствии в книге списка важнейших исследований по истории русского синтаксиса. Подстрочные примечания в книге минимальны.

В книге одинаково детально излагаются языковые факты, представляющие своеобразие языка прошлого, и факты, совпадающие в своей сущности и внешних проявлениях с фактами современного языка. Между тем, последние не требуют для своего показа столь широкого текстового фона, как первые. Обилие иллюстративного материала здесь излишне, а это значительно увеличивает объем книги.

В рецензируемой книге немало «молчаливых» отклонений от общепринятого в литературе понимания фактов. Думается, что одни из них порождены недосмотром, другие, очевидно, особым мнением автора, совершенно напрасно не оговоренным особо. Сошлемся на конкретные факты.

Стр. 81. Иллюстрируя употребление в старорусских памятниках предложений с собственно безличными глаголами, автор приводит примеры с формами *разбило*, *занесет* (ветром), *оторвало* (водою), *ухватило*, *понесло*, что не согласуется с принятым толкованием понятия «собственно безличные глаголы» в соотношении с понятием «безличные формы личных глаголов». Безличными (на стр. 83) автор считает первые части предложений «А *что* ножень княжихъ, *то* князю»; «А *что* ся остало изъ моихъ судовъ из серебрьныхъ, а *тымъ* поделятся сынове мои и княгини моя» и под. (курсив наш.— *В. Г.*). При этом не дается никакого замечания по поводу интерпретации функции местоимения *что*. В качестве безличного рассматривается и предложение «Но *се* ему бе нелюбо» (стр. 84).

На стр. 87 под рубрикой «Главный член (сказуемое) выражен именной формой страдательного причастия прошедшего времени...» приведен пример: «Бысть ему язвено на главе его» (Пов. вр. лет, 104). Представляется весьма спорной морфологическая интерпретация слова *язвено* в качестве страдательного причастия. Смысл фразы достаточно обнаруживает в слове *язвено* имя существительное, ср. дальше в тексте: «Рекоша бо волсви матери его: се язвено навяжи на нь, да носить е до живота своего» (Пов. вр. лет, запись 1044 г.).

На стр. 92 читаем: «К данной группе (к группе номинативно-бытийных.— *В. Г.*) примыкают номинативные предложения, характеризующие состояние окружающей среды, например: *Се градъ нашь* (Пов. вр. лет)». Но пример не согласуется ни с его семантической, ни с его синтаксической характеристикой (если иметь в виду общепринятую классификацию с выделением указательной разновидности номинативных предложений). На стр. 96 находим: «В древнерусском языке при супине последовательно употреблялся родительный падеж со значением цели», хотя общеизвестно положение о целевом значении самого супина, при котором род. пад. имеет значение объекта. На стр. 111 в качестве иллюстрации к явлению замены второго дательного творительным предикативным приводится фраза: «Видитъ душа моя, что имъ побитымъ быть (Авв., 13)», где форму *побитымъ* невозможно истолковать как форму творительного предикативного при субъектном члене *имъ*. Частных фактов, подобных приведенным, комментарий к которым вызывает несогласие, в рецензируемой работе довольно много. Это особенно досадно, если иметь в виду, что книга адресована широкой филологической аудитории.

В целом же книга полезна и специалисту-лингвисту, и студенту-филологу. Ее недочеты компенсируются широтой охвата материала и упорядоченностью общего представления об историко-синтаксических процессах в русском языке, которое она дает читателю.

В. Л. Георгиева

Ю. С. Степанов. **Семиотика.** —М., «Наука», 1971. 145 стр.

В рецензируемой работе, посвященной рассмотрению основных вопросов семиотики, определяется предмет семиотики как науки, указано ее отношение к другим наукам. Автор расценивает свою работу «как семиотическое введение в лингвистику» (стр. 4). Изучению конкретного материала предпосланы предисловие (стр. 3—5) и гл. 1 «Факты и первые объяснения» (стр. 6—26), в которой, помимо описания некоторых фактов, которые изучает семиотика, содержится краткий обзор «Из истории семиотических идей» (стр. 15—26). В этой истории прослеживаются два потока идей. Один поток идет от изучения национальных особенностей человечества. В этой связи анализируются взгляды В. Гумбольдта, В. Вундта, А. А. Потебни; далее рассматриваются семиотические воззрения К. Фослера, П. Гриеже, указываются русские работы Ю. Н. Тынянова, Б. А. Ларина, Б. В. Томашевского, А. Белого, Б. Эйхенбаума, в которых также излагается семиотическая проблематика. Проблемами семиотики, по мнению автора, интересовались Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф, И. Трир, Л. Вейсгербер и др. (стр. 19). В работах указанных авторов проблемы семиотики ставились в разрозненном виде.

В более концентрированном виде семиотические проблемы ставились и обсуждались в связи с понятием знака («второй поток семиотических идей» — стр. 20). Здесь называются имена Дж. Локка, П. Гассенди, Э. Б. де Кондильяка, для более позднего времени — Ч. Пирса, Ч. Морриса, Г. Фреге, Ф. де Соссюра.

В современной семиотике автор выделяет четыре направления: 1) биосемиотику (Ч. Хоккет, США; П. И. Жинкин, СССР); 2) этносемиотику (Э. Холл, США; К. Леви-Стросс, Франция); 3) лингвосемиотику; 4) абстрактную семиотику и, наконец, 5) общую семиотику, в рамках которой решаются общие вопросы всех этих направлений. Более подробное изложение содержится в гл. 2 «Направления в современной семиотике» (стр. 27—79).

В разделе этносемиотики (стр. 32—46) излагается, в частности, концепция К. Леви-Стросса, отмечается ее противоречивость, объясняемая тем, что «у этого автора в рамках одной теории, по-видимому, соединяются философская экзистенциалистская основа и структуралистская методика, тяготеющая к совершенно иной философской основе» (стр. 38). Ю. С. Степанов возражает Леви-Строссу, который полагает, что человеческий «язык мог возникнуть только сразу и целиком» (стр. 40), но не выясняет сути семиотических проблем, возникающих при исследовании проблемы происхождения языка.

При изложении концепции Р. Барта подчеркивается, что именно он впервые обратил внимание на то, что «между общим национальным языком и индивидуальным стилем писателя существует еще промежуточная ступень — как бы диалект литературного языка, присущий нескольким писателям одновременно» (стр. 41), общность стилей ряда писателей Р. Барт называет «письмом» (ср.: *икона новгородского письма* и т. п.). В изложении автора остается неясным, в чем заключается семиотический аспект указанного разделения.

В разделе, посвященном лингвосемиотике (стр. 46—75), излагаются общеизвестные положения современного языкознания, в частности, в лингвистических единицах выделяется план выражения и план содержания, в языке различаются конкретный и абстрактный уровни; к первому относится, например, фонетика и записанные в словаре значения, а ко второму — фонология и семантические поля.

Абстрактную семиотику автор определяет как «абстрактную теорию знаковых систем (любых, а не только языка или языкоподобных)» (стр. 75). Абстрактная семиотика, по мнению автора, представлена в работах Р. Карнапа («Логический синтаксис языка», 1934) и Л. Ельмслева («Пролегомены к теории языка», 1943).

Общая семиотика определяется как наука, занимающаяся сравнением, сопоставлением и обобщением результатов частных семиотик (стр. 78). Рецензируемую работу автор рассматривает как опыт изложения общей семиотики (стр. 79).

В гл. 3 «Основные законы семиотики» (стр. 80—144) выделяются и подробно рассматриваются в соответствующих разделах: а) объективные законы (синтактика); б) законы, зависящие от позиции наблюдателя (прагматика); в) законы смысла (семантика).

Во всех разделах рецензируемой книги сообщается много свежих мыслей, малоизвестных фактов. Вместе с тем многие положения книги имеют дискуссионный характер и требуют более обстоятельного обсуждения.

Ю. С. Степанов определяет семиотику как «науку о знаковых системах в природе и обществе» (стр. 3). С этой точки зрения принципиальное значение приобретает определение понятия «знаковая система». По Ю. С. Степанову, «знаковая система есть материальный посредник, служащий обмену информацией между двумя другими материальными системами» (стр. 81). Такому пониманию знаковой системы вполне соответствуют живые естественные языки. Люди обмениваются между собой мыслями эмоциями,

образами с помощью знаковых систем, но в рецензируемой книге понятие знаковой системы распространяется и на природу. На стр. 82—83 приводится пример так называемого тропизма: когда растение поворачивается под влиянием солнечного света, его стебель может изгибаться; изгиб стебля растения автор считает знаком.

Естественно, что растение, изогнувшее свой стебель под влиянием солнечных лучей, не обменивается информацией с каким-либо другим растением с помощью указанного «знака». Если знаковые явления присущи природе, то определение знаковой системы должно охватывать и эти явления. В таком случае знаковую систему можно было бы определить как источник информации, которую может получать и перерабатывать другая материальная система. Изгиб стебля растения под влиянием солнечного света может служить источником информации (например, для человека).

Определение знака по Фреге (треугольник Фреге) Ю. С. Степанов применил к определению имени: в одном углу треугольника он поместил имя, в другом — предмет, называемый денотатом имени, в третьем — смысл имени, или концепт денотата, в форме которого осмысляется данный предмет в сознании говорящих.

Далее автор выдвигает идею обобщения треугольника Фреге, придав подвижность его ребрам, позволив им сходиться,— в результате его ребра сближаются или даже совмещаются (стр. 90). По мнению автора, денотат (вещь) может сближаться или совмещаться с понятием (смыслом), что «имеет место,— говорит автор,— в абстрактных семиотиках типа символической (математической) логики» (стр. 90). Однако, если денотатом является вещь, а смыслом ее — оформление в сознании человека, то ясно, что вещь не может совпадать со смыслом, поскольку первое принадлежит миру материального, а второе миру идеального. Считая, что смысл может стать денотатом, автор ссылается на Фреге, который, рассматривая пример: *Король Георг хотел знать, является ли Вальтер Скотт автором Веверлея*, пришел к выводу, что денотатами имени в косвенных контекстах являются их смыслы. Выражение *Вальтер Скотт* является именем лица. Фреге полагает, что и выражение *автор Веверлея* является именем того же лица, другим именем которого является *Вальтер Скотт*. Разные имена, обозначающие один денотат, могут взаимозаменяться. Тогда мы можем получить фразу *Король Георг хотел знать, является ли Вальтер Скотт Вальтером Скоттом*. Ясно, что такой вопрос не разумен. Фреге предположил, что денотатами имен в косвенных контекстах являются их смыслы.

В действительности выражение *автор Веверлея* — не имя, именем является род. падеж *Веверлея*, и его денотатом является произведение, а слова *автор* в сочетании с нулевым копулятивным глаголом есть выражение предикативного отношения между лицом *Вальтер Скотт* и его произведением *Веверлей*. Смысл вопроса заключается в следующем: *Король Георг хотел знать, находится ли лицо Вальтер Скотт в отношении авторства с произведением Веверлей*. Из этого следует, что смысл имени в данном косвенном контексте не становится его денотатом; вообще говоря, денотат и смысл имени не совпадают ни в прямых, ни в косвенных контекстах.

Развивая идею сближения ребер треугольника Фреге, Ю. С. Степанов пришел к выводу об обращении планов — единиц плана выражения и единиц плана содержания. Имя — единица плана выражения, а его смысл — единица плана содержания. Автор полагает, что в известных условиях смысл может быть знаком, т. е. единицей плана выражения, а имя — его содержанием, смыслом: «В частном случае, в языке как звучание может быть означающим (знаком) для смысла, так и смысл может быть означающим (знаком) для звучания» (стр. 129). Так, в толковых и переводных словарях за данное принимается звучание (написание), и искомым является смысл; в этих словарях звучание является знаком, т. е. единицей плана выражения, а смысл — смыслом, т. е. единицей плана содержания. В идеографических словарях за данное принимается смысл, а искомым являются имена. В этом последнем случае известный нам смысл, по мнению Ю. С. Степанова, принимается за означающее (знак), т. е. он является в этом случае единицей плана выражения, а имя — его «смыслом», т. е. единицей плана содержания (стр. 129).

Ю. С. Степанов пишет: «Обращение планов (план содержания становится планом выражения, план выражения — планом содержания) имеет место тогда, когда от мыслительного содержания, смысла знака мы идем к самому знаку» (стр. 130).

Эти рассуждения автора основаны на смешении разных статусов имен естественного языка. В метаязыке, с помощью которого мы высказываемся об именах естественного языка, должно быть по меньшей мере четыре класса знаков: особый знак для имени, когда мы рассматриваем его как знак денотата; особый знак, когда мы говорим о денотате этого имени; особый знак, когда мы говорим о смысле этого имени, и особый знак, когда мы говорим об имени, денотатом которого является само это имя.

Имя будет набираться курсивом: *сын* есть имя лица «сын».

Если мы будем говорить о денотате имени *сын*, то должны иметь знак для

обозначения этого денотата. Знаком денотата имени *сын* будем считать сын, набранный полужирным шрифтом.

В выражении «Имя сын обозначает лицо сын» знак *сын* имеет статус имени, а знак сын статус денотата этого имени.

Если мы будем говорить о смысле имени *сын*, то будем считать его знаком слова, набранным полужирным курсивом.

В выражении *Сын — лицо мужского пола по отношению к своим родителям* знак сын имеет статус денотата имени *сын*, а цепочка знаков ***лицо мужского пола по отношению к своим родителям*** — статус смысла того же имени *сын*.

Если мы будем говорить об имени *сын* как о знаке самого себя, мы будем считать его знаком — «сын». В выражении *«Сын» содержит три фонемы* знак «сын» имеет статус имени самого имени, т. е. денотатом имени «сын» является имя *сын*. Таким образом знак *сын* имеет статус имени, знак сын — статус денотата того же имени, знак ***сын*** — статус смысла того же имени, знак «сын» — статус имени *сын*.

В естественном языке нет таких различий в именах, но фактически имена имеют разный статус. Имена естественного языка имеют четыре статуса, который определяется по контексту. В выражении *Этот человек называется Петром* сочетание этот человек есть знак, который имеет статус денотата, а твор. падеж *Петром* — знак, который имеет статус имени денотата этот человек (т. е. денотата, обозначенного сочетанием *этот человек*).

В выражении русско-немецкого словаря «Сын — Sohn» знак сын имеет статус денотата (т. е. лица сын), знак *Sohn* — статус немецкого имени денотата сын. В выражении немецко-русского словаря «Sohn — сын» знак *Sohn* имеет статус имени, денотат которого по предположению не известен читателю, русск. сын — знак, имеющий статус денотата немецкого имени *Sohn*. Таким образом, в переводных словарях с родного на иностранный язык и с иностранного на родной имена родного языка имеют статус денотатов, а имена иностранного языка — статус иностранных имен соответствующих денотатов. В переводных словарях мы ищем не смысл к данному знаку, как думает Ю. С. Степанов, а иностранное имя к данному денотату, или к данному иностранному имени — его денотат и его имя на родном языке.

В толковых словарях мы действительно ищем к данному имени, которое является знаком,— его смысл, который представлен также знаками. В выражении толкового словаря *Медь — вязкий, ковкий металл красноватого цвета*, знак медь имеет статус денотата имени *медь*, а знаковая цепочка ***вязкий, ковкий металл красноватого цвета*** имеет статус смысла имени *медь*.

Можно построить выражение *Вязкий, ковкий металл красноватого цвета называется медью*. В этом выражении данным является цепочка знаков ***вязкий, ковкий металл красноватого цвета***, а искомое знак медь. Однако указанная цепочка знаков сохраняет статус смысла, а знак *медь* — статус имени.

В идеографических словарях данным является знак, имеющий статус смысла, а искомым — имена. Возьмем идею стиля. Знак ***стиль*** имеет статус смысла; для его выражения используются имена: *язык, словарь, фраза, период, стиль академический, дидактический, драматический* и т. п. Тот факт, что данным является знак, имеющий статус смысла, идеи, не делает его единицей плана выражения, а имена — единицами плана содержания.

Всякий знак, имеющий статус смысла, является единицей плана содержания, независимо от того, является ли он данным или искомым; всякий знак, имеющий статус имени, является единицей плана выражения, независимо от того, является ли он данным или искомым. Таким образом, заявление Ю. С. Степанова о том, что смысл как единица плана содержания может обратиться в денотат или в единицу плана выражения, не соответствует действительным фактам языка.

Автор рассматривает парадокс гетерологичности, суть которого заключается в следующем. Есть имена, которые обозначают некоторое свойство в объективной действительности и сами обладают этим свойством. Такие имена называются автологичными. Имя «старое» обозначает старое в объективной действительности и само является старым (т. е. имеет давнее происхождение). Это имя автологично. Есть имена, которые обозначают некоторое свойство в объективной действительности, но сами не обладают этим свойством. Имя *мощное* обозначает мощное в объективной действительности, но само не обладает свойством мощности. Такие имена называются гетерологичными.

Возникает вопрос: а само имя *гетерологичное* — гетерологично или автологично? Формулируя ответ на этот вопрос, «мы сразу же обнаруживаем, к своему ужасу, что прилагательное „гетерологическое" гетерологическое в том и только в том случае, если оно не гетерологическое» [1].

Ю. С. Степанов полагает, что источником парадокса гетерологичности является так называемая гетерогенность языка: язык является гетерогенным, так как в него как в знаковую систему входят

[1] А. Френкель, И. Бар-Хиллел, Основания теории множеств, М., 1966, стр. 22.

знаки, разнородные в некоторых отношениях. Для иллюстрации гетерогенности языка Ю. С. Степанов приводит следующий пример системы, составленной из знаков, относящихся к одному горизонтальному ряду и поставляющих синонимичные средства выражения для разных ситуаций: плевок в человека — имитация плевка (т. е. плевок на землю) — восклицание «тьфу!» (стр. 121).

«Нетрудно видеть,— заключает автор, что парадоксы такого типа являются абстрактным аналогом конкретного семиотического свойства знаковых систем — их гетерогенности» (стр. 123). Каким образом гетерогенность языка вызывает указанный парадокс, автор не раскрывает.

В действительности источником указанного парадокса является не гетерогенность языка, а смешение статусов имен естественного языка и принятие порочного понятия автологичности. Имя *старое* обозначает старое в объективной действительности. Следовательно, денотатом имени *старое* является старое в объективной действительности. Но когда говорят, что имя *старое* само является старым, то тем самым создается иллюзия, будто имя *старое* — одно имя. В действительности существует два имени: есть одно имя *старое*, и его денотатом является старое в объективной действительности; есть другое имя «старое», и его денотатом является свойство слова *старое*. Имя *старое* и имя «старое» это омонимы, т. е. два разных слова, а не одно слово. Нельзя о слове говорить, что оно автологично, если там, где видят одно слово, в действительности имеется два слова. Тем самым незаконным является утверждение, что слово «гетерологичное» гетерологично тогда, когда оно автологично.

Рассматривая язык на абстрактном уровне, автор понятию класса языковых элементов на наблюдаемом уровне (класс как множество, класс вариантов) противопоставляет понятие класса на представляемом уровне (класс как целое — инвариант) (стр. 64). Эти понятия применяются к определению «проблемы морфемы». Проблема здесь заключается в следующем. Морфы имеют материальную форму (их можно произносить и слышать) и определенную семантику: «морф есть элементарный знак, частично зависимый от позиции в речи» (стр. 57). Морфемы могут быть представлены многими морфами со сходным общим значением, ср. морфы мн. числа -ы/-и (*стол — столы, конь — кони*), -ья (*стул— стулья*), -овья (*кум — кумовья*), -а (*глаз — глаза*) и др. Эти морфы, не имея материального тождества, с материальной стороны не образуют одной единицы, хотя семантически объединены одним значением. Тем самым морфема оказывается единицей плана содержания, а не плана выражения. В плане выражения она не представляет единицы. Ю. С. Степанов полагает, что можно сохранить понятие морфемы как единицы плана выражения, если признать, что класс морф со сходным общим значением на конкретном уровне представляет собою множество, а на абстрактном уровне — целое (стр. 53, 56—57).

Таким образом морфема сохраняет статус материальной единицы на абстрактном уровне как целое, частями которого являются морфы, и остается простым множеством на конкретном уровне. Автор не объясняет, каким образом класс имеет свойство множества на конкретном уровне и свойство целого на абстрактном уровне.

Однако автор едва ли прав, полагая, что класс как множество принадлежит к конкретному уровню, а класс как целое — к абстрактному уровню. Наоборот, класс как множество принадлежит к абстрактному уровню, а класс как целое — к конкретному уровню. Множество представляет собою совокупность предметов любой природы, взятых вне времени и места их существования.

Множество морфов, взятых с точки зрения тождества их значения и конкретных условий их употребления и распределения (дистрибуции), обозначается термином морфема. Несколько морфов представляют одну морфему, если установлено тождество их значения и условий их распределения по группам слов. С этой точки зрения морфы мн. числа *-ы/-и*, *-ья*, *-овья*, *-а* и др. представляют собою одну морфему на абстрактном уровне. Это доказывается не только тем, что они имеют одно значение, но и тем, что они связаны условиями своего функционирования; их материальное тождество состоит не в тождестве состава фонем, а в закономерном распределении их употребления по группам слов.

Автор выделяет понятие корреляции («несколько оппозиций, имеющих что-либо общее как в плане содержания, так и в плане выражения, соединяются в корреляцию...» — стр. 55) и различает лексическую, словообразовательную и грамматическую корреляции. Различие между указанными корреляциями усматривается в количестве соответствующих оппозиций. По мнению автора, «корреляции, охватывающие мало оппозиций (или одну оппозицию как предельный случай), будут лексическими — *щебень*: *щебенка*, *печень*: *печенка*...» и др. (стр. 55). «Корреляции, охватывающие среднее количество оппозиций, будут словообразовательными — *работник* : *работница*...» и др. (там же). «Корреляции, охватывающие практически неограниченное количество оппозиций, будут грамматическими — *стол* : *столу*...» и др. (стр. 55—56).

Нам представляется, что словообразовательный или грамматический характер корреляции не зависит от количества оппозиций. Корреляция *кум — кумовья*, *сын — сыновья* представлена едва ли не этими двумя парами, между тем она имеет грамматический характер, если, конечно, корреляция по категории числа признается грамматической. Не число оппозиций определяет грамматический или словообразовательный характер тех или других корреляций, а характер членов этих корреляций. Членами корреляции могут быть такие два словесных образования, которые являются разными словами, таковы *работник : работница*. Членами корреляции могут быть разные формы одного слова, таковы *стол : столу*, *стол : столом* и т. п.

Решение вопроса о грамматическом или словообразовательном характере корреляции зависит от того, какие образования считать разными словами и какие — разными формами одного слова. Решение этого вопроса зависит не от количества оппозиций, а от принятого взгляда на форму слова.

По нашему мнению, два разных словесных образования являются разными формами одного слова, если их различия выражают различия по меньшей мере по двум грамматическим категориям; таковы *кум — кумовья*. Различие в словесном облике этих слов выражает различие по категории падежа и числа. Грамматический характер этой оппозиции не зависит от малочисленности или многочисленности соответствующих пар. Два разных словесных образования являются разными словами, если различие в словесном облике этих слов выражает различие по одной категории; таковы *работник — работница*. Таким образом, словообразовательный или грамматический характер корреляции зависит не от численности соответствующих пар, а от того, какие факты языка образуют данную корреляцию, т. е. являются ли членами данной корреляции разные формы одного слова или разные слова.

Разработка проблем семиотики с позиции лингвистики имеет большое значение как для семиотики, так и для лингвистики. Выход рецензируемой книги, написанной лингвистом, будет способствовать разработке семиотического подхода к исследованию естественных языков.

Т. П. Ломтев

З. Г. Абдуллаев. **Очерки по синтаксису даргинского языка.** — М., изд-во «Наука», 1971. 479 стр.

«Очерки по синтаксису даргинского языка» написаны в духе традиционного «формального синтаксиса», в основе которого лежит принцип анализа «от формы к значению» («традиционное» в применении к рецензируемой книге весьма условно, поскольку «Очерки» представляют собой первое монографическое исследование синтаксиса даргинского литературного языка).

З. Г. Абдуллаев сумел выступить в дагестановедении с фундаментальной и весьма оригинальной работой, написанной на базе достоверных языковых фактов. Синтаксический механизм даргинского языка, на наш взгляд, представлен в этом труде таким, каким он есть в действительности. Благодаря тому, что автор последовательно строит свои теоретические положения только на базе имманентных структур описываемых единиц, даже известные и уже давно ставшие традиционными синтаксические понятия обрели применительно к даргинскому языку (да и не только к нему) новое содержание. Свою концепцию, обоснованную достоверными фактами, автор сумел провести через всю работу весьма последовательно. Оригинальность этой авторской концепции видна, например, начиная с четко продуманной композиции работы и кончая анализом и выводами по важным в теоретическом отношении синтаксическим явлениям.

Композиционно рецензируемая книга состоит из трех частей, предваряемых кратким общим предисловием («От автора», стр. 3—7): I «Простое предложение» (стр. 8—290), II «Осложненное предложение» (стр. 291—380) и III «Сложное предложение» (стр. 381—462). Уже само по себе это членение ново и оригинально, так как в даргинском языкознании до появления труда З. Г. Абдуллаева вопрос об осложненном простом предложении не ставился.

Остановимся, прежде всего, на некоторых вопросах, которые поставлены и решены в I, самой обширной части, посвященной простому предложению, — тем более, что все решения принципиальных вопросов простого предложения (синтаксическая связь, члены предложения, структурно-типологические свойства предложения и т.д.), как видно из «Очерков», в одинаковой мере относятся и к двум другим типам предложения: осложненному и сложному.

Начиная I часть с определения самого понятия предложения, автор исходит

из того мнения, что предметом синтаксиса является предложение, а словосочетание представляет собой «строительный материал» предложения. Краткий обзор наиболее устоявшихся (по мнению автора) определений предложения, принадлежащих крупнейшим отечественным и зарубежным ученым, заканчивается ясным изложением авторского понимания описываемого синтаксического понятия. З. Г. Абдуллаев считает необходимым отразить в определении предложения «пять основных признаков: 1) законченность мысли, 2) своеобразие строя мысли, 3) грамматическая оформленность, 4) своеобразие грамматической оформленности по законам конкретного языка, 5) интонационная законченность» (стр. 23—24). В результате определение предложения формулируется так: «...по законам конкретного языка грамматически оформленная и интонационно законченная целостная единица речи, служащая средством формирования, выражения и сообщения мысли (при отражении своеобразия ее строя), есть предложение» (стр. 24).

В этом определении предложения отражена идея А. А. Потебни о том, что языки различаются «не одной звуковой формой, но всем строем мысли» [1]. В других определениях предложения эта идея не имеет своего отражения, хотя трудно отрицать ее принципиальное значение.

Из вопросов, рассматриваемых в I части работы, коснемся лишь, на наш взгляд, наиболее существенных. В разделе о типах предложения по модальности (стр. 41—60) обращает на себя внимание то, что автор, в отличие от других исследователей, наряду с повествовательным, вопросительным и восклицательным предложениями, специально выделяет также пожелательное и повелительное предложения. Отмечается и вкратце характеризуется также наличие у этих типов предложения соотносительных побудительных коррелятов. Необходимость такой дифференциации аргументируется наличием своеобразных грамматических форм, с помощью которых выражаются соответствующие модальные свойства данных предложений.

По своей научной значимости существенными представляются и разделы первой части книги, посвященные синтаксическим взаимоотношениям членов предложения (стр. 61—114), членам предложения (стр. 115—256) и его конструкциям (по форме выражения подлежащего) (стр. 257—290). В первом из названных разделов обстоятельному анализу подвергаются не только взаимоотношения главных членов предложения, но и взаимоотношения между ними и второстепенными членами, а также между самими второстепенными членами. И здесь традиционные понятия синтаксиса наполняются новым, оригинальным содержанием. Для характеристики синтаксической связи, осуществляемой через признаки грамматических категорий класса и лица, автор считает наиболее подходящим понятие координации, предложенное на материале иберийско-кавказских языков в трудах А. С. Чикобава. Устанавливаются (применительно к даргинскому и другим языкам) определенные виды координации, для этого широко используются понятия «классной координации», «личной координации», «префиксальной координации», «суффиксальной координации», «односторонней координации», «двусторонней координации», «координации равноправных членов», «координации неравноправных членов» и т. д. Представляет интерес вывод о том, что «в даргинском языке нельзя во всех случаях координацию относить к подчинительной связи. В одном случае она выступает как взаимная координация равноправных членов предложения, а в другом — как один из видов подчинительной связи» (стр. 103).

Управление и примыкание как виды подчинительной связи имеют в даргинском отличительные особенности. Описывая их, автор впервые вводит понятия «координируемого управления», «некоординируемого управления», «координируемого примыкания», «некоординируемого примыкания» (стр. 107—114).

Анализ синтаксической связи, характера и своеобразия этой связи служит для автора как бы исходным пунктом при анализе и определении сущности членов предложения. Разделяя члены даргинского предложения на главные и второстепенные, З. Г. Абдуллаев главными считает те члены, которые располагают тем или иным (классным или личным, префиксальным или суффиксальным, односторонним или двусторонним) видом взаимной координации: это подлежащее, объект и сказуемое. Отношения между этими членами характеризуются как взаимная координация равноправных членов. Анализируются также формы выражения этих членов предложения. Отмечается, в частности, что подлежащее в даргинском языке может быть выражено тремя разными формами: именительного, эргативного и дательного падежей, в то время как выразителем объекта выступает лишь форма именительного (иначе: «абсолютного») падежа. Заметим, что предпочтение, отдаваемое автором «Очерков» виду синтаксической связи, осуществляемой посредством морфологических показателей (класса, лица и числа) при определении членов предложения (главных и второстепенных), может быть квалифицировано как реализация формально-грамматического подхода к анализу синтаксических единиц.

[1] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 69.

Существенным для синтаксической структуры даргинского языка представляется четко и последовательно проводимое автором отграничение грамматических понятий «подлежащего» и «объекта» от семантических категорий «субъекта действия» и «объекта действия». Основой дифференциации этих грамматических и семантических категорий служит наличие или отсутствие грамматически выраженной связи между выразителями этих понятий и формой выражения понятия сказуемого. В результате устанавливается, что упомянутые грамматические и семантические категории не всегда обнаруживают полное тождество. Согласно концепции З. Г. Абдуллаева, там, где субъект действия располагает классной или личной суффиксальной координацией с глаголом-сказуемым, он является тождественным грамматическому подлежащему. Там, где такой координации нет, субъект действия и грамматическое подлежащее не могут быть идентифицированы. Эти же принципы лежат в основе дифференциации понятий грамматического объекта и семантического объекта действия, разграничение которых проводится на основе наличия или отсутствия префиксальной координации.

Если специфика подлежащего определяется на базе грамматически выраженной связи глагола-сказуемого, то конструктивная типология предложения устанавливается в зависимости от падежной формы выражения подлежащего. Таким путем выявляется наличие в даргинском языке трех конструкций предложения (номинативная, эргативная и дативная).

Особый интерес представляет здесь точка зрения автора на сущность эргативной конструкции предложения. «Справедливо полагая,— пишет автор,— что морфологические структуры разных языков не могут быть одинаковыми, а своеобразие морфологической структуры обусловливает своеобразие синтаксической структуры, едва ли будет правомерно в то же время утверждать, что во всех кавказских языках существуют одинаковые по своему содержанию эргативный падеж и эргативная конструкция предложения» (стр. 4). «Наличие общих реалий отнюдь не говорит о единстве структур разных языков. Поэтому, в частности, положение о том, что все кавказские языки являются языками эргативной конструкции предложения, нуждается в уточнении» (там же). Общность кавказских языков автор предлагает характеризовать понятием «эргативного строя», а не понятием «эргативной конструкции предложения», так как в каждом самостоятельном языке природа последнего может иметь специфические особенности. Например, принято говорить об эргативной конструкции предложения в лакском языке, хотя известно, что в этом языке нет эргативного падежа и вместо него здесь выступают формы именительного и родительного падежей. Местоимения 1 и 2-го лиц в табасаранском также не имеют эргативного падежа, и взамен него здесь функционирует чистая основа. Тем не менее, конструкцию предложения с этими местоимениями квалифицируют в качестве эргативной. По мнению З. Г. Абдуллаева, в аварском эргативный падеж не получает координации глагола-сказуемого, но, несмотря на это, некоторые исследователи находят возможным считать такой глагол переходным, а имя в эргативе — подлежащим и т. д.

По мнению автора, эргативной следует называть лишь такую конструкцию предложения, в которой субъект и объект действия имеют отличные друг от друга самостоятельные падежные формы своего выражения — эргативный падеж для имени субъекта действия и именительный падеж для имени объекта действия, причем первый из них должен быть связан с глаголом-сказуемым суффиксальной личной или классной координацией, а второй — префиксальной классной координацией. В отличие от всех других дагестанских языков, именно такой конструкцией располагает даргинский язык. Беря указанный тип даргинского построения за основу определения эргативной конструкции предложения, автор предлагает по-иному характеризовать все отличные от него построения как даргинского, так и других дагестанских языков. Что же касается других дагестанских языков, в частности, тех из них, которые располагают лишь классным или «бесклассно-безличным» (А. С. Чикобава) спряжением глагола и в силу этого лишены двусторонней координации сказуемого, то применительно к этим языкам, по мнению автора, теория П. К. Услара представляется вполне корректной.

Эргатив в дагестанских языках не является однородным понятием как по форме, так и по связи с глаголом-сказуемым. Он может быть координированным и некоординированным. Приравнивать координированный эргатив субъекта действия даргинского языка к косвенному (или творительному индоевропейских языков) падежу так же неверно, как неверно приравнивание некоординированного эргатива указанных языков к прямому (или именительному индоевропейских языков) падежу. По мнению автора «Очерков», некоординированный эргатив, независимо от передаваемого им логического понятия, является косвенным падежом как морфологически, так и синтаксически. В отличие от него, эргатив координированный — синтаксически такой же прямой падеж, каким является именительный.

Трудно отказать в принципиальной новизне этой концепции об эргативе и эргативной конструкции предложения. Можно с нею соглашаться, можно и спо-

рить, но представляется несомненным одно: она имеет право на существование в науке.

Новая точка зрения сформулирована в «Очерках» и относительно синтаксического функционирования причастных, деепричастных и масдарных словосочетаний: они признаются осложненными членами простого предложения. В дагестанском языкознании эти словосочетания обычно трактуются как своего рода придаточные предложения (или иначе: «недостаточные» придаточные предложения, придаточные предложения «особого типа») в составе сложноподчиненного предложения. Поводом для такой трактовки служит способность этих словосочетаний передавать значения русских придаточных предложений («переводческий метод»). На этой же основе в отдельных случаях даже вовсе отрицается наличие подлинных придаточных предложений в дагестанских языках, а их функции целиком передаются упомянутым отглагольным словосочетаниям. Тем самым семантические категории субъектно-объектно-предикатных отглагольных словосочетаний отождествляются с грамматическими категориями главных членов предложения, при этом первым приписываются несвойственные им категории предикативности (время, модальность, лицо, именной класс).

В рецензируемой книге З. Г. Абдуллаев впервые в дагестанском языкознании выступает с обоснованием точки зрения, согласно которой указанные отглагольные словосочетания в даргинском не могут считаться придаточными предложениями в составе сложноподчиненного, а являются осложненными членами простого предложения. Семантическая адекватность отглагольных словосочетаний придаточным предложениям отнюдь не означает единства их грамматических структур: напротив, они коренным образом отличаются друг от друга. Отглагольные словосочетания не имеют и не могут иметь по своей природе ни признаков предикативности, ни соответствующей семантической законченности, без чего немыслимо никакое предложение. К этим важным выводам автор приходит в результате анализа как самих структурных признаков отглагольных словосочетаний дагестанских литературных языков, так и противоречий в их трактовке, обнаруживаемых в научной и учебной литературе по этим языкам.

Третья, последняя, часть книги «Сложное предложение» (стр. 381—462), ценна, на наш взгляд, не только тем, что многие вопросы ставятся в ней впервые, но и тем, что в ней наглядно показана ошибочность мнения, согласно которому вовсе отрицается наличие сложноподчиненных предложений как в даргинском, так и вообще в дагестанских языках. В рецензируемой книге выявлены и обстоятельно проанализированы многочисленные разновидности как сложносочиненного, так и сложноподчиненного предложений. При этом обнаружено немало подчинительных союзов, при помощи которых строятся сложноподчиненные предложения, хотя, по мнению некоторых исследователей, союзы в даргинском якобы не получили развития или вовсе отсутствуют. Все описание строится на языковом материале, извлеченном из многочисленных литературных источников.

Значение рецензируемой фундаментальной монографии в целом трудно переоценить, если учесть, что синтаксис даргинского языка впервые стал объектом специального научного исследования. Взявшись за такую сложную проблему, автор избежал обычных штампов и создал оригинальное по содержанию и композиции исследование, критически осмыслив все, что было сделано до него в этом направлении в дагестанском, особенно в даргинском, языкознании.

Вместе с тем необходимо высказать в адрес рецензируемой книги ряд замечаний и соображений. Прежде всего, содержанию книги более соответствовало бы название «Очерки по синтаксису даргинского литературного языка», чем название, данное в заглавии, поскольку исследованием не охвачены диалекты.

Отсутствие учета и оценки отдельных изданий по иберийско-кавказским языкам в рецензируемой книге, по-видимому, объясняется частично тем, что книга была представлена в печать еще в 1967 г. (т. е. задолго до фактического выхода в свет ряда изданий), и отчасти принципом избирательности в учете и оценке специальной литературы, принятым в «Очерках», но, к сожалению никаких оговорок на этот счет в книге мы не находим.

Излишне сильной нам представляется негативная сторона при критическом изложении части специальной литературы. Возможно, такое негативное изложение в известной мере оказывается неизбежным при утверждении новых оригинальных идей и положений в науке, но тем не менее целиком и не оправдывается последним.

В целом же рецензируемая книга представляет собой новый этап в разработке синтаксиса даргинского литературного языка и проливает дополнительно свет на решение проблем синтаксической структуры не только дагестанских, но и иберийско-кавказских языков в целом.

Я. Г. Сулейманов

№ 6 1973

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

13 января 1973 г. в Азербайджанском пед. ин-те языков им. М. Ф. Ахундова состоялись первые чтения, посвященные памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Во вступительном слове М. Т. Тагиев сказал об огромном влиянии академика В. В. Виноградова на ход развития русского языкознания, остановился на его многосторонней научной деятельности.

В докладе М. Т. Тагиева «В. В. Виноградов и вопросы русской лексикографии» говорилось о роли В. В. Виноградова в исследовании основных проблем лексикографии. Докладчик отметил, что вопросы русской лексикографии всегда были в центре внимания В. В. Виноградова. Он был одним из составителей «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова, разработал для него систему стилистических помет, которая принята современными словарями русского языка. Его работы, посвященные русским толковым словарям, доклады и работы по актуальным проблемам русского языкознания имеют решающее значение для лексикографии. Лексикографические труды В. В. Виноградова могут быть использованы и при составлении толковых словарей национальных языков и двуязычных словарей.

Для теории и практики лексикографии В. В. Виноградов считал важными прежде всего семантические проблемы слова: вопрос о разграничении омонимов, о семантической структуре слова и о методике определения значения. В. В. Виноградов указал на недостатки в разработке этих проблем и наметил пути их устранения. Докладчик подробно остановился на конкретных вопросах омонимии, имеющих большое значение для лексикографии. По В. В. Виноградову, основными способами определения омонимии в лексикографической практике должны быть: историко-лексикологический, морфолого-словообразовательный, структурно-семантический. Важным для лексикографии является и вопрос о выделении омонимов в составе служебных слов. Применяя структурно-семантический принцип к вспомогательным частям речи, В. В. Виноградов считал разными словами, т. е. омонимами, предлог *с* с род. падежом, с твор. падежом и с вин. падежом; предлог *о* с предл. падежом, с вин. падежом; с дат. падежом; предлог *по* с вин. падежом и с предл. падежом. Вопросы, поднятые в лексикографических работах В. В. Виноградова, имеют большую перспективу исследования.

В докладе С. Д. Кац «В. В. Виноградов и вопросы социолингвистики» говорилось о том, что для В. В. Виноградова язык всегда был живой душой народа, его героической историей, и поэтому проблема «Язык и общество» нашла отражение в его творчестве, хотя это и не выразилось в прямых декларативных заявлениях. Его интерес к этой проблеме проявился и в его деятельности многолетнего организатора и руководителя советского языкознания, направляющего и активно поддерживавшего комплексное коллективное исследование «Русский язык и советское общество». Он приветствовал выход в свет социолингвистических работ, хотя и критиковал отдельные положения их авторов. В своем собственном научном творчестве В. В. Виноградов показал образцы классического исследования закономерностей образования и развития национальных литературных языков. В. В. Виноградов показал на многочисленных примерах своеобразие этих процессов, связанных с конкретными историческими особенностями жизни общества. Множество интересных вопросов В. В. Виноградов только поставил, предоставив их разрешение с щедростью большого ученого последующим поколениям.

Н. Я. Милованова в докладе «Экспрессивно-эмоциональная лексика в стиле научной прозы» попыталась на материале научных текстов акад. В. В. Виноградова выявить средства и формы проявления экспрессивности и эмоциональности в стиле научного изложения и тем самым доказать, что элементы эмоционального способны проникать в научную литературу, а проникнув, сосуществуют, «уживаются« с элементами, нейтральными в эмоциональном отношении.

Доклад Ф. А. Каграманова

«Учение В. В. Виноградова о словосочетании» был посвящен изложению точки зрения В. В. Виноградова на словосочетание, актуальным вопросам изучения словосочетания.

И. Айдынов (Баку)

*

23 февраля 1973 г. в ЛО Ин-та языкознания АН СССР состоялись II чтения, посвященное памяти академика Виктора Максимовича Жирмунского.

В кратком вступительном слове чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкая отметила огромную роль творческого наследия академика В. М. Жирмунского в отечественной и мировой германистике.

В. Г. Адмони в докладе «Монофлексия в сочетаниях подлежащего со спрягаемой формой глагола в германских языках» показал, что согласование в индоевропейских языках — одна из тех областей, где особенно широко представлена избыточность при выражении грамматических значений морфологическими средствами. Развитие монофлексии в сказуемом сочетании совершается неравномерно, не являясь однонаправленным процессом в германских языках. Объяснить этот процесс действием каких-либо фонетических законов нельзя. Лишь в ограниченной мере это явление можно толковать как результат общего развития от флективного строя к аналитическому. Ничего не объясняет здесь и ссылка на влияние ряда аналогических выравниваний или на воздействие принципа экономии. Остается допустить действие структурных закономерностей предложения, сложившихся в германских языках, причем главная из них — увеличивающаяся структурная сцементированность предложения и возрастающая теснота связи между подлежащим и сказуемым.

В докладе «Статика генеративных моделей и динамика эволюции языка» Н. Д. Андреев подчеркнул отсутствие доказательств тождества между процессами в сознании говорящего при синтезе речи и ансамблями операторов в генеративных моделях. Докладчик отметил также тот факт, что статика генеративных моделей исключает возможность объяснения динамики эволюции языка, обусловленной главным образом факторами социальной действительности, лежащими за пределами генеративных моделей.

В. М. Павлов выступил с докладом «О становлении литературной нормы в немецком словосложении». Докладчик отметил, что современное состояние немецкого словосложения в его связях с лексикой и синтаксисом словесных групп представляет собой продукт исторического взаимодействия ряда взаимообусловленных процессов — развития артикля, изменения позиции зависимого атрибутивного существительного относительно ядра группы. В докладе была подчеркнута роль письменной формы национального литературного языка в формировании новых грамматических структур и установлении дифференциальных отношений между ними. Показано, что унифицированное слитное оформление композита является закономерным результатом действия не столько семасиологических, сколько грамматических факторов.

В докладе В. Е. Холшевникова «В. М. Жирмунский и проблемы сравнительной метрики в современном стиховедении» подчеркивается, что новое научное стиховедение опирается на языкознание; разработкой методики сравнительного изучения стихотворной речи занимался В. М. Жирмунский, соединявший в одном лице и лингвиста и литературоведа. Предпринятый В. М. Жирмунским глубокий сопоставительный анализ немецких, английских и русских ямбов приводит автора к выводу о том, что национальные отличия ритмики стихотворных размеров определяются прежде всего свойствами языка. Метод, разработанный В. М. Жирмунским еще в 20-е годы, оказался чрезвычайно плодотворным и стал особенно широко применяться с 50-х годов. В настоящее время методика исследования обогатилась широким применением статистических методов и теории вероятностей.

В докладе «Споры о современном фольклоризме» В. Е. Гусев привлек внимание к развернувшейся в последнее десятилетие дискуссии об истоках и природе интереса к народному искусству. Докладчик осветил историю термина «фольклоризм» и различные его толкования в современной науке. Многие зарубежные ученые связывают с этим понятием лишь отрицательные явления современной буржуазной «массовой культуры». Между тем фольклор характеризуется не только иными, чем традиционное народное искусство, бытовыми функциями, но и определенными социально-классовыми функциями. Фольклоризм как общественное явление возникает и распространяется тогда, когда объективные условия социального процесса делают невозможным или затрудняют развитие традиционных форм создания и бытования фольклора, когда фольклор воспринимается общественным сознанием как утрачиваемая ценность и как материал для укрепления или возрождения национальной культуры. В. Е. Гусев отметил, что фольклоризм является особым и важным элементом общественной жизни, связанной с «борьбой вокруг истолкования и использования фольклора» (В. М. Жирмунский) в повседневном культурном обиходе и искусстве.

С. В. Смирницкая (Ленинград)

*

26—27 февраля 1973 г. на расширенном заседании Ученого совета Института русского языка АН СССР состоялось обсуждение Проспекта «Русской грамматики» (М., 1972, ротапринт).

Открывая заседание, директор Института чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин остановился на целях новой «Грамматики» и призвал к всестороннему обсуждению Проспекта. На сложность соотнесения принципов описательности и нормативности указала руководитель работы над «Русской грамматикой» Н. Ю. Шведова. В ходе обсуждения было предложено сократить объем будущей «Грамматики» (180 а. л.) за счет исключения сведений по орфоэпии, орфографии и пунктуации (Р. И. Аванесов — Москва, Г. П. Уханов — Калинин). Против сокращения объема высказалась О. А. Лаптева (Москва). В. И. Кодухов предложил дополнить грамматические характеристики основными понятиями по лексикологии. Было предложено выпустить дополнительно однотомный вариант «Грамматики» (Р. И. Аванесов, А. Е. Михневич — Минск). В связи с расширенной проблематикой книги А. Н. Тихонов (Самарканд) считает целесообразным назвать ее «Русский язык». О необходимости композиционной перестройки частей «Грамматики» в целях усиления функционально-коммуникативного аспекта говорил Ю. В. Ванников (Москва).

Положительной стороной «Грамматики» является принятие границ современного русского языка от Пушкина до наших дней (Ф. П. Филин, А. В. Бондарко — Ленинград, В. Г. Адмони — Ленинград). Р. И. Аванесов и О. А. Лаптева считают, что границы современного языка у́же, так как не все факты языка классической литературы укладываются в рамки современного русского литературного языка.

Положительным является отбор иллюстративного материала с ориентацией на норму (Ф. П. Филин, В. И. Кодухов — Ленинград). В то же время, с точки зрения А. Е. Михневича, границы ненормативного материала не ясны. О. А. Лаптева считает, что принцип нормативности нарушается расширительным пониманием границ современного русского литературного языка. Она же говорила о целесообразности введения теоретического комментария в «Грамматику». Р. И. Аванесов и В. И. Кодухов предложили издать подобный комментарий отдельной книгой. За подачу теоретического и исторического комментариев в соответствующих разделах «Грамматики» высказались А. В. Бондарко и А. Н. Тихонов. С точки зрения Ф. П. Филина и Р. И. Аванесова, исторический комментарий в самой академической «Грамматике» нецелесообразен.

Критические замечания были высказаны по разделу «Сведения по фонологии» (автор С. Н. Дмитренко). Р. И. Аванесов и К. В. Горшкова (Москва) отметили, что этот раздел не вписывается в общий корпус «Грамматики». По мнению К. В. Горшковой, вопросы о тождестве/нетождестве морфа, словоформы, морфемы, слова и о сочетаемости фонем изложены недостаточно полно. Необходимо дать и тип фонематической транскрипции. Р. И. Аванесов предложил использовать результаты исследований Дюровича. Л. В. Бондарко (Ленинград) говорила о необходимости дать сведения по фонологии с учетом фонетических характеристик, ориентируясь на морфологию, и провести более строгое рассмотрение диэрем. За более системное и развернутое описание фонемных чередований в глаголе высказались Р. И. Аванесов и Т. В. Булыгина (Москва).

В разделах «Словообразование» и «Основные понятия морфемики» (авторы В. В. Лопатин и И. С. Улуханов) оживленные прения вызвали понятия словообразовательного гнезда, суммарной схемы мотиваций, словообразовательного типа. Положительной стороной признана подача сведений о видах мотивационных отношений внутри гнезд (А. Н. Тихонов), показ мотивационных отношений внутри словообразовательного гнезда — между частями речи (П. А. Соболева — Москва). По мнению Е. С. Кубряковой (Москва), на первый план должны быть вынесены проблемы словообразовательной структуры слова, а не проблемы мотивации. С точки зрения В. Н. Хохлачевой (Москва), понятия непосредственной, опосредствованной мотивации и множественности мотиваций не отражают внутренних языковых связей в грамматике. О форманте как односторонней формальной единице говорила П. А. Соболева. На необходимость представить в разделе «Словообразование» более обстоятельно роль ударения указал А. Е. Михневич. Л. В. Калакуцкая (Москва) высказалась за показ связи словообразования с орфографией. По мнению Т. В. Булыгиной, классификации фонологических свойств и аффиксальных морфов даны в терминах процесса, а не в терминах аранжировки; вместе с тем не учитываются правила сочетаемости морфа с основой мотивирующего слова, а также строение мотивированного слова. На необходимость учета глубинных истоков при типологической характеристике морфемной структуры слова обратила внимание и Л. А. Чижова (Москва). По мнению Е. С. Кубряковой, в «Грамматике» должны найти отражение не только тип морфемного строения словоформ, но и принципы аранжировки морфов, ограничения, накладываемые на их сочетаемость, проблемы диапазона варьирования морфемы. Ею же был поставлен вопрос о месте в грамматике фонологии и словообразова-

ния, которые предлагается рассматривать как «иноуровневые» дисциплины.

При обсуждении раздела «Морфология» (автор В. А. Плотникова, кроме глав о виде, залоге и чередованиях, написанных Н. С. Авиловой), центральными были вопросы о взаимоотношении разделов «Грамматики»: «Морфологии» и «Синтаксиса» (А. В. Бондарко, Р. И. Аванесов) и «Морфонологии» и «Морфологии» (Т. В. Булыгина, Л. А. Чижова), а также проблемы классификации частей речи и грамматических категорий. По мнению Н. С. Поспелова (Москва), А. Н. Тихонова и А. Ф. Прияткиной (Владивосток), следует включить в состав частей речи категорию состояния. Н. С. Поспелов полагает, что выделение в качестве особой части речи лишь местоимений-существительных не дает возможности представить все особенности местоименных слов: их заместительную функцию и роль в построении контекста. С точки зрения А. Е. Михневича, при разделении слов на части речи должен больше учитываться семантический фактор. И. Г. Милославский (Москва) считает недостаточным для отграничения количественных числительных от существительных отсутствие у первых категории рода. Вызывает возражения и данное в Проспекте определение формы слова и словоформы, которое не позволяет четко разграничить границы словоизменения и словообразования. По мнению В. И. Кодухова, понятие морфологической парадигмы дается неоднозначно: последняя недостаточно отграничена от словообразовательной и синтаксической парадигм; не нашла принципиальной постановки проблема вариантности.

При обсуждении глав о виде и залоге центральным был вопрос о способах глагольного действия: по мнению Ю. Д. Апресяна (Москва), А. Н. Тихонова, И. Г. Милославского, это проблема словообразовательная, а не грамматическая. Сравнивая Проспект с «Грамматикой» 1970 г., Ю. Д. Апресян отметил еще бо́льшую углубленность теоретической трактовки глагольного вида, более четкое разделение способа действия и вида глагола: вызывает удовлетворение введение понятия варианта видовой пары. А. Н. Тихонов считает, что целесообразно описание групп одновидовых глаголов.

При обсуждении разделов «Подчинительные связи слов и словосочетания» и «Простое предложение» (автор Н. Ю. Шведова, кроме параграфов о «Порядке слов», написанных И. И. Ковтуновой) положительно было оценено специальное внимание к функциональному аспекту в синтаксисе (А. В. Бондарко, А. Е. Михневич). В то же время Ю. В. Ванников и Г. А. Золотова (Москва) считают, что функциональный аспект в «Грамматике» необходимо еще более усилить. Так, не совсем ясными остаются пока понятия формального и смыслового, формального и коммуникативного (Г. А. Золотова, В. И. Кодухов). Интерес и поддержку вызвало введение новых глав о семантической структуре предложения (В. И. Кодухов). Интересно членение семантико-синтаксических значений, идея иерархии значений (А. В. Бондарко). Рассмотрение формального, семантического и интонационного аспектов во взаимной соотнесенности создает основу для функционально-коммуникативного подхода к синтаксису предложения (Ю. В. Ванников). С точки зрения В. Г. Адмони, вопросы, связанные с общими семантическими схемами, реализуемыми в предложениях разного формального вида, синонимики предложений разного формального вида могут быть решены лишь в непосредственной связи с анализом «лексико-семантического качества» структурных схем простого предложения.

Вопросительному предложению уделили внимание В. Г. Адмони и А. Ф. Прияткина. Как полагает В. Г. Адмони, решающим для вопросительного предложения являются не вариации схем простого предложения, а специфическая коммуникативная функция, по которой оно противопоставляется повествовательным и побудительным предложениям. По мнению А. Ф. Прияткиной, формальные схемы вопросительного предложения не отличаются от формальных схем невопросительного предложения.

О необходимости введения понятия элементарной синтаксической единицы, близкой члену предложения, или «синтаксемы», и освещения вопроса о природе элементов, на основании которых устанавливаются подчинительные связи, шла речь в выступлении А. М. Мухина (Ленинград).

Была отмечена нежелательность исключения интонационного аспекта, который является основой функционально-коммуникативного подхода к синтаксису предложения (Ю. В. Ванников, А. Ф. Прияткина, Л. В. Бондарко). По мнению О. А. Лаптевой и В. А. Белошапковой (Москва), в «Грамматике» должны быть представлены полнее факты вариативности словорасположения.

При обсуждении раздела «Сложное предложение» (авторы И. Н. Кручинина и М. В. Ляпон) положительно был оценен самый факт разграничения одночленных и двучленных конструкций (Н. С. Поспелов) и введение понятия одноместного/двухместного союза (А. Ф. Прияткина). В то же время Н. С. Поспелов критически рассмотрел критерий выделения одночленных конструкций — «синтаксическое функционирование придаточных предложений». По мнению Н. С. Поспелова, такой подход приводит к разграничению одночленных конструкций по схеме простого предложения. Н. С. По-

спелов считает, что основной классификационный критерий для одночленных конструкций определяется тем, что придаточная часть восполняет информативную или семантическую недостаточность опорного слова главной части, в то время как для двучленных конструкций основное — подвижность или стабильность композиционной схемы. Аналогичные соображения высказала А. Ф. Прияткина. С. Г. Ильенко (Ленинград) считает, что в основу деления одночленных конструкций следует положить различия морфолого-подчинительного, семантически-подчинительного и синтаксически-подчинительного типов придаточности. По мнению А. Ф. Прияткиной, неубедительно объяснение, почему ядро уровня сложного предложения как грамматической единицы составляют присловные, т. е. «квазисложные» предложения, у которых момент связи (т. е. структурный центр сложного предложения) часто находится не в центре, а на периферии структуры. Замечания терминологического характера высказал Г. П. Уханов (Калинин). Н. С. Поспелов предложил не акцентировать субстантивной природы коррелята и рассматривать его как служебное синтаксическое средство. Против расширительного понимания союза не только как собственно союза, но и как его функционального аналога высказалась Е. Т. Черкасова (Москва). Замечания, касающиеся вопроса о взаимоотношении разделов синтаксиса простого и сложного предложений, были сделаны В. А. Белошапковой, высказавшей неудовлетворение по поводу отсутствия понятия структурной схемы сложного предложения. Расхождения в понимании синтаксического уровня вообще и уровня сложного предложения усмотрел А. В. Бондарко.

За описание в рамках сложного предложения бессоюзных предложений и предложений усложненного типа высказались Н. С. Поспелов, Э. И. Коротаева и Г. П. Уханов. По мнению Э. И. Коротаевой, грамматические признаки сложного предложения присущи и бессоюзному предложению.

Пожелание видеть систематическое описание в «Грамматике» синтаксиса текста высказали Н. С. Поспелов, В. И. Кодухов, Г. А. Золотова. По мнению Ю. В. Ванникова, текст есть единица особого порядка, и рассматривать его как следующий после предложения уровень синтаксической организации вряд ли возможно. Вызывает сомнение, что сложное предложение имеет бо́льшую текстовую нагрузку, чем простое (Т. М. Николаева — Москва). Как полагает В. И. Кодухов, вопросы текстовой грамматики не должны подменяться вопросами реализации и функционирования.

В заключение авторы Проспекта выступили с ответными словами.

М. Суханова, В. Юношева (Москва)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1973 г.

(№№ 1—6)

СТАТЬИ

Белодед И. К.— Украинский язык в исследованиях академика В. В. Виноградова 4
Будагов Р. А.— К теории синтаксических отношений 1
Гухман М. М.— Лингвистические универсалии и типологические исследования 4
Десницкая А. В.— Проблемы исторической диалектологии албанского языка 3
Панфилов В. З.— Нивхско-алтайские языковые связи 5
Пизани В.— Итальянские диалекты в историческом аспекте 6
Филин Ф. П.— О структуре современного русского литературного языка 2

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Авилова Н. С., Дмитренко С. Н., Лопатин В. В., Плотникова В. А., Улуханов И. С.— Спорные вопросы описания грамматического строя русского языка 4
Арбатский Д. И.— О специфике семантического определения и его функциональных типах 5
Бархударов Л. С.— К вопросу о поверхностной и глубинной структуре предложения 3
Бектаев К. Б., Кенесбаев С. К., Пиотровский Р. Г.— Об инженерной лингвистике 2
Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А.— О фонетических характеристиках заударных флексий в современном русском языке 1
Вардуль И. Ф.— Об изучении семантического аспекта языка 6
Гальперин И. Р.— О понятиях «стиль» и «стилистика» 3
Домбровский Й.— Знак и смысл 6
Живов В. М., Успенский Б. А.— Центр и периферия в языке в свете языковых универсалий 5
Жникин Н. И., Соболев В. Н., Хромов Л. Н.— Работа гортани при произнесении интервокальных смычных глухих согласных в русском языке 1
Журавский А. И.— О некоторых различиях между письменной и разговорной формами белорусского литературного языка 3
Ковтунова И. И.— Порядок слов как предмет грамматического изучения 4
Колшанский Г. В.— Функции паралингвистических средств в языковой коммуникации 1
Крысин Л. П.— К социальным различиям в использовании языковых вариантов 3
Кумахов М. А.— Теория моновокализма и западнокавказские языки . . . 6
Мокиенко В. М.— Историческая фразеология: этнография или лингвистика? 2
Москальская О. И.— Проблемы семантического моделирования в синтаксисе 6
Пиотровский Р. Г.— Лингвистические оценки расхождения близкородственных языков 5
Потапова Р. К., Камышная Н. Г.— Слогоделение с позиций сегментирующей функции речи 3
Себеок Т. А.— «Семиотика» и родственные термины 6
Севортян Э. В.— К источникам и методам пратюркских реконструкций 2
Слюсарева Н. А.— Проблемы лингвистической семантики 5
Степанов Ю. С.— Современные связи лингвистики и логики 4

Сыроваткин С. Н.— Значение высказывания и функции языка в семиотической трактовке 5
Шведова Н. Ю.— Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм 4

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Адмони В. Г.— Типология предложения и логико-грамматические типы предложения 2
Акимова Г. Н.— Размер предложения как фактор стилистики и грамматики 2
Бландова Н. Г.— Об историко-филологических основаниях изучения языка художественной литературы 5
Боголюбов М. Н.— Арамейская законодательная надпись Ашоки из Афганистана 3
Вейлерт А. А.— Об использовании количественных данных в диалектологии 4
Войтович Н. Т.— О позиционной долготе гласных и развитии аканья . . . 6
Гиндин Л. А.— Проблемы античной балканистики 1
Даниленко В. П.— О терминологическом словообразовании 4
Дульзон А. П.— Происхождение падежных аффиксов алтайских языков 1
Иванов С. Н.— К истолкованию многозначности грамматических форм (на материале тюркских языков) 6
Конюс Е. А.— К вопросу о согласовании времен в английском языке . . . 5
Кривоносов А. Г.— Структура языка и система классов слов 4
Лаптева О. А.— Гомофункциональные ряды — принцип системности русского некодифицированного устно-разговорного синтаксиса 5
Лермит Р.— О развитии номинативного предложения в русском языке . . . 2
Макарова Л. Н.— К истории аффрикат в русском языке 1
Михайловская Н. Г.— К проблеме изучения лексико-семантической системы древнерусского языка 2
Одинцов В. В.— Стилистический анализ авторедактирования писателей 2
Пшеничнова Н. Н.— Статистический анализ многочленного диалектного соответствия 6
Селиверстова О. Н.— Семантический анализ предикативных притяжательных конструкций с глаголом *быть* 5
Сологуб А. И.— Лингвогеографические данные как источник для изучения истории языковых явлений 6
Теплова В. Н.— Материалы к изучению исторических связей между западными и северными говорами русского языка 4
Хазагеров Т. Г.— Ударение как средство дифференциации грамматических форм 4
Хайдаков С. М.— К вопросу о происхождении личного спряжения в дагестанских языках 2
Ходорковская Б. Б.— Корневой перфект и структура глагольного корня в латинском языке 1
Хохлачева В. Н.— Некоторые вопросы теории словообразования 3
Царенко Е. И.— К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа 3
Шевякова В. Е.— Актуальное членение повествовательного предложения в английском языке 3

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Богатырев П. Г.— Язык фольклора 5
Коротаева Э. И.— Учебные пособия по синтаксису и темы для семинарских сочинений, рекомендованные акад. А. А. Шахматовым 6

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Арутюнова Н. Д.— Проблемы синтаксиса и семантики в работах Ч. Филлмора 1
Благовещенский О. В.— Заметки об омонимах и их подаче в словаре 6
Герценберг Л. Г.— Теория индоевропейского корня сегодня 2
Кручинина И. Н.— Некоторые тенденции развития современной теории сложного предложения 2
Логачев К. И.— Проблема новогреческого литературного языка в постановке основоположников новогреческого языкознания 3
Лопатин В. В.— Сборники по лексикологии и словообразованию древнерусского языка 5

Петрова З. М.— Вопросы изучения лексики русских народных говоров . . . 1
Сковородников, А. П.— О критерии эллиптичности в русском синтаксисе 3

Рецензии

Белошапкова В. А., Гулыга Е. В.— *А. В. Бондарко.* Грамматическая категория и контекст 2
Биренбаум Я. Г.— *Г. Г. Почепцов.* Конструктивный анализ структуры предложения 5
Бондарко Л. В.— «Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы» 2
Бондарко Л. В., Вербицкая Л. В., Иванова В. Ф., Колесов В. В.— *Р. И. Аванесов.* Русское литературное произношение 6
Будагов Р. А.— *В. Ф. Шишмарев.* Избранные статьи. История итальянской литературы и итальянского языка 6
Василевская И. А.— *Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования 2
Випокур Т. Г.— *К. Кожевникова.* Спонтанная устная речь в эпической прозе 3
Гак В. Г.— *Р. А. Будагов.* История слов в истории общества 4
Георгиева В. Л.— *А. Н. Стеценко.* Исторический синтаксис русского языка 6
Герценберг Л. Г.— *O. Szemerényi.* Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft 4
Гигинейшвили Б. К.— *А. Е. Кибрик, С. В. Кодзасов, И. П. Оловянникова.* Фрагменты грамматики хиналугского языка 5
Горелов В. И.— *А. А. Москалев.* Грамматика языка чжуан 4
Дзендзелевский И. А.— «Mały atlas gwar polskich» I—XIII 1
Дмитриев П. А.— «Marks, Engels, Lenjin o jeziku» 2
Едлинская У. Я., Карпова В. Л.— «Гістарычная лексікалогія беларускай мовы» 3
Ильинская И. С.— *С. И. Ожегов.* Словарь русского языка 3
Кодухов В. И.— *Б. Н. Головин.* Язык и статистика 1
Кодухов В. И.— «Общее языкознание. Внутренняя структура языка» . . 4
Колесов В. В., Марков В. М.— *Ф. П. Филин.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. 2
Комолова З. П., Карпович А. Е.— *J. Pranėnskas.* Trade name creation 3
Кутина Л. Л.— *F. Buffa.* Vznik a vývin slovenskej botanickej nomenklatúry. K histórii slovenského odborného slovníka 6
Летягина Н. И., Насилов Д. М.— *В. И. Рассадин.* Фонетика и лексика тофаларского языка 3
Ломтев Т. П. — *Ю. С. Степанов.* Семиотика 6
Макаев Э. А.— «Проблема общности алтайских языков» 4
Маслов Ю. С.— *С. Д. Кацнельсон.* Типология языка и речевое мышление 3
Мельничук А. С.— *И. К. Белодед.* Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе 2
Немченко Е. В., Широкова А. Г.— *J. Bělič.* Nástin české dialektologie 5
Сарджвеладзе З. А.— *H. Vogt.* Grammaire de la langue georgienne . . . 4
Севортян Э. В.— *А. М. Щербак.* Сравнительная фонетика тюркских языков 5
Скрелина Л. М.— «Leçons de linguistique de Gustave Guillaume (1948—1949)» 5
Смольевский А. А.— *Е. А. Реферовская.* Синтаксис современного французского языка. Сложное предложение 1
Степанов Ю. С., Кумахов М. А.— «Энгельс и языкознание» . . . 1
Сулейманов Я. Г.— *З. Г. Абдуллаев.* Очерки по синтаксису даргинского языка 6
Терещенко Н. М.— «System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe». I 3
Флайшер В.— *М. М. Гухман.* Язык немецкой политической литературы эпохи Реформации и Крестьянской войны 2
Хазагеров Т. Г.— *В. А. Редькин.* Акцентология современного русского литературного языка 5
Хохлачева В. Н.— *Йиржи Йирачек.* Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке 2
Швейцер А. Д.— *J. B. Pride.* The social meaning of language 6
Ярцева В. Н.— *В. М. Солнцев.* Язык как системно-структурное образование 1

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Шилакадзе И. И.— Из истории изучения категории вида в армянском языке 2
Хроникальные заметки . . . . . 1—6

CONTENTS

Articles: V. Pisani (Milan), Italian dialects considered in the light of historical data; **Discussions:** I. F. Vardul (Moscow). On the study of the semantic aspect of language; J. Dombrovskij (Debrecen). The sign and the meaning; O. I. Moskalskaja (Moscow). Problems of semantic patterning in syntax; T. A. Sebeok (Bloomington). «Semiotics» and its congeners; M. A. Kumakhov (Moscow) The theory of monovocalism and the West Caucasian languages; **Materials and notes:** N. T. Voitovič (Minsk). The positional vowel-length and the development of akanje; N. N. Pšeničnova (Moscow). Statistical analysis of the polynomial dialect correspondences; A. I. Sologub (Moscow). The data of linguistic geography as a source for the study of history of linguistic phenomena; S. N. Ivanov (Leningrad). Materials for the interpretation of polysemy of grammatical forms (based on data of Turk languages); **From the history of linguistics:** E. I. Korotaeva (Leningrad). Text-books on syntax and subjects for seminar compositions recommended by Academician A. A. Sakhmatov; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. Pisani (Milan). Les dialectes italiens considerés dans la lumière des données historiques; **Discussions:** I. F. Vardoul (Moscou). Sur l'étude de l'aspect sémantique de la langue; J. Dombrovskij (Debrecen). Le signe et le sens; O. I. Moskalskaja (Moscou). Contribution à l'étude des modèles sémantiques dans la syntaxe; T. A. Sebeok (Bloomington). Le terme «sémiotique» et les termes apparentés; M. A. Koumakhov (Moscou). La théorie de monovocalisme et les langues caucasiennes occidentales; **Matériaux et notices:** N. T. Voitovič (Minsk). La longueur positionnelle des voyelles et le développement d'akanje; N. N. Pšeničnova. (Moscou). Analyse statistique des correspondences polynomes en dialectologie; A. I. Sologoube (Moscou). Les données de géographie linguistique comme source pour l'étude de l'histoire des phénomènes linguistiques; S. N. Ivanov (Léningrad); L'interprétation de polysémie des formes grammatiques (fondé sur les matériaux des langues turcques); **De l'histoire de la linguistique:** E. I. Korotajeva (Léningrad), Manuels de syntaxe et thèmes pour compositions de séminaire recommendés par l'Académicien A. A. Sakhmatov; **Comptes-rendus, Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. И. Сенченко*

Сдано в набор 29/VIII-1973 г. Т-16249 Подписано к печати 2/XI-1973 г. Тираж 6925 экз.
Зак 2840 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл.-печ л. 14,0 Бум. л. 5,0 Уч.-изд. л. 15.9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

В 333 Г
ВАВИЛОВА 48 КОР В КВ 390
ЛИТКИНУ В И
70158
1-12

390

Цена 1 р. 20 к.
Индекс 70158

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Центральная контора «Академкнига»

Имеются в продаже книги:

Аврорин В. А. Грамматика нанайского языка. Т. 1. Фонетическое введение и морфология именных частей речи. 1959. 282 стр. 1 р. 69 к.

Адмони В. Г. Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка. 1966. 214 стр. 99 к.

Алексеев М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVIII века. Исследования, тексты и комментарии. 1968. 156 стр. 94 к.

Дарбеева А. А. Развитие общественных функций монгольских языков в советскую эпоху. 1969. 151 стр. 47 к.

Доклады и сообщения Института языкознания. Вып. 11. 1958. 206 стр. 89 к.

Лекомцева М. И. Типология структур слога в славянских языках. 1968. 224 стр. 67 к.

Макеева В. И. История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. 1961. 173 стр. 76 к.

Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. 5. 1962. 223 стр. 1 р. 30 к.

Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. 1968. 240 стр. 97 к.

Русская литературная речь в XVIII в. Фразеологизмы. Неологизмы. Каламбуры. 1968. 272 стр. 92 к.

Серебренников Б. А. Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. 1960. 300 стр. 1 р. 69 к.

Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем. 1971. 279 стр. 85 к.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117463 МОСКВА, В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;

197110 ЛЕНИНГРАД, П-110, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайшие магазины «Академкнига».

Адреса магазинов «Академкнига»:

480391 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13; 320005 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 664033 Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 303; 252030 Киев, ул. Ленина, 42; 277012 Кишинев, ул. Пушкина, 31; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 192104 Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; 199164 Ленинград, Менделеевская линия, 1; 199004 Ленинград, 9 линия, 16; 103009 Москва, ул. Горького, 8; 117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 630076 Новосибирск, 91, Красный проспект, 51; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700029 Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73; 700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18; 450075 Уфа, Коммунистическая ул., 49; 450075 Уфа, проспект Октября, 129; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

6

1973
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА